

Богданов А
Наука об общественном сознании
1923

А. БОГДАНОВ

НАУКА ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

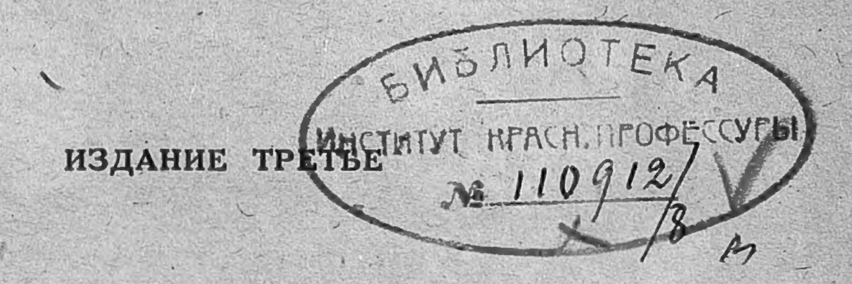


МОСКВА „КНИГА“ ПЕТРОГРАД
1923

А. БОГДАНОВ

НАУКА ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

КРАТКИЙ КУРС ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ



ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ



КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО „КНИГА“
ПЕТРОГРАД, пр. 25 октября, 74, тел. 134-34.
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, 38, тел. 264-61 и 280-09.

Петроблит № 4746. Зак. № 581. Тираж 3.000 экз.

Военная типография Штаба Р.-К. К. А. (Площ. Урицкого, 10).

Предисловие к первому изданию.

Курса идеологической науки до сих пор не существовало. Но идеологическая наука существует, она имеет огромное значение в жизни, и значение это постоянно возрастает. Не было такой книги, где связно, в порядке, целостно, как в учебниках разных наук, излагалось бы, — что такое общественное сознание людей, откуда оно произошло, какие формы принимает, по каким законам изменяется, как развивалось оно в истории человечества, куда идет теперь это развитие. Но научный материал для такой книги есть; и овладеть им необходимо всякому, кто хочет сознательно выбирать свою позицию, сознательно делать свое дело в великой общественной борьбе нашего времени.

54 года тому назад Марксом был формулирован основной закон развития идей, права, нравственности, политики, вообще — всего общественного сознания, всех „идеологий“: их зависимость от способов производства и присвоения. Из этого закона вытекает общий путь исследования: для всех изменений в идеологиях искать причин в условиях трудовой и хозяйственной жизни. Так был решен основной вопрос идеологической науки, — вопрос об ее методе; и она стала впервые возможна, как действительная наука, объясняющая свои факты, а не только их собирающая и нагромождающая.

Сам Маркс успел дать много применений открытого им метода, который обычно называют „историческим ма-

териализмом“. На многих ярких и важных примерах он с величайшей очевидностью показывал, как те или иные идеи, те или иные законы создаются и держатся, потому что этого требуют экономические выгоды определенного класса, зависящие в свою очередь от его роли в производстве. Но исследование Маркса шло еще дальше и глубже: помимо простого влияния силы интересов на идеологию, он выяснял и то, каким образом самые способы мыслить и понимать окружающее, самая, так сказать, „логика“ людей, вытекает из их трудовых отношений и форм присвоения. Такова знаменитая теория „менового фетишизма“, которой посвящена значительная часть нашего курса.

Последователи Маркса—больше всех Каутский — продолжали работу над изучением идеологий по его методу, успешно находя причины и объяснения фактов там, где старая наука была бессильна. Блестящее доказательство в пользу нового метода дал, сам того не подозревая, великий филолог Людвиг Нуаре, который не был сторонником марксизма и вряд ли даже имел о нем ясное понятие. Нуаре, изучая происхождение человеческой речи и мышления, пришел к выводу, что они зародились из совместного труда людей в первобытных общинах, т.-е., что идеология возникла из производства. Благодаря этому учению „о первичных корнях“, мы можем излагать нашу науку, начиная с действительного начала самого ее предмета—общественного сознания.

Мало, однако, знать, что идеология произошла из производства, что она от него зависит и является „надстройкою“ над ним, по выражению Маркса. Надо еще понять, точно и определенно, что она такое н а д е л е, в самой жизни, т.-е. выяснить ее практический смысл и значение. Относительно этого до сих пор господствует большая неясность.

Очень многие полагают, что раз идеологии — „надстройка“ над экономической жизнью, раз они ею „определяются“, то они и представляют нечто второстепенное по сравнению с нею, какое-то несущественное дополнение

к ней, нечто вроде исторической роскоши, осложняющей и украшающей общественный процесс. Напр., искусство так и называют простым „украшением“ жизни. Эта точка зрения глубоко ошибочна.

Надстройки бывают разные. Если на крыше поставят флюгера, громоотводы, резные орнаменты,—все это надстройки, полезные или приятные, но без которых можно обойтись. А сама крыша? Она — тоже „надстройка“ над стенами, ее положение и форма „определяются“ ими; однако, она не менее необходима, чем они: без нее дом невозможен. Идеология—не шпиль, не резная решетка, не золоченое украшение на здании общественного труда и хозяйства; она—его кровля, без которой оно не может существовать.

Это сравнение, впрочем, еще недостаточно и неточно. Ближе было бы уподобить идеологию головному мозгу в организме. Развитие мозга определяется развитием других органов, специально тех, которые служат для движения. У человека он достиг высокого совершенства потому, что наши руки являются наилучшими орудиями для сложных действий, для всякой работы, и что устройством наших ног они освобождены от участия в ходьбе и беганьи, стесняющего деятельность передних лап у других животных. Но зависимость мозга от рук не мешает тому, что он необходим для них, что без него они бесполезны.

Такова же идеология. Науки, технические и естественные, возникли из производства, благодаря его развитию достигли своего нынешнего уровня; но они управляют производством, без них немыслимы современные фабрики, заводы, железные дороги.

Другой пример. Общественные деятели передового в наше время класса посвящают все свои силы на то, чтобы развивать его классовое сознание, т.-е. именно его идеологию. Почему они делают это, когда они знают, что основное, это — экономика, идеология же — только производное, „надстройка“, не более? Большинство из них

не сумеют правильно ответить на этот вопрос. Они, напр., скажут: „Экономические отношения развиваются сами по себе, помимо нас, и нам нет надобности в них вмешиваться; что же касается идеологии, тут мы можем ускорить дело, облегчить муки родов; поэтому наше участие полезно и нужно“. Ответ неубедительный. Разве сознательное вмешательство активных людей не может прямо ускорять ход экономического прогресса, когда, положим, какой-нибудь энергичный делец основывает акционерные общества, заводит фабрики, проводит железные дороги в отсталой стране? И разве, с другой стороны, сознание класса не может формироваться само по себе, зарождаясь и складываясь непосредственно в массах? Ведь так оно первоначально и возникало повсюду.

И, однако, остается верным то, что работа над сознанием класса, над его идеологией—самая необходимая, исторически самая важная в нашу эпоху. Слабость же обычного ответа зависит от того, что люди, хотя и чувствуют величайшее значение идеологий в жизни, но не умеют его отчетливо выразить. Систематически его изучая в изложении нашей науки, мы увидим, в чем оно состоит. Идеология есть орудие организации общества, производства, классов и вообще всяких общественных сил или элементов, — орудие, без которого эта организация невозможна. Помогать выработке сознания в определенном классе значит—развивать самые основы его организации, участвовать в образовании того мозга, который должен управлять этим могучим телом.

Теперь в передовых массах, рядом с экономической и политической активностью, пробуждается особенно сильно стремление просвещаться—жажда знания, интерес к литературе, искусствам. Все это приходится брать почти всецело из рук господствующих классов, потому что ими это почти всецело создано и разработано, принадлежит к их идеологии. Неизбежно встают серьезные и трудные вопросы. Брать у тех или иных классов культуру, воспитываться на продуктах их творчества, значит

ли получать от них законное наследство, или напротив—духовно им подчиняться? Не сводится ли это к тому, что мы приучаемся мыслить и чувствовать, как они, ходить по путям, ими проторенным, вообще—жить под их опекою? Что у них можно и следует брать, каким образом усваивать, что—отвергать и отбрасывать? Возможно ли новому классу уже теперь создавать что-нибудь свое в науке, искусствах, правилах жизни? Если возможно, то стоит ли работать над этим, не отвлекает ли это от более важных задач? Требуются ответы точные и надежные, т.-е. научные; основу для них дает лишь систематическое изучение науки об идеологиях.

Вот почему я считал эту работу своевременной, необходимой, и предпринял ее, собирая воедино то, что было сделано и подготовлено другими, заполняя, по мере сил своих, пробелы, которые оставались. Предмет сложный и трудный; чтобы читателю было легче овладеть им, я выбрал такую форму, которая упрощает изложение: прямые вопросы и ответы.

Я убежден, что книга найдет своего читателя и будет ему полезна.

А. Богданов.

16/3 ноября 1913.

Ко второму изданию.

В этом втором издании книги сделаны некоторые изменения и дополнения. При первом издании была приложена статья „Общественное сознание в мировой войне“. Теперь ее материал включен в общую связь текста.

Декабрь 1918.

К третьему изданию.

Введены еще новые иллюстрации, пояснения; сделаны некоторые редакционные поправки.

Июль 1923.

Введение.

I. Определение идеологической науки.

Вопрос. Что такое идеологическая наука?

Ответ. Это—наука об общественном сознании людей.

В. Что такое „общественное сознание“?

О. Каждый человек имеет свою душевную жизнь: он видит, слышит, радуется, страдает, желает, стремится, воспоминает, воображает... Все эти ощущения, чувствования, воля, представления, составляют его „личное“ (или „индивидуальное“) сознание. Но человек живет всегда в обществе, т.-е. в связи и в общении с другими людьми. То, что он „сознает“, — ощущает, желает, думает, — он разными способами выражает, невольно или намеренно, и другие люди так или иначе понимают его, а равно и он их. Они видят движения его тела, лица, глаз (его „мимику“), слышат его крики, слова, воспринимают написанные им знаки, нарисованные им изображения и т. под.; этим путем они знают об его душевных состояниях, — чего он хочет, что чувствует, представляет,—и он знает то же относительно их. Все, что выражено и понято, что стало известно от одного человека другим и обратно, все это тем самым уже общее для них, все это принадлежит уже не только личному сознанию, но вошло в общественное сознание. Следовательно, изучать общественное

сознание значит изучать, что, какими способами люди выражают и понимают.

В. Почему науку об общественном сознании называют „идеологической“?

О. Потому что общественное сознание обозначается также, более кратко, словом „идеология“.

— Откуда происходит слово „идеология“, и каков его прямой смысл?

— Это слово образовано из двух греческих; 1) ἰδέα — воззрение, мысль, от индо-европейского корня vid, который сохранился и в русском языке (видеть, ведать), в греческом этот корень утратил свою первую букву, но и там она первоначально была; значение же корня в обоих языках одинаковое; 2) λόγος — понятие, слово, от корня leg, означающего, первоначально, класть, а затем—думать; этот корень и в русском имеет те же два значения, как показывает слово „по-лаг-ать“ (положить, предположить, и т. под.). Следовательно, „идеология“ должна означать, буквально, науку об идеях, как „психология“—науку о душе, „биология“—о жизни, и пр. Но обычно идеологией называют не науку об идеях, а самые идеи и понятия, или точнее и общее, как мы уже сказали, само „общественное сознание“.

— Нет ли другого, более употребительного, чем термин „идеология“, обозначения для общественного сознания?

— Да, есть. В этом смысле чаще применяется слово „культура“, или, точнее, выражение „духовная культура“. Первоначальное значение латинского слова „культура“, это—возделывание земли, а затем вообще полезный труд. Отсюда получилось нынешнее широкое понятие „культуры“: все результаты человеческих усилий, поднимающие человечество над природою, все плоды труда и мысли, совершенствующие жизнь. Техника, с ее орудиями, машинами, путями сообщения, — экономические связи сотрудничества, обмена, — речь, знания обыденные и научные, искусство, обычаи, нравственность, право,

политика,—все это составные части культуры; даже развитие физической силы и здоровья, посредством гимнастики и других приемов, относится туда же, под названием „культуры тела". При этом различают две основных области культуры: материальную и духовную. „Материальная культура" есть вся сфера производства, с его техникой и экономическими отношениями, общественный труд, направленный на внешнюю природу, со всеми его средствами и формами. „Духовная культура", это—та сфера, которая лежит вне прямой борьбы с природою, это—речь, мышление, нравственность, искусство и т. д., словом, — идеология, общественное сознание.

— Представляет ли идеология общества нечто единое, постоянное и строго определенное, или нет?

— Нет, она многообразна и изменчива. Она зародилась в виде бесформенных зачатков в первобытную эпоху жизни человечества, и с тех пор развивается, усложняясь и разветвляясь, вплоть до нынешнего гигантского богатства ее форм. Так, первобытную речь, согласно выводам сравнительной филологии, приходится представлять сводящейся, самое большее, к нескольким десяткам звуков (трудовых криков), которые не обладали строгой определенностью значения, свойственной нынешним словам; современные же языки цивилизованных народов обладают сотнями тысяч обозначений, которые допускают миллионы и миллионы сочетаний, позволяющих выразить самые сложные и самые тонкие оттенки явлений нашей жизни и внешней природы. В такой же или еще большей мере выросло познание, и т. д.

Кроме того, если в примитивных обществах идеология была единой и цельною, общею для всех их членов, то в обществах позднейших, более развитых, это уже не так. Идеология есть выражение и понимание жизни; а жизнь в этих обществах раздроблена, она не одна и та же для разных классов. В зависимости от разного

положения людей в производстве или около производства, различны их жизненные условия, их интересы, стремления, их точка зрения на окружающий мир. Все это, естественно, находит себе и разное выражение, порождает разные способы понимания. Получается не одно общественное сознание, а несколько *классовых*: у землевладельцев-помещиков—одно, у капиталистов—другое, у мелких хозяев-ремесленников и крестьян—третье, у рабочих-пролетариев—еще иное... Даже отдельные группы больших классов, расходящиеся между собою не в основных и главных, а в более частных и второстепенных условиях жизни, вырабатывают себе *отчасти особую* идеологию—„социально-групповую“. Так, идеология далеко не вполне одинакова у крестьян и у городских ремесленников, хотя те и другие имеют много общего между собою, как мелкие производители; она не вполне одинакова даже у фабрикантов и у банкиров, и т. под.

— *Совершается ли идеологическое развитие всегда непрерывно и в сторону прогресса, или нет?*

— Нет, история показывает, что это бывает так большей частью, но не всегда. Во-1), на памяти человечества случалось не раз, что целые общества, иногда уже достигнувшие довольно высокой степени культурного развития, затем приходили в упадок: разлагались изнутри или разрушались под ударами внешних врагов, чаще—то и другое вместе. Вместе с самим обществом тогда терпела крушение также его идеология. Эта судьба постигла целый ряд древних цивилизаций: египетскую, халдейскую финикийско-карфагенскую, мексиканско-индейскую и другие. Пример же наиболее замечательный—гибель античного, греко-римского общества, с его грандиозной, в иных отношениях и теперь не превзойденной культурой.

Во-2), когда общество состоит из классов, борющихся между собою, то их идеологии разделяют участь самих классов: вместе с ними растут и развиваются, вместе с ними деградируют и падают. Когда новый класс завое-

вывает господство, то наступает полный расцвет его идеологии; напротив, идеология класса, им побежденного, теряет общественное значение, слабеет, разлагается. Такой переворот пережили, напр., европейские страны в XVIII—XIX веке, когда буржуазия одолела и оттеснила феодальную аристократию; с тех пор феодальная идеология, с ее католицизмом, нравственностью, основанной на авторитете, идеей наследственной власти, все более отмирала; а буржуазная, с ее безрелигиозностью, с ее индивидуалистической нравственностью, с ее всепроникающим принципом частной собственности, захватывала все полнее господство во всех областях жизни общества, налагала свой отпечаток даже на сознание других классов.

Следовательно, наша наука должна изучать идеологии в процессе их изменений и борьбы, их развития или их деградации, их жизни и умирания.

II. Методы идеологической науки.

а) Индукция.

— Какие существуют основные методы в идеологической науке?

— Те же, что и в других науках: 1) индукция, т.-е., буквально, „наведение“, — метод обобщающий, идущий от частного к общему; 2) дедукция, т.-е. „выведение“, — метод, применяющий обобщения, делающий выводы от общего к частному.

— Какие существуют виды индукции?

— Три вида: 1) обобщающее описание; 2) статистический или подсчетный метод; 3) абстрактный или упрощающий метод.

— Какой из трех видов индукции первоначальный и основной?

— Метод обобщающего описания.

— В чем состоит метод обобщающего описания?

— В том, что собирают вместе *сходные* между собой факты или явления и отыскивают, что в них есть *общего*; так получаются описательные обобщения. В сущности, начало этого метода имеется в самой человеческой речи: когда обозначают сходные действия или сходные вещи одним и тем же словом, то это слово есть уже обобщение,—оно объединяет их по сходству и указывает на их общие черты или элементы. Так, когда мы произносим или мыслим: „человек",—то мы тем самым связываем воедино бесчисленные знакомые нам образы людей и подразумеваем все, что в них одинаково, что в каждом из них повторяется. Но такое бессознательно сложившееся обобщение не обладает еще отчетливостью и точностью, какие вырабатываются в сознательном исследовании, в научном мышлении. Там обобщаемые факты сопоставляются и сравниваются систематически; то, что в них общего, специально выделяется и формулируется. Напр., наука об языке, всех раньше развившаяся часть идеологической науки, получала свои первые обобщения таким путем, что сравнивала слова, сходные по звукам и по значению, обособляла в них с одной стороны одинаковые звуки (общий „корень" этих слов), с другой—присущий всем им оттенок значения (смысл этого корня). Даны, положим, слова: „рабочий", „работа", „поработить", „раб", и др. Нетрудно видеть, что в них есть один и тот же корень „*раб*", выражающий идею труда.

Наша наука, подобно другим общественным наукам, и даже еще больше, чем они, должна нередко сравнивать и обобщать явления гигантской сложности, напр., сопоставлять по сходству целые религиозные мировоззрения разных народов, целые системы нравственности и т. под.

— *В каком порядке ведется обобщающее описание?*

— В порядке прогрессивно-восходящей лестницы (градации). Из частных фактов образуются первые обобщения; но познание не останавливается на них, а сопоставляет их между собою и, выделяя в них общее, производит таким

образом обобщения второго порядка; из них точно так же— обобщения третьего порядка и т. д., вплоть до немногих, или даже одного, высшего и последнего, обобщения. Типичный пример подобной лестницы дает любая научная классификация, напр., животных или растений. Все, сколько бы их ни было, животные, сходные между собою настолько, насколько могут быть сходны родители и дети, образуют один вид; их общие черты составляют характеристику данного „вида“, сущность этого обобщения. Виды, близко родственные друг другу по устройству тела, образуют род; сумма одинаковых черт, разумеется, здесь меньше, чем между особями одного вида, так что обобщение „по объему“ меньше, но „по широте“ оно больше и представляет обобщение следующего, второго порядка. Близкие друг другу роды образуют семейство, близкие семейства — отряд; из отрядов составляется класс, затем тип, затем царство. В классификации зоологической это—последнее обобщение; оно выражается понятием „животное“ и охватывает те немногие черты, которые имеются у всех представителей этого царства; но связавши его с высшим обобщением ботанической классификации — „растение“, получаем еще высшее—понятие „живого существа“, последнее для описательной биологии, и т. д.

В идеологической науке существуют аналогичные лестницы обобщающего описания. Так, религии древних греков, германцев, славян, индусов и целого ряда других народов весьма сходны по основному строению, напр., все характеризуются множественностью богов, разделением сфер или областей, ими управляемых, цепью власти-подчинения, в которую они организованы и которая в точности повторяет цепь сюзеренов-вассалов, свойственную феодальным обществам. Все подобные религии относятся к одному виду—многобожных (политеистических) систем. Сопоставляя этот вид с другими, фетишистическим, единобожным, и выделяя все, что в них имеется общего, получают родовую характеристику религиозных миро-

воззрений. Сравнение с другими родами мировоззрений— метафизическими, научно-философскими — дает обобщение следующего порядка: понятие о системах мировоззрения вообще. Оно, в свою очередь, связывается с понятием о системах моральных, правовых, образуя основу для характеристики „идеологий вообще“. Это для нашей науки последняя, высшая ступень в градации понятий.

— Не достаточен ли метод обобщающего описания для целей научного исследования?

— Нет. Хотя в новейшей философии существует такой взгляд, что к одному этому методу сводится все познание (теории „чистого описания“), но это—недоразумение, зависящее от того, что с методом обобщающе-описательным смешиваются другие, — правда, происшедшие от него, — формы индукции, высшие и более совершенные. Он тем более недостаточен, чем сложнее изучаемые явления и чем более они изменчивы. Тогда в группе взаимно-родственных явлений одни и те же признаки сходства в одних случаях имеются, в других отсутствуют, при изменениях иногда появляются, иногда усиливаются, иногда исчезают; и простое описание впадает в расплывчатость, в неопределенность. Даже для простейших фактов, изучаемых, напр., физикой, эта недостаточность нередко сказывается с очевидностью. Тела без опоры падают, это явление обычно повторяется миллионы раз на наших глазах,—но дать его общее описание путем простого сравнения и классификации до крайности трудно. Одни тела падают быстро и прямолинейно, другие медленно и зигзагами; третьи, как облака, пыль, повидимому, совсем не падают, на деле падают неуловимо медленно; четвертые, как дым из печей, иногда идут вверх, иногда же заметно вниз; кусочек золота падает так, а тот же кусочек, расплющенный в тонкий листок, иначе, и т. д. Простое описание тут должно чрезвычайно усложниться и затеряться в частностях, в мелочах.

Тем более это относится к сложнейшим и постоянно изменяющимся идеологическим формам. Обобщающее опи-

сание какой-нибудь группы живых, развивающихся языков или группы мировоззрений, общественных систем нравственности и т. под., составляет такую массу и такого запутанного материала, что овладеть им вполне для отдельного человека не только трудно, а часто практически невозможно.

При этом особенно важно вот что. Цель и смысл познания—в предвиденьи, в руководстве человескими действиями, трудом и борьбою жизни. Простое описание обобщает только то, что уже наблюдалось; а в общественном процессе, и специально в мире идеологий, наиболее интересно понять то развитие, которое теперь совершается и создает новые формы, каких раньше и не было; всего желательнее предвидеть ход и результаты этого развития, характер этих новых форм, чтобы активно участвовать в прогрессе жизни и не тратить сил на борьбу с тем, что полезно для нее или что неизбежно. Всего этот метод описания дать не в силах: он позволяет предвидеть лишь там, где явления однообразно повторяются, не развиваясь.

— В чем заключается статистический метод индукции?

— В количественном исследовании, выясняющем, насколько часто встречаются те или иные признаки в данной группе явлений, и в какой мере или степени при этом они выражены. Этим, во-1), вносится больше определенности и точности в познание; во-2), создается возможность хоть до некоторой степени предвидеть вероятный ход протекающих новых процессов развития.

Так, допустим, что мы изучаем данное общество по признаку обладания собственностью. Мы нашли, что в нем столько-то,—допустим, 80 миллионов людей,—сходны между собою в том, что имеют собственность, и 20 миллионов не сходны с ними, но сходны между собою в том, что ее не имеют. Это знание гораздо определеннее и точнее того, чем если нам известны только два обобщения— „собственники“ и „не-собственники“.

Затем, положим, мы установили, что в том же обществе 10 лет тому назад собственников было не 80, а 85 на 100; десятилетием же еще раньше—88 на 100; еще за 10 лет—90%. Зная это, мы можем с известной вероятностью предвидеть, что в последующие годы число собственников вновь уменьшится, а число пролетариев возрастет. Достоверности в этом предвиденье нет, так как наши подсчеты не могли показать, почему разоряется больше людей, чем из неимущих переходит в имущие; но вероятность есть, и тем более значительная, чем более массовой характер имеет найденное изменение.

Более полное и широкое статистическое исследование выяснит нам и то, в каких размерах распределен признак собственности: сколько крупных, сколько средних, мелких собственников,—при чем условлено „крупными" называть, положим, тех, чье богатство превосходит 100 тысяч рублей, средними—имеющих от 10 до 100 тысяч, мелкими—меньше 10 тысяч. Наше представление об экономическом состоянии общества тогда станет еще точнее; предвидение, на основании данных за разные годы,—также определеннее. Мы, напр., убедимся, что число крупных собственников растет, число средних мало изменяется, число мелких с такой-то скоростью уменьшается; и мы будем ожидать дальнейшего увеличения численности богачей, с одной стороны, пролетариев—с другой.

— Применим ли статистический метод только там, где возможно точное счисление и измерение?

— Нет, не только там. В массе случаев цифровое исследование очень трудно, или даже невозможно, а отношения величин, тем не менее, в общем улавливаются достаточно хорошо, чтобы определить общую картину изучаемых явлений и общий ход изменений в них. Напр., наблюдатель деревенской жизни, знакомый за последние десятилетия до революции с разными местностями России, без особых подсчетов приходил к заключению, что у нас уменьшается количество средних и мел-

ких хозяйственных крестьян, растет число богатых, и особенно число бесхозяйных, сельских пролетариев. Статистический метод есть вообще количественный, а не только цифровой. Иногда арифметический подсчет не представляет даже никакого интереса. Так, мы констатируем, что „значительное большинство“ тел нашей обычной обстановки обладают признаком тяжести, т.-е. падают, если остаются без опоры. Но было бы весьма бесплодно считать, сколько тел соответствует этому правилу и сколько образуют исключение. В идеологической науке лишь изредка случается иметь дело с настоящими цифровыми данными, да и тогда их значение только приблизительное. Пример — анкеты, которые у нас иногда делались среди студентов, среди рабочих какой-нибудь фабрики, союза и т. п., по поводу их политических взглядов, литературных симпатий, философского или религиозного мировоззрения: получались цифры не массовые и заведомо не очень точные. Но и массовые числа, какие даются, напр., счетом голосов на парламентских выборах, далеко не могут приниматься с таким доверием, как, положим, экономическая статистика. Если число голосов, поданных за рабочую партию в Германии, за несколько лет возрастало на миллион, а число клерикальных и консервативных голосов уменьшалось на несколько сот тысяч, то, без сомнения, можно сделать вывод о прогрессивном вытеснении одной системы идей другою; но это не будет точно установленный факт, потому что аналогичное изменение числа голосов в другом случае могло бы быть вызвано просто новым тяжелым налогом или законом об увеличении войска.

Тем не менее, весьма часто в нашей науке и без помощи строгих цифр статистический метод позволяет получить определенную характеристику изучаемых фактов и того направления, в котором они в данное время изменяются. Так, благодаря единогласному свидетельству многих опытных наблюдателей жизни, мы знаем, что в начале XX века до войны, во Франции свободомыслие

значительно преобладало над католицизмом, или что во всей Европе уменьшалось влияние религиозных мировоззрений в народных массах, увеличивалось распространение и сила научно-философских; но точного числового выражения этих процессов у нас нет, и дать его не смог бы никакой ученый.

— *Если статистический метод даже в приблизительной своей форме вносит в познание определенность и дает опору для предвидений, то не может ли индуктивное исследование на нем окончательно и остановиться?*

— Статистический метод способен давать более совершенное описание фактов, чем метод простого обобщения, но все же только описание, а *не объяснение*. Каждое явление—сложный результат многих причин, и против этой сложности статистический метод бессилен: он не может выделить эти причины из их сцепления, не может определить, какие из них более общие, основные, и какие более частные, второстепенные, и как те и другие соединяются в действительности. Оттого не вполне надежны и его предвидения. Напр., мы можем собрать статистику богатства страны под-ряд за 7—8 лет и найти, что оно возрастает, и даже все быстрее. На этом основании мы предскажем, что и на следующий год оно еще увеличится,—а на деле увидим совершенно обратное: это окажется год кризиса, который принесет резкое понижение величины капитала нации. Или, напр., в области нашей науки: мы наблюдаем идейную жизнь народа за целый ряд лет и находим все более энергичный рост освободительных и прогрессивных идеологий. Наступает революция, за время которой этот рост ускоряется до крайности. Но если мы будем ожидать, что и дальше развитие пойдет так же, то рискуем очень ошибиться: наступает реакция, и процесс поворачивает в другую сторону, к усилению консервативных и ретроградных идеологий. Во всем этом нет ничего удивительного: наблюдаемый процесс зависит не от одной, а от нескольких

причин и от соотношения между ними; но подсчет и измерение, ни приблизительные, ни даже вполне точные, не обнаруживают ни этих причин, ни их взаимной связи; основа явлений ускользает от него. Ее должен найти другой метод, абстрактный.

— В чем сущность абстрактного метода?

— В упрощении фактов путем их разложения (анализа). Поэтому абстрактный метод называют также „аналитическим".

— Каким путем достигается разложение сложных фактов?

— Таким, что из них удаляют или от них „отвлекают" разные усложняющие условия так, чтобы обнаружилась самая основа явления. Оттого и метод носит имя „абстрактного" („абстрагировать" значит отвлекать). Отвлечение усложняющих элементов производится иногда на самом деле, т.-е. практически; иногда же только мысленно,—когда практически его выполнить невозможно или неудобно.

— Как производится практически упрощающее отвлечение и в каких случаях оно возможно?

— Оно производится посредством точных опытов, „экспериментов", и удается, следовательно, лишь тогда, когда изучаемые вещи или явления таковы, что мы можем свободно ими распоряжаться, экспериментировать над ними. Мы можем делать это над разными телами мертвой природы, над растениями, животными. Поэтому абстрактный метод в виде точных экспериментов и применим, главным образом, в физике, химии, биологии, вообще— в естественных науках. Возьмем уже намеченный нами пример: падение тел. Большинство их падает вертикально, иные быстрее, другие медленнее; некоторые падают зигзагом, другие вовсе не падают, а есть и такие, которые летят вверх. Видя действия ветра и всяких движений воздуха на падающие тела, мы догадываемся, что тут вообще сопротивление воздуха является усложняющим

условием. Чтобы отвлечься от этого условия, берем длинную трубку и насосом выкачиваем из нее воздух. После этого оказывается, что в ней и кусок свинца, и клочок бумаги падают одинаково вертикально и одинаково быстро. Значит, мы опытом нашли основу фактов или, вернее, их основную постоянную тенденцию: все тела одинаково и с одинаковой скоростью „стремятся" падать к центру земли („тенденция" значит стремление); но сопротивление воздуха мешает им в этом, тяжелым телам меньше, легким—больше; иногда оно даже совершенно парализует и как бы маскирует, скрывает от нас постоянную тенденцию падения: тело видимым образом не падает (напр., капельки воды, образующие облака). Так одна тенденция, основная и более общая, осложняется другой, менее существенной и более частной. Явление объяснено, и мы уже гораздо точнее и строже можем расчитать, предвидеть разные его случаи.

Однако, даже с неодушевленными предметами не всегда так удобно экспериментировать: иные из них вне нашей власти, напр., небесные тела; иные и доступны, но устранить какое-нибудь усложняющее условие технически трудно. Над людьми же постановка опытов возможна сравнительно редко (эксперименты в физиологии, медицине, психологии). А для явлений общественных, и особенно самых сложных, в том числе—идеологических, она невозможна почти никогда. Тут поэтому приходится прибегать к методу мысленного отвлечения, который большей частью, собственно, и называют „абстрактным".

— Как выполняется мысленное отвлечение усложняющих условий из наблюдаемых фактов?

— Это—вещь настолько сложная, что мы должны сначала показать ее на примере.

Статистикой установлено за большие периоды времени, что в капиталистических странах крупные капиталы растут, количество средних и, особенно, мелких уменьшается, и возрастает также число пролетариев, лишенных

всякого капитала. Так бывает в большинстве наблюдаемых случаев, но бывают и исключения; а темп этих процессов (обозначаемых вообще, как „концентрация капитала") весьма различен и сильно колеблется. Очевидно, есть усложняющие влияния, которые надо найти и мысленно устранить. Мы сопоставляем сделанные наблюдения и видим, что все они относятся к странам капиталистическим; но в то же время из других исследований мы знаем, что чистого капитализма, вполне цельного и законченного, ни в одной стране нет: всюду рядом с капиталистическим хозяйством или в смешении с ним есть разные остатки феодально-крепостного и ремесленно-цехового строя, иногда очень значительные. Тогда мы располагаем свои данные в ряд таким образом: на первом месте помещаем страны, где пережитки прежних форм хозяйства наиболее многочисленны и сильны,—напр., Турцию, Персию; на втором такие, где они менее значительны, напр., Россию, Японию, и т. д., вплоть до стран, где эти остатки наименее выражены, как Англия, Соед. Штаты. Оказывается, что чем больше было до-капиталистических пережитков, тем менее определенно, тем менее устойчиво и правильно, с более сильными колебаниями и нарушениями выступал процесс концентрации капиталов; чем более страна от них была свободна, тем отчетливее и правильнее ход этого процесса. Мысленно продолжая наш ряд вплоть до полного исчезновения докапиталистических форм, мы приходим к представлению о чистом капитализме, и для нас ясно, что там процесс концентрации шел бы наиболее устойчиво и неуклонно. Это и есть абстрактный вывод: основной и постоянной тенденцией капитализма является концентрация капиталов. Иначе это выражают так: концентрация капитала есть абстрактный закон капитализма.

Мы произвели упрощение фактов, мысленно „отвлекли" усложняющие условия и получили действительный закон явлений. Пользуясь им, мы можем с достоверностью предвидеть, что раз уже в страну проник капита-

лизм, то в ней появится и тенденция к концентрированию капиталов, которая будет ослабляться и нарушаться, порою совсем маскироваться влиянием уцелевших еще остатков прежних форм, — но будет обнаруживаться все сильнее и правильнее, поскольку капитализм будет развиваться, а пережитки старого строя отмирать. Статистический метод наметил нам некоторую „эмпирическую" (прямо наблюдаемую, „опытную", по буквальному смыслу слова) тенденцию; но, пока она не объяснена, мы не знали ни степени ее общности, ни ее границ, ни значения в историческом развитии. Абстрактный метод объяснил нам ее, указал ее основную причину, свел ее к настоящему закону.

— Как же следует формулировать прием мысленного отвлечения?

— Он заключается в том, что, сравнивая разные наблюдения, стараются определить, в какую сторону изменяется характер явления, когда тот или иной из его признаков выступает в большей степени, в какую, — когда он выступает в меньшей степени. Так находят тенденцию, связанную с усилением или ослаблением данного признака, и затем мысленно продолжают ее до конца, до наибольшего возможного развития признака или до полного его устранения. Этим путем явление представляется в более законченном или в упрощенном виде. Когда выяснена основная тенденция группы явлений, то это и означает, что найден их абстрактный закон. Вслед за основной тенденцией выясняется таким же образом наиболее постоянная или значительная из тенденций, ее осложняющих или вторичных, более частных, и т. д.: закон дополняется, достигается все более полное и точное понимание всего изучаемого цикла явлений.

— Насколько применим абстрактный метод в идеологической науке?

— Здесь он решительно преобладает, еще сильнее, чем в других общественных науках. Иначе и быть не

может, потому что идеологии—наиболее сложные из всех социальных явлений; следовательно, для их познания всего больше требуется упрощение, отвлечение. Но в то же время, конечно, и самое применение метода здесь оказывается особенно трудным. Вот пример из числа сравнительно простых: распространение „индивидуалистической“ идеологии.

Этим именем обозначаются понятия, идеи, нравственные и правовые нормы, основу которых составляет представление об отдельности и самостоятельности человеческого индивидуума; таково, напр., понятие об обществе, как о простом союзе первоначально независимых личностей, которые заключили этот союз ради эгоистических интересов каждой из них; такова идея о свободе, как естественном и прирожденном праве личности, учение о нравственном долге, врожденном человеку независимо от его общественной среды, теория о борьбе за личные выгоды, как естественном пути к общему благосостоянию, и т. д. Подобные идеологии уже давно преобладают в культурных странах, но не в одинаковой мере. В странах полу-культурных они еще не господствуют, но быстро развиваются; в еще более отсталых—только намечаются, у иных же варварских и диких племен почти совсем отсутствуют.

Расположим все данные современных наблюдений и истории прошлого по этому вопросу в один ряд, в порядке убывающего распространения индивидуалистических идеологий. Мы заметим на всем протяжении ряда одну общую тенденцию: индивидуализм тем сильнее, чем более развиты в стране обмен товаров и частная собственность; там же, где обмена совсем не было и господствовала собственность общинная, не было индивидуализма даже следов. Это позволяет нам установить абстрактный закон о связи индивидуализма в идеологиях с развитием обмена и частной собственности.

Но для того, чтобы весь анализ мог принять такую упрощенную форму, надо было выбрать из массы условий

жизни общества именно то, с которым сопоставляется наиболее успешно развитие данного явления, т.-е. прогресс обмена и частной собственности. Выбрать же возможно только путем различных предварительных попыток и сравнений, — часто лишь после множества неудач. Такова сложность и трудность метода. Она — одна из причин отсталости идеологической науки даже по отношению к другим общественным наукам.

b) *Дедукция.*

— В чем состоит метод дедукции?

— В том, что обобщения и законы, добытые индукцией, прилагаются к частным случаям, действительным или мыслимым, и таким образом „выводится“ объяснение этих частных случаев, а также и предсказание относительно них. Все „предвиденья“, о которых мы уже упоминали, говоря об индукции, представляют не что иное, как подобные выводы.

Дедукцию, в которой приходится применить только одно какое-нибудь индуктивно добытое положение, можно назвать элементарной или простейшей. Если, напр., установлено, что развитие менового хозяйства связано с развитием индивидуалистических идеологий, и если мы знаем, что какое-нибудь африканское племя, раньше жившее всецело натуральным хозяйством, теперь вступает в оживленный обмен с проникшими к нему европейскими купцами, то мы прямо получаем вывод, что и среди этого племени должны зародиться и расти элементы индивидуализма.—Чаще, однако, в науке мы имеем дело со сложными дедукциями, где для понимания или предвидения определенного частного случая применяется сразу несколько индуктивных обобщений или законов. Напр., если нам надо предсказать путь брошенного тела—камня, артиллерийского снаряда,—то мы должны принять в расчет три абстрактных закона, относящихся к падению тел, к сложению скоростей, к сопротивлению

воздуха. Если требуется объяснить идеологическое состояние данной страны в данную эпоху, с разнообразными, смешанными и частью противоречивыми идеологиями, то надо применить целый ряд абстрактных законов нашей науки.

— Из трех видов индуктивного метода каждый ли способен давать положения, пригодные для того, чтобы строить на них дедукции?

— Да, каждый, но в чрезвычайно различной степени. Простые обобщения по сходству, получаемые посредством описательного метода, весьма ненадежны в этом отношении, так что дедуктивные выводы из них часто ошибочны: сходства, уловленные обобщением, могут быть случайны или частичны, и потому неустойчивы. Таковы, напр., бесчисленные наивные дедукции народных мифологий. Люди, положим, наблюдали, как на расстоянии поражает человека или зверя брошенное оружие—стрела, дротик; и, обобщивши эти наблюдения, они сделали из них вывод о том, что молния, которая тоже иногда поражает живые существа и другие предметы на больших расстояниях, есть не что иное, как метательное оружие, брошенное чьей-то сильной рукой, и т. под. Столь привычные для всех обобщения: в воде живут рыбы, в воздухе летают птицы,—привели к неверным выводам, что кит есть рыба, а летучая мышь—птица, при чем этим животным оказались приписаны свойства, которых они не имеют, и т. д.

Метод статистический, со своей гораздо большей точностью, уже не столь ненадежная основа для дедукции. Однако, и он, как мы раньше отметили, может вести к ошибочным предвидениям: находимые с его помощью „эмпирические" (т.-е. наблюдаемые прямо в опыте, на фактах) тенденции иногда меняют вдруг свое направление, обманывая всякие выведенные из них ожидания.—Затем масса статистически установленных положений по самой своей форме непригодны для вполне определенных

дедукций. Пусть мы выяснили, что такое-то явление в 900 случаях из 1000 протекает так-то, а в 100— иначе; если затем возникает вопрос об еще новом случае того же рода, то мы не можем сказать ничего иного, кроме того, что такой-то ход явления вероятнее, чем иной, в 9 раз. Когда же нам приходится дедуктивно применить не одно, а несколько подобных положений вместе, тогда не только вероятность нашего вывода уменьшается, но не всегда даже удается определить ее степень.

Настоящее и широкое поле для дедукции дает абстрактный метод. Он раскрывает постоянные тенденции наблюдаемых фактов, а вместе с тем позволяет объяснить и предвидеть не только те случаи, когда эти тенденции прямо обнаруживаются в действительности, но и те, когда они остаются в скрытом виде, парализованные и замаскированные другими тенденциями. Поэтому огромное большинство научных дедукций, особенно наиболее важные из них, бывают основаны на законах и формулах, полученных абстрактным методом. Благодаря такому соотношению, до сих пор многие даже смешивают абстрактный метод с дедуктивным. Но хотя в науке они постоянно идут рядом, по характеру они противоположны: абстрактный метод есть лишь наиболее совершенная индукция от частного к общему, дедуктивный же — применение результатов индукции, от общего к частному.

с) *Принцип причинности.*

— Какое место занимает идеологическая наука в ряду других?

— Если расположить все науки в ряд по возрастающей сложности их предмета, то наша наука займет среди них высшее, последнее место. Она принадлежит к кругу общественных наук, так как изучает общественное сознание, и следует за экономической наукой, изучающей „общественное бытие“, т.-е. самое строение обще-

ства, основные формы его жизни. Общественные науки, в свою очередь, относятся к циклу наук о жизни вообще, или „биологических", и среди них опять-таки занимают высшее место по сложности своего предмета. Науки о жизни аналогичным образом находятся в ряду наук о природе, или „естественных", и также между ними стоят выше всех по сложности объекта.

Другими словами, идеология есть одно из общественных явлений, и тем самым—одно из явлений жизни, и тем самым—одно из явлений природы. Отсюда—коренное единство методов: индукция и дедукция равно применимы к познанию всех этих явлений, различны лишь частности применения, напр., неодинаково значительная роль статистического метода, возможность экспериментов в одних науках, трудность или невозможность в других, и т. п.

— Кроме индукции и дедукции, нет ли дальнейшей и более тесной связи метода между науками естественными, общественными и наукой идеологической?

— Да, есть. Это именно принцип причинности. Во всех науках о природе и об обществе исследование бывает основано на той мысли, что каждый факт имеет свою достаточную и необходимую причину, которая лежит в некоторых предшествующих ему фактах. Главная задача исследования есть отыскание таких причинных связей между фактами; эти связи дают „объяснение" фактов и опору для научного „предвиденья". Сила абстрактного метода в том и состоит, что он раскрывает общие причины однородных фактов.

— Представляет ли принцип причинности нечто раз навсегда установленное, или же он изменяется?

— С развитием всего познания развивается и принцип причинности. Прежде все понимание причинности сводилось к тому, что если имеются налицо определенные условия, то необходимо наступает обусловленное, или их следствие; напр., если есть два куска дерева и

трение между ними, то это—достаточная причина, в силу которой происходит нагревание обоих кусков. Современное научное мышление этим не ограничивается. С тех пор, как возникло машинное производство и люди научились прясть силою пара, освещать улицы работою водопада, вообще производить одни явления за счет энергии других, превращая формы энергии,—с тех пор стало складываться новое, более глубокое понимание причинности. Принимается, что каждое явление не только необходимо следует за своею причиною, но что оно *порождено* ею, получилось *из* нее, и представляет заключавшуюся в ней энергию в превращенном виде; напр., что теплота нагревания двух кусков дерева при трении есть новая форма, принятая затраченной энергией трения, и по количеству соответствует этой исчезнувшей механической работе. В науках о природе, особенно в физике и химии, теперь вполне господствует такая, „энергетическая" идея причинной связи.

— *Применимо ли энергетическое понятие причинности в науках общественных и специально—в идеологической?*

— Применимо, хотя в гораздо меньших размерах, чем для наук естественных. Это зависит от меньшего развития общественных наук, от сложности изучаемых фактов. Измерять энергию явлений идеологических и вообще социальных еще не найдено способов. Но надо заметить, что настоящее измерение энергии, прямое и сколько-нибудь точное, удается и естественным наукам лишь в сравнительно немногих случаях; гораздо чаще принципом энергии пользуются косвенно, основывая на нем много важных дедукций. Такое косвенное применение в иных случаях возможно и полезно также в нашей науке.

Напр., раз признается, что идеологические процессы образуют некоторую затрату энергии общества, то нам понятно, что эта энергия должна быть взята обществом откуда-нибудь, и очевидно, что именно из внешней природы. Этим объясняется, почему идеология развивалась с

величайшей медленностью в те времена, когда почти вся сумма усилий общества в его труде уходила на простое поддержание его жизни, и почему идеология могла расти и усложняться несравненно быстрее тогда, когда общество стало располагать значительной массой „прибавочного труда“, т.-е. извлекать из внешней природы гораздо больше энергии, чем затрачивало на трудовую борьбу с нею.

d) Принцип приспособления.

— Какая существует ближайшая связь метода между науками общественными и биологическими?

— Принцип приспособления. Все живое приспособляется к среде, его окружающей, и вне приспособления жить не может. Где есть неприспособленность, там получается разрушение жизни, частичное или полное. В этом заключается стихийный подбор, в силу которого только приспособленное устойчиво сохраняется и развивается. Это относится одинаково ко всем формам жизни—растениям, животным, людям, обществам, понятиям, идеям. Гибнет организм, неприспособленный к добыванию пищи из своей среды, к ее температуре, к защите от врагов; гибнет клетка, неприспособленная к окружающим ее тканям организма; разрушается общество, неприспособленное к добыванию жизненных средств из внешней природы, к борьбе с другими, враждебными обществами. Если иногда мы находим, что дело происходит и не так, что сохраняются и „неприспособленные“, напр., хронические больные и слабоумные в приютах, погибают и „приспособленные“, напр., сильные, интеллигентные работники при безработице, то это—неточность, зависящая от способа выражаться: идиоты и больные сохраняются потому, что их поместили в особенно благоприятную среду, к которой и они, при своей малой жизнеспособности, все-таки достаточно приспособлены; а люди здоровые и энергичные, т.-е. весьма жизнеспособные, могут оказаться в такой

неблагоприятной, враждебной среде, что и они к ней не приспособятся.

Равным образом понятия, идеи и прочие идеологические формы могут сохраняться и развиваться только тогда, когда они приспособлены к той среде, в которой живут, среде природной и общественной. Так, когда арийские племена пришли с севера в Ост-Индию, они, конечно, принесли с собой свои понятия о временах года—зиме, весне, и проч.; но эти понятия были приспособлены к природе их родных, умеренно-холодных стран, и оказались неприспособлены к тропическому климату Индии, а потому не удержались и заменились новыми: время дождливое, время сухое; и т. под. В обществах консервативных, устойчивых, неуловимо-медленно развивающихся, господствуют идеологии „статические", т.-е. основанные на идее неподвижности мира, неизменности его законов, непреложного хода вещей, абсолютной, вечно себе равной истины; подобные идеологии, очевидно, вполне приспособлены к неподвижной общественной среде. Но когда общество начинает быстро, заметно для самих людей, развиваться, когда его старые формы на их глазах сменяются новыми, когда все прежнее становится непрочным и неустойчивым,—тогда статические понятия и учения обнаруживают свою неприспособленность к изменившейся, текучей жизненной обстановке: они начинают разрушаться и отмирать; а их сменяют новые идеологии, „динамические", основанные на идее движения, развития в природе, жизни и мышлении.

— В какой связи находится применение принципа причинности и принципа приспособления?

— В исследовании жизненных явлений первый направляет нашу работу к отысканию их причин, второй указывает, как и где их искать: он учит нас, что недостаточно рассматривать эти явления в отдельности,—что причины их сохранения или разрушения, их развития или деградации, лежат в их отношениях к той среде,

в которой они протекают. Таким образом, принцип приспособления точнее определяет причинность жизненных явлений; его можно назвать специально-биологической причинностью.

e) *Социальная причинность.*

— Какая существует ближайшая связь метода между идеологической и другими общественными науками?

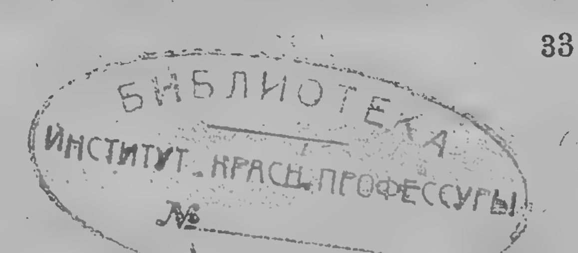
— Общее для всех этих наук понимание причинности, которое мы назовем „принципом социальной причинности". Сущность его такова: причины всякого развития общественных форм лежат в области производства, трудовой борьбы общества с природою.

— Следует ли понять социальную причинность в том смысле, что для развития, напр., любой идеологической формы можно непосредственно найти причину в сфере производства?

— Нет, не совсем так. Причина одного идеологического явления может лежать и в других идеологических явлениях, напр., идея возникает нередко потому, что она необходимо вытекает из других, раньше сложившихся идей, а те, в свою очередь, могут быть порождены также идеологическими условиями, и т. д. Но, продолжая эту цепь, исследование необходимо приходит к причинам уже производственного характера. Другими словами: идеология в конечном счете определяется производственными условиями.

— Условия производственные то ли же самое, что „экономические"?

— Не совсем. Производство, или общественный труд, представляет две стороны. Одна обращена к внешней природе; это—технический процесс, самое воздействие человека на предметы его труда, на материалы и орудия производства; способы и приемы труда-кратко



обозначаются, как его „техника“. Другая сторона обращена к самим людям: технически действуя на природу, они в своем труде вступают в различные связи и соотношения: сотрудничают, делят работу между собою, распределяют поле труда, напр., отделяя одни участки земли от других под названием „собственности“, присваивают друг у друга разными путями продукты труда, и пр. Это—экономический процесс; совокупность его форм—„экономика“ общества.

—Как представляется отношение экономического и технического процесса с точки зрения социальной причинности?

— Основная из двух сторон производства—техническая. В зависимости от ее изменений изменяется экономическая. Следовательно, более полное и точное выражение социальной причинности таково:

экономика общества определяется в своем развитии, его техникой;

идеология определяется в своем развитии экономикой и техникой.

Напр., когда мы будем изучать религиозные идеологии, то увидим, что они построены на принципе власти—подчинения (или „авторитарном“); и господство их обусловлено такими экономическими отношениями, что во всем общественном труде преобладает авторитарное сотрудничество: повсюду имеется организатор, который распоряжается, и исполнители, которые подчиняются. Но и эта экономика зависит от определенного состояния или уровня техники; а именно, от такого, когда в каждой общине технический процесс уже слишком сложен и обширен, чтобы мог обойтись без особой распорядительской или организаторской деятельности, но еще не настолько обширен и сложен, чтобы эта деятельность была непосильна для отдельной человеческой личности.—Когда же техническая жизнь общин разрастается и развивается до того, что отдельный человек не в силах руководить производством целой общины, тогда они начинают распа-

даться на самостоятельные хозяйства, связанные разделением труда и обменом продуктов; это уже новая экономическая форма, и с нею зарождаются иные, новые идеологии.

— В каком соотношении находятся принципы социальной причинности и приспособления?

— Если ясно представить себе тот и другой в их применении, то мы убедимся, что социальная причинность является необходимым выводом из идеи приспособления, как ее частный случай. В самом деле, из нее следует, что развитие общества определяется его приспособлением к окружающей среде, т.-е. к внешней природе, в борьбе с нею за существование. Но эта борьба общества с природою непосредственно протекает именно в виде технического процесса; следовательно, в его сфере происходит непосредственное приспособление общества к внешней среде; другими словами, здесь и определяется все развитие общества.—В экономике общество также, конечно, приспособляется, но не прямо к внешней среде, потому что экономический процесс протекает между самими людьми, а не между людьми и природою. И в то же время экономические связи людей—необходимое приспособление для производства для борьбы с природою, потому что посредством них объединяются, распределяются, вообще—организуются трудовые силы общества. Таким образом, это—не прямое, а косвенное приспособление к внешней среде, и понятно, что оно находится в зависимости от приспособления непосредственного—от техники, что оно ею определяется.

Идеология тоже служит для борьбы с природою, она—тоже приспособление. Так, напр., с помощью речи организуется все сотрудничество и присвоение, с помощью накопленного знания организуется все дальнейшее производство. Но очевидно, что идеология — приспособление еще более косвенное, чем экономика, еще дальше отстоит от непосредственной борьбы с природою, исход

ного пункта всего общественного развития. Поэтому идеология необходимо должна зависеть в своем развитии от экономики и от техники.

Итак, социальная причинность выражает цепь последовательного приспособления, идущую от самого основания общественной жизни, от технически-трудового взаимодействия с природою, ко все более далеким от него, как бы выше и выше лежащим областям общественного процесса.

Отсюда, между прочим, следует, что и среди самих идеологических форм те, которые ближе и теснее связаны с техникой, должны развиваться раньше, так сказать, „первичнее" других. Напр., слова, которые означают трудовые действия, материалы, орудия труда, должны возникать прежде слов, выражающих отвлеченные понятия, при чем эти последние складываются в зависимости от первых; знания практические также занимают в процессе развития более основное положение, чем знания абстрактно-научные, а особенно философские, и т. под.

— Можно ли найти цепь последовательного приспособления, подобную социальной причинности, за пределами человеческих обществ, где-либо в остальной живой природе?

— Трудность заключается в том, что научное понимание душевной и социальной жизни других существ еще находится в зародыше. Тем не менее, есть все основания принимать, что общественные или стадные группировки животных, соединяющих свои усилия для борьбы за жизнь, подчинены аналогичному закону. Напр., в сложных и планомерных строительных работах у бобров, в еще более сложном и также планомерном хозяйстве у муравьев можно с уверенностью принять, что взаимные отношения сотрудничества и разделения труда у этих животных, т.-е. „экономические" их отношения, определяются их „техникой"—практической задачей, которую

они разрешают, размерами и характером препятствий, которые при этом преодолевают, способами, которыми этого достигают. И далее, те знаки или „сигналы“, посредством которых они в работе выражают то, что им надо, и понимают друг друга,—издаваемые ими звуки, а у муравьев, вероятнее, движения и прикосновения их сяжек,—должны приспособляться, опять-таки, и к техническим условиям работы, и к способам соединения, распределения усилий в ней, к ее „производительным отношениям“.

Для наглядности, рассмотрим подробнее один случай. В стране, обитаемой определенною породою птиц, климат становится холоднее. Птицы страдают и от понижения температуры и от недостатка пищи зимою. Вырабатывается новое приспособление: птицы на зиму перелетают в теплые страны подобно тому, как бродячие охотники или кочевые скотоводы зимой передвигаются к югу: приспособление, относящееся к непосредственной борьбе за существование, т.-е. „техническое“.

Но далекие перелеты сопровождаются большим утомлением и во много раз увеличенными опасностями от внешних врагов; перелеты в одиночку поэтому в массе случаев прямо гибельны. Вырабатывается новое приспособление: стайный перелет, сберегающий силы, потому что стае легче преодолевать сопротивление воздуха, и позволяющий более успешно отбивать нападения врагов. Понятно, что и способ расположения птиц в стаю, и порядок смены передней птицы, которой приходится с наибольшей работой разрезать воздух, эти отношения стайного сотрудничества, аналогичные трудовой экономике людей, должны развиться в зависимости от условий перелета, определяются, следовательно, его „техникой“, как приспособление второго порядка, более косвенно связанное с борьбою за жизнь.

Далее, при стайности перелета становится в высшей степени важным для общей безопасности и для успеха всего дела, чтобы отдельные особи умели достаточно хо-

рошо выражать то, что они видят или чего хотят, и понимать друг друга. Если одна птица заметила вдали хищника или, напротив, пищу, если часть птиц уже устала и не может без истощения лететь дальше,—надо, чтобы все остальные немедленно узнали об этом; иначе хищник легко выхватит птицу из стаи неожиданным нападением, или стая будет страдать от голода, или распадется от переутомления более слабых. Вырабатывается система сигналов, криков и движений, означающих предостережение, призыв, требование отдыха и т. под.; их практическая роль подобна роли речи и других идеологических элементов в сотрудничестве людей. И опять-таки ясно, что эта система сигналов должна развиться в зависимости и от „техники“ перелета, и от „экономики“ стайного сотрудничества: приспособление третьего порядка, еще более косвенное.

Как видим, соотношения те же, что в социальной причинности.

Другая иллюстрация: вероятный путь развития стайной связи у волков.

„Техника“ волчьей борьбы за существование сводится к охоте. Пока это главным образом охота за мелкими животными, для которой достаточно сил отдельного волка, необходимости в развитии стайности нет. Но, допустим, этой мелкой добычи для прокормления волков на данной территории становится недостаточно; это может случиться либо вследствие изменения климата, ведущего к уменьшению богатства фауны, либо в силу конкуренции с другими хищниками, либо даже благодаря усиленному истреблению мелких животных самими волками. Так или иначе, выступает новая техническая задача—охоты за более крупными животными; для этого требуется иная затрата усилий и новые приемы.

Пусть дело идет о бизонах, о диких лошадях: с бизоном отдельному волку не справиться, лошади ему не поймать. Задача решается развитием стайного сотрудничества: изменение в „экономике“. Оно развертывается

постепенно. Чем больше численность стаи, тем необходимее становится руководство: беспорядочной массой бросаться на добычу невыгодно, одни мешают другим, тратится много лишней энергии, а с сильными стадными животными это может часто вести и к поражениям. Выделяется вожак—старый, наиболее опытный волк. Он распределяет роли, напр., часть стаи помещает в засаду, часть посылает как загонщиков добычи; он же и подает сигнал к нападению, и т. д. Отыскивать добычу всей стаей вместе неудобно и невыгодно, приходится посылать особых разведчиков. Так возникают некоторые зародышевые формы разделения труда.

В зависимости от развития сотрудничества изменяются и формы распределения. В стае нельзя из добычи хватать, сколько кто может,—необходима равномерность в дележе. Если, напр., засада успела овладеть оленем, а загонщики еще отстали, надо их дожидаться или не трогать их доли: элементарный коммунизм в присвоении.

Неизбежна и дальнейшая выработка системы сигналов,—теми, которые были достаточны при индивидуально-семейных связях, тут уже обойтись нельзя. Вожак должен указывать членам стаи их роль в выполнении общей задачи — одним, напр., отправляться на разведки, затем, когда добыча найдена, другим — загонять ее, третьим ждать в засаде; нужны особые сигналы к остановке, к нападению, к отступлению и про каждый сигнал, какой-нибудь особый крик, вой, по своей функции подобен слову, и представляет своего рода „идеологический“ элемент.—Если вожак, следя за бегом загоняемой добычи, выжидает момента дать засаде сигнал к выступлению, то этот сигнал пока остается у него в голове, в „сознании“, что соответствует элементу „мысли“. Соотношения, как видим, опять все те же.

— Какое более обычное обозначение в литературе носит принцип социальной причинности?

— „Исторический материализм“. Под этим названием он был впервые формулирован Марксом. „Материализм“—термин философский, употребляемый, как и большинство таких терминов, в разных значениях и оттенках. Мы будем употреблять выражение „социальная причинность“ еще и потому, что оно указывает на вполне научный, а не только философский характер принципа.

f) *Организационная роль идеологии.*

— Если идеология — приспособление, то какого рода? Каково ее общее жизненное значение, или ее „функция“ в борьбе общества за его существование?

— Функция организационная. Мы определили вначале идеологию, как общественное сознание, при чем характеризовали ее формы, как способы выражения и понимания людьми их мыслей, чувств, их воли. Все это, будучи вполне верно, не дает еще, однако, понятия об объективном значении, о практической роли идеологии в общественном процессе. Не-научное мышление даже не ставит вопроса об этом, и хотя замечает, что речь, знания, идеи и пр. часто бывают практически-полезны, но рассматривает это, как нечто побочное для них, а не как нечто постоянное и необходимое, относящееся к самому существу идеологии: все „идеальное“ обычно противополагается „реальному“ или практическому. Для науки же, усвоившей принцип приспособления, все „реально“ в жизни, все нужно для чего-нибудь. А если какая-нибудь часть жизненного процесса кажется бесполезной, не имеющей реального значения, то надо принять одно из двух: либо это—приспособление, пока еще нами не понятое, недостаточно познанное, либо это—прежнее приспособление, которое было выработано при других условиях и было полезно, но теперь уже утратило свое значение, и сохраняется только как пережиток прошлого. С идеологией часто бывает и то и другое.

Она есть общественное *сознание*. Сознание же служит живому существу—человеку, животному—для того, чтобы *организовать свою жизнь*: чтобы свои движения, действия согласовать с потребностями, свои ощущения связать в стройный порядок памяти. Согласовывать, стройно связывать, это и значит организовать. То же делает идеология в общественном процессе.

Для чего требуется человеку „выражать“ что-либо, для чего ему требуется „понимать“ то, что выражают другие? Именно для того, чтобы действия разных людей согласовались между собою и сообразовались с результатами их прежних действий, с их накопленным опытом, чтобы то, что известно одному, стало известно и другим, и все могли бы сообразоваться с этим,—чтобы устранить те или иные жизненные противоречия между ними. Такова организующая функция идеологий.

— *Разве все, что человек выражает, он выражает непременно для чего-нибудь? Разве это не делается часто без всякой практической цели, — „как птица поет“?*

— Без сомнения, в огромном большинстве случаев сам человек, который что-либо выражает, всего меньше представляет себе организационный характер своего акта. Это—одна из главных причин господствующей смутности и ненаучности во взглядах на идеологию. Но нас теперь занимают не субъективные представления людей, а объективный смысл явлений. Птица поет, не думая о жизненной функции своего пения; однако эта функция существует, и также именно организационная, относящаяся к семейной жизни. Это—способ сблизить самца и самку, связать их в единстве настроения, необходимом и для самого заключения брака, и для последующего сотрудничества в хозяйстве семьи. Если бы пение не было организационным приспособлением, оно не могло бы *развиваться*: оно было бы лишней растратой сил и лишней опасностью, как указание врагам птицы на ее присутствие;

тогда, в силу естественного подбора, выживали бы наиболее молчаливые из числа птиц, и пение исчезло бы. Вполне аналогично, не могли бы развиваться речь, познание, искусство и пр., если бы не были объективно полезны. Каждый раз, как человек что-либо выражает, хотя бы это не имело заметных непосредственных результатов, социальное значение того, что он делает, по существу не меняется: если выраженное воспринято и понято другими людьми, то с этого момента между ним и этими другими прибавилось еще нечто общее, в силу чего должна увеличиться согласованность их дальнейшей жизни— их опыта и их действий.

— Но организационный результат далеко не всегда, ведь, фактически достигается тем, что человек выразит свои мысли, чувства, желания? Разве этим нередко не увеличивается, напротив, его противоречие с другими людьми?

— Это означает только то, что приспособление не всесовершенно, что оно не всегда действует успешно. Иная птица может петь так неудачно, что лишь оттолкнет от себя самку, и не устроит, а дезорганизует свою семью. Это не изменит того общего биологического значения, которое имеет пение птиц с научной точки зрения. Если организующее приспособление в том или ином случае не достигает своей цели, это не изменяет его природы,—что в полной мере относится и к идеологии. Идеологический процесс образует огромную затрату энергии общества, и если бы не представлял определенной жизненной необходимости, то не мог бы расти и расширяться. Пока не понято, в чем состоит эта жизненная необходимость, развитие идеологии остается необъяснимым, как необъяснимо для нас развитие органа, функции которого в организме мы еще не знаем.

— Но идеология может и не случайно, а систематически являться орудием разрушения, дезорганизации; разве не такова, напр.,

роль слова, применяемого в виде угрозы, или роль идеи, применяемой для полемики?

— Где имеется налицо борьба двух живых существ или двух групп, или классов и т. п., там, естественным образом, то, что служит организующим приспособлением для одной стороны, действует противоположно этому на другую. Так, угроза обыкновенно направлена к тому, чтобы предотвратить со стороны другого лица или коллектива действия, противоречащие интересам того, кто угрожает, т.-е. уменьшить практическое противоречие между борющимися в пользу одного из них. Но уменьшение противоречия—акт организационный. — Идеологическая борьба одного класса против другого всегда направлена к сплочению и укреплению сил, т.-е. повышению организованности первого из них, и, разумеется, к ослаблению, дезорганизации сил другого. Организовать нападение и дезорганизовать неприятеля—две стороны одной практической задачи.

— Но есть же идеологические формы, которые и приспособлением вообще считать нельзя, потому что в них воплощается неприспособленность,—напр., суеверия, ошибочные идеи, и т. под.?

— Когда возникает ошибочная идея, как нечто новое, то она есть не более, как неудачная организационная попытка, и тогда она не удерживается, устраняется жизнью, и не представляет существенного интереса для нашего исследования. Но встречаются, и весьма часто, случаи другого рода: то, что в данную эпоху является заблуждением, суеверием, неприспособленностью, есть пережиток прошлого, и в предыдущую эпоху было „истинным“, целесообразным, было организующим приспособлением. Напр., верованья в стихийных духов, водяных, русалок и т. п. были на другой ступени культуры единственно-возможным для людей способом связно передать друг другу и объединить тот практический опыт, который они имели относительно разных стихийных сил.

Какой-нибудь миф о лешем, который водит путников кругами, был полезным и убедительным указанием на то, что в лесу следует определять направление не иначе, как по солнцу, звездам, коре и кронам деревьев, вообще по объективным признакам, отнюдь не полагаясь на свои субъективные ощущения и соображения.

Впрочем, как бы ни оказывались уже вредны при новых условиях такие пережитки старых времен, свой организующий характер они, большею частью, продолжают сохранять: ведь и самое грубое суеверие связывает и сближает всех, разделяющих его, некоторым единством настроения и опыта. Когда известный класс отжил и перестал быть необходимым органом общества, тогда, с точки зрения общества в целом, вся идеология этого класса становится простым пережитком; но самый-то отживший класс она сплачивает и объединяет попрежнему, хотя бы в его борьбе против всех остальных, развивающихся классов.

— Какие выводы относительно метода идеологической науки вытекают из организующей роли идеологий?

— В исследовании любой идеологической формы основным должен быть такой вопрос: кого, т.-е. какие элементы общества, и в каких отношениях она организует? Только выяснив этот вопрос, можно понять возникновение, развитие преобразования изучаемой идеологической формы и научно предвидеть ее судьбу.

Если возьмем идеологию общества во всем объеме, во всем разнообразии форм,—то что она организует? Очевидно, остальные области общественной жизни: технический и экономический процесс. Поэтому бесплодно было бы изучать идеологию, не изучая предварительно технического и экономического развития общества. К тому же выводу привел нас еще раньше принцип социальной причинности. Теперь мы можем сказать: идеология определяется техникой и экономикой, потому что служит для них организационным приспособлением.

III. Разделение, порядок изложения идеологической науки.

— Какой порядок всего целесообразнее для изложения нашей науки?

— Исторический. Дело идет об явлениях жизненных, развивающихся; их следует изучать в их развитии.

— Как подразделить процесс идеологического развития?

— Наблюдения позволяют различать в нем несколько периодов, из которых каждый характеризуется особым типом господствующих идеологий, — особым типом „культуры". Таких периодов пока можно наметить четыре:

I. Эпоха первобытных культур.
II. Эпоха культур авторитарных.
III. Эпоха культур индивидуалистических.
IV. Эпоха культуры коллективистической.

Наше время характеризуется в передовых странах наибольшим расцветом индивидуалистических культур, начинающимся уже их упадком, зарождением, на-ряду с ними и в борьбе с ними, культуры коллективистической.

— Чем характеризуются культуры первобытные?

— Разные формы идеологии—речь, познание, искусство, обычай—зарождаются и растут, но остаются в несвязном, неоформленном виде; они не складываются в системы, не имеют объединяющих принципов; по сравнению с идеологиями следующих стадий они чрезвычайно бедны и неопределенны.

— Какой ступени развитя производства они соответствуют?

— Так называемому „первобытному коммунизму".

— Каковы отличительные черты культур авторитарных?

— Идеологии складываются в системы с определенным строением; их объединяющий принцип—„авторитарный“. Все общественное сознание проникнуто точкой зрения „авторитета“, всюду вносящей сопоставление власти-подчинения или высшего-низшего. Так, миропонимания тогда принимают „религиозную“ форму, в которой все вещи и явления рассматриваются, как подчиненные высшему, властному божественному началу; нравственные нормы считаются велениями божества, и т. под.

— Каким стадиям организации производства соответствуют авторитарные культуры?

— Также авторитарным: патриархально-родовой, и затем феодальной организации, которые построены на обособлении организаторов и исполнителей, на власти первых и подчинении вторых.

— Чем определяются индивидуалистические культуры?

— Их объединяющий принцип есть „индивидуализм“, т.-е. понятие о человеческой личности, обособленной, противополагающейся другим людям и всему миру, как самостоятельный центр интересов, стремлений, мышления. Индивидуальное хозяйство принимается за независимую экономическую единицу; индивидуум рассматривается, как первичный деятель истории, познания, искусства; индивидуальная свобода и ответственность,—как основа права и нравственности, и т. д.

— С какими производственными системами связаны индивидуалистические культуры?

— С товарно-меновой организацией и специально с капитализмом торговым, а затем промышленным.

— Чем характеризуется коллективистическая культура?

— Она вся проникнута идеей трудового коллектива, в виде ли определенного класса, или в виде це-

лостного, не-классового общества. Сотрудничество здесь принимается как хозяйственная связь общества; коллективы, классовые или иные, — как первичные деятели истории, познания, искусства; развитие стройности и силы коллективов — как сущность человеческого прогресса, и т. под.

— На каких ступенях развития производства выступает коллективизм?

— Этот новый тип идеологий зарождается при капитализме, в эпоху машинного производства, но, находясь в противоречии с индивидуалистической культурой, не может в рамках капитализма достигнуть господства, а развивается только как тип классовой, именно — пролетарский. Получить преобладание он должен лишь при социалистической системе производства.

— Возможно ли вообще установить точные границы между культурными периодами?

— Нет, невозможно, как и между экономическими формациями, и даже еще больше, чем там. Идеологии старых типов сохраняются весьма долго, как пережитки, при господстве новых; и одновременно с этим обыкновенно растут еще новейшие, на смену тем и другим. То, что перемешано таким образом в жизни, исследование должно разделять при помощи абстрактного метода, выясняя основные тенденции самых типов, и направление, в котором исторически изменяются соотношения между ними. Этим путем можно и разобраться в кажущемся хаосе идеологических явлений, и даже достигнуть, по крайней мере в общих и основных чертах, их предвидения.

— Является ли принятое нами разделение идеологических периодов наиболее обычным в науке?

— Нет. Гораздо обычнее другое. Идеологию берут вместе с материальной культурой, и делят историю на периоды по уровню развития той и другой: „период

дикости", „период варварства", „период цивилизации", с их более мелкими дальнейшими подразделениями. Эта классификация для нас не годится по двум причинам. Во-1), ее понятия крайне неопределенны: под „дикостью" подразумевается большей частью какая-то особенно низкая ступень культуры, под варварством—какая-то средняя; но все признаки их имеют колеблющийся, расплывчатый характер. Во-2), и это главное,—такая классификация не затрагивает самого *строения* идеологий; а оно особенно важно. Выделить, напр., пережитки старой культуры среди новых форм с этой точки зрения не удалось бы, потому что пережитки далеко не всегда носят заметные черты „дикости", или „варварства", или „низшей цивилизации".

Существуют еще классификации гораздо более близкие к нашей; напр., принятое „позитивистами" разделение трех фаз мышления—„теологической", „метафизической" и „научной" или „позитивной"; или намеченное у Луи Блана разграничение принципов „авторитета", „индивидуализма", „братства". Но и эти формулы научно недостаточны и неточны, потому что берут идеологические факты „отвлеченно", вне их связи с другими сторонами общественного процесса, вне зависимости от них; эти классификации не основаны на *социальной причинности*.

— *Какого порядка следует держаться в изучении каждого идеологического периода?*

— Связь социальной причинности указывает на такой порядок: сначала определить технические и экономические условия жизни общества в данную эпоху, затем изучить идеологические формы, как их *выражение* и в то же время как *организующие их приспособления*.

— *Но если идеологическая наука занимается вопросами техники и экономики, то*

не захватывает ли она этим области других наук, не смешивается ли с ними?

— Ни одна наука не может вырвать своего объекта из общей мировой связи, и каждая поэтому вынуждена время от времени иметь дело с разными не принадлежащими ей, но сопредельными явлениями; она только берет их со своей специальной точки зрения, в пределах своей особенной задачи. Так и наша наука должна часто касаться экономических и технических явлений; но они интересуют ее не во всем своем объеме и не сами по себе, а лишь постольку, поскольку необходимы для объяснения процессов идеологических, поскольку представляют причины их изменений, их развития.

Период первобытных идеологий.

— Существуют ли теперь общества, идеология которых находилась бы вполне на первобытной ступени?

— Нет; или, по крайней мере, этого нельзя утверждать с уверенностью. Существуют, без сомнения, весьма низко стоящие дикие племена; но не следует забывать, что каждое из них, как бы ни отставало оно в своем развитии, все-таки имеет за собой историю, столь же продолжительную по времени, как и остальное человечество.

— По каким же наблюдениям возможно изучать первобытные идеологии?

— Недостаточные и неточные данные прямого наблюдения, а также, конечно, истории прошлого, должны быть восполнены при помощи абстрактного метода. Для этого надо сопоставлять известные нам формы низших ступеней идеологии, располагая их в нисходящий ряд, и таким образом выяснять, как изменяются идеологии, по мере того, как исследование приближается к их первобытным фазам. Продолжив эту нисходящую тенденцию насколько возможно дальше, мы получим научное понятие о первобытных идеологиях.

— Можно ли считать безошибочным такой „абстрактный“ способ исследования недоступного прошлого?

— Самый метод, при строгом и точном его применении, можно считать безошибочным; но это не всегда будет верно относительно результатов его применения. Те данные, с которыми он имеет дело, могут быть слишком неполны или недостаточны, а иногда—и неправильно поняты. Делалась, напр., не раз такая ошибка. Племена, которые раньше обладали более высокой культурой, а затем, попавши в неблагоприятные условия, деградировали, рассматриваются как наиболее близкие к первобытному состоянию. В их идеологии сохраняются пережитки более высокой стадии развития; а в этих пережитках думают видеть наиболее первобытные черты.— Так, цейлонское лесное племя „веддахи" часто бралось как пример наиболее примитивных форм идеологии; но филологи нашли, что язык этого племени принадлежит к семье индо-европейских, или арийских, той же, к которой принадлежат санскритский, древне-иранский, греческий, латинский, славянские, германские. Между тем доказано, что, когда арийцы пришли в Индию, они обладали уже довольно высокой культурой. Значит, веддахи— либо их выродившаяся ветвь, либо когда-нибудь жили в такой тесной связи с ними, что заимствовали их язык; в обоих случаях веддахи должны были в известную эпоху стоять на более высоком уровне развития, чем теперь.—Аналогичным образом есть основания полагать, что многие из низко стоящих теперь полярных племен стали таковы в силу деградации: их предки жили в более теплом климате, среди более богатой природы и, попавши в обстановку полярных стран, сделались жертвою тамошних, непомерно тяжелых условий борьбы за жизнь.

В виду трудностей исследования оно должно, во-1), брать за основу как можно более широкий материал, чем уменьшаются шансы ошибок, во-2), подвергать его тщательной и разносторонней критике, в 3), ограничиваться пока лишь наиболее общими выводами, которые, конечно, в то же время и наиболее важны.

— Как далеко в глубину прошлого может итти абстрактно-индуктивный метод?

— Вплоть до самого зарождения идеологий.

— Но допустимо ли для нашей науки ставить вопрос о первом возникновении идеологий, раз мы не знаем во всей истории человека без духовной культуры?

— К неизбежности вопроса о самом происхождении первых идеологий приводит тот же абстрактный метод. Если мы сравним самые различные ступени культуры, расположив их опять в нисходящий ряд, то увидим вот что. Современное культурное общество чрезвычайно богато идеологическими формами. Громадная масса элементов речи, — познания, обыденного и научного, искусства, проявлений нравственности, права, — заполняют значительную часть общественного процесса, которая остается значительной даже если сравнивать ее с колоссальным развитием технической и экономической стороны жизни. Но чем ниже мы спускаемся по лестнице культуры, тем больше отношение меняется: идеологическая часть общественного процесса не только суживается, но притом быстрее, чем техническая и экономическая, так что занимает в нем относительно все меньшее место. На первый план все более выступает непосредственная борьба человека с природою; люди все меньше обсуждают, столковываются, обдумывают, оценивают, все больше действуют стихийно. Продолжим эту тенденцию до ее мыслимого конца, и мы придем к такой ступени, где вовсе нет идеологий, где труд еще не осложнен речью, понятиями, идеями, нормами и т. под. Дойдя же до этого, хотя бы только мысленно доступного нам предела, мы не можем не поставить вопроса, откуда и как первоначально возникла идеология.

I. Начало идеологий.

а) Техническая и экономическая характеристика эпохи.

— Как следует представлять технику эпохи первого зарождения идеологии?

— Две черты существенны для нас в этой технике: во-1), ее величайшая, „предельная“ слабость и, во-2), зародышевое состояние орудий.

Ее слабость такова, что ценою всех своих усилий люди едва могут поддерживать свое существование, почти постоянно находясь на пределе, за которым угрожает гибель. Тут совершенно отсутствует „прибавочный труд“, т.-е. какой бы то ни было излишек трудовой энергии над тем, что абсолютно необходимо для поддержания жизни.

Орудия уже существуют; где их еще нет, там не может быть речи о человеке: употребление орудий есть именно то, что выделило человека из царства животных. Но это еще только те орудия, которые, так сказать, непосредственно даются природою: камень, который достаточно поднять с земли, палка, которую легко выломать в лесу. Орудия служат продолжением и дополнением органов тела; в эту эпоху роль их в борьбе за существование сравнительно очень мала, над нею далеко преобладает непосредственное применение органов самого тела. В техническом процессе еще весьма мало места занимают действия вещей на вещи (орудий на материалы), несравненно больше прямые действия человека на вещи.

— Чем характеризуется экономика эпохи?

— Система сотрудничества является в виде родовой группы, узкой по объему—не более нескольких десятков человек,—тесно спаянной и кровной связью происхождения, и суровыми условиями борьбы за жизнь. Самое

сотрудничество отличается однородностью и неорганизованностью. Первая заключается в том, что нет разделения труда, если не считать тех его зародышей, которые зависят всецело от физиологических различий мускульной силы, смотря по полу и возрасту (напр., дети собирают плоды и коренья, но не участвуют в охоте, и т. под.). В общем, труд так элементарен, что каждый умеет делать все то же, что и другие родичи. Неорганизованность определяется тем, что и в случае одновременных совместных действий (напр., борьба с большим хищником, война с другой группой, коллективное перетаскивание больших тяжестей) нет ни специального распорядителя, который организовал бы все дело, ни предварительного общего обсуждения и решения, определяющего порядок и связь труда участников. Усилия людей объединяются, когда это необходимо, непосредственным и стихийным образом, без идеологической планомерности, на основе просто общей цели, всем очевидной и всех одинаково интересующей, а также подражания.

Полное отсутствие того, что можно было бы назвать „собственностью" дало повод обозначать самый строй как „первобытный коммунизм".

b) *Происхождение слова.*

— Откуда произошла человеческая речь?

— Из трудовых криков. Когда человек выполняет какое-нибудь усилие, это усилие отражается на его дыхательном и голосовом аппарате, и у него непроизвольно вырываются определенные звуки. Так, когда дровосек с силою ударяет топором, этот звук бывает „ha"; когда бурлаки на Волге сразу вместе натягивали канат—глухой крик „ухх"; у европейских рабочих при поднятии тяжестей— „hopp" или „hop-la"; у матросов при повороте кабестана с якорной цепью—„ho-hoi"; у мостовщиков в Тунисе при опускании тяжелой „бабы" на камни—крик „ai-a", и т. под. Если мы и не видим работников, но слышим подобные

„трудовые междометия“, то мы знаем, что работники делают; это—вполне понятные для нас знаки трудовых актов, хотя это нельзя назвать настоящими „словесными обозначениями“; от слов они отличаются своим непроизвольным, стихийным характером.

Такого же рода явления существовали, конечно, и в первобытную эпоху, и даже еще в большей мере, в силу большей непосредственности, импульсивности примитивной психики.—Живой организм—одно неразрывное целое; и потому всякое трудовое усилие находит отзвук, только в разной мере, в самых различных частях нервно-мускульного аппарата; возбуждение одних центров мозга неизбежно отчасти распространяется на другие (в физиологии это называется „нервной иррадиацией“). Следовательно, в трудовом акте, кроме его произвольной, сознательно-целесообразной стороны или части, есть еще непроизвольная; к ней относится трудовой крик.

Этот звук был, очевидно, в каждом случае одинаковый у всех членов родовой группы: их организмы были чрезвычайно сходны и в силу тесного родства, и в силу совместной жизни среди одной природной обстановки. Естественно, что он сам собою стал обозначением — для всех понятным—того трудового действия, к которому относился. Так образовались первобытные слова или „первичные корни“. Их было, конечно, очень немного, самое большее несколько десятков. Но в дальнейшем они изменялись, развивались, усложнялись; их непроизвольно-стихийный характер сменялся все более сознательным. Этим путем из них произошло, в конце-концов, все колоссальное богатство позднейших языков. Как видим, первая и основная идеология—речь—возникла из общего труда людей, из производства.

— Мыслимая ли вещь, чтобы из нескольких десятков простых криков получилась современная речь, с ее сотнями тысяч разнообразных слов и бесконечностью их сочетаний?

— Да. Филология уже давно показала, что все множество и разнообразие современных языков сводится к немногим их семьям, и в начале каждой из них лежит один, древнейший, обыкновенно уже исчезнувший язык; а затем при его посредстве все их слова сводятся к немногим общим корням. Каждый из этих корней и его значение в ряду веков подвергается непрерывным и медленным, но бесчисленным и постепенно накопляющимся видоизменениям, „вариациям", которые расходятся по различнейшим направлениям, как ветви и листья дерева от одного ствола. Вот один типичный пример.

В семье индо-европейских языков есть древний корень „mard", первоначально означавший действие растирания руками, размельчения чего-нибудь, отсюда также—разбивания, дробления и т. под. В исторической шлифовке этот корень сокращался, смягчался, принимая формы „mar", „mal"; его звуки переходили в другие по известным, выясненным наукою законам „фонетики" (учения о звуках речи). Заметим, что гласные звуки изменяются чрезвычайно легко, и потому характерными в корнях считаются только согласные, для которых законы превращений гораздо строже.

В русском языке значение корня почти вполне сохранилось в словах молоть, размалывать, мельница, а также мелкий, малый (то, что является в результате размельчения). Есть это значение и в немецком: Mehl (мука), Mühle (мельница), Malz (солод). От растирания получается нечто мягкое; так возникло греческое μαλαχος латинское mollis мягкий. В немецком подобный смысл имеет Schmalz сало—(то, что размягчается), Schmelzen—таять. Тут корень, как говорится, „усилен" звуком *с* или *ш* спереди; это—вещь обычная в фонетике.

С тем же значением размельченности-мягкости связано готское mufda (мягкая земля), и затем в немецком, с утратой начального *m*, слово Erde—земля. Но, как это ни

странно, отсюда же и M e e r, русское м о р е, французское m e r, латинское m a r e.

То, что растерто, может мазаться, пачкать. Отсюда немецкое schmieren—натирать, мазать, и Schmutz—грязь; русское „смола". От идеи пачканья переход к идее черного цвета, немецкое schwartz, русское „смоль" („черный, как смоль"), греческое μέλας—черный. По-немецки malen—рисовать, (т.-е. мазать красками); слово Mal означает „раз", т.-е., собственно, пятно, знак, которым отмечается каждый „раз" (по-русски это слово „раз" от глагола „разить", и означает, в сущности, удар).

Более грубый оттенок корня m a r d, а именно разбивать, выступает в русском „молот", „молотить"; затем в латинском mordeo—кусаю (и по-русски „морда"—то, чем кусают звери). Сюда же относятся слова, выражающие разрушение: наше „смерть", немецкое Mord—убийство, латинское mori—умирать и morbus—болезнь, французское mort—смерть, и так далее.

Все это не образует на деле и тысячной доли разветвлений одного корня, выражавшего первоначально определенное трудовое действие людей.

— К а к и м п у т е м н а у к а п р и х о д и т к в ы в о д у, ч т о п е р в и ч н ы м и к о р н я м и р е ч и б ы л и т р у д о в ы е к р и к и?

— Это—одно из самых удачных применений абстрактного метода и основанной на нем дедукции. Вот его сущность.

Если мы сопоставим явления речи на разных ступенях человеческой культуры и расположим их при этом в последовательный ряд, нисходящий к самому далекому доступному нам прошлому, то на всем протяжении ряда обнаружатся две тенденции:

1) Чем дальше вниз по лестнице культуры, тем больше эти явления принимают н е п о с р е д с т в е н н ы й характер: словесные выражения душевной жизни становятся все менее сложны и все более непроизвольны; они меньше и меньше основаны на обдумывании, на размышлении,

а как бы прямо вырываются из человеческой души. Они, следовательно, приближаются к „рефлексам“, т.-е. к стихийным движениям организма или, точнее, к „междометиям“ (так называются рефлексы звуковые).

2) Чем ниже развитие речи, тем больше преобладание слов, выражающих **человеческие действия**. На этом пути уже целые века тому назад индусские грамматики пришли к выводу, что слова все происходят от **глагольных** корней. Новейшая наука подтвердила это массою данных, разыскавши такие „действенные“ корни там, где с первого взгляда их всего труднее предполагать. Напр., наше слово „трава“ происходит от арийского корня „tar“—проникать; „брат“ от корня „ber“—нести („носильщик“); „дочь“ от корня, который и у нас сохранился в глаголе „доить“ („доильщица“); „птица“ от корня, имеющего значение „бросаться“ (латинское peto—стремлюсь, греческое πέτομαι—летаю), и т. д.

Теперь продолжим обе тенденции до мыслимого их конца и соединим их вместе. Вывод ясен: действенные междометия, т.-е. трудовые крики.

— **А не вернее ли производить речь, в конце-концов, от таких криков, которые мы наблюдаем и у животных и которые выражают боль, гнев, радость, страх и пр.?**

— Для этого нет научных оснований. Наблюдение показывает, что на памяти истории, т.-е. за несколько тысячелетий, подобные крики у человека („междометия чувства“: ой! ай! ох! и т. под.) заметно не изменялись. Это звуковые рефлексы **устойчивые**, и они не могли послужить основою для такой **развивающейся** идеологии, как система речи. Напротив, междометия трудовые не могли не изменяться, не развиваться, благодаря развитию трудовых актов, и с самого начала должны были оказаться менее устойчивыми.

Теперь, благодаря громадному расстоянию, отделяющему нас от начала речи, разумеется, трудно и в „корнях“ слов, успевших многократно измениться, узнать перво-

начальные трудовые междометия. Есть, впрочем, случаи, хотя редкие, где связь очень ясна. Так, немецкий глагол „hauen“—рубить—прямо напоминает о грудном звуке „ha“, вырывающемся у дровосека; русское „ухнуть“ (в песне „Эй, дубинушка, ухнем!“) от аналогичного „ухх“ бурлаков. Корень „rag“, от которого наше „разить“, „поражать“ (греч. ῥήγνυμι, ломаю) и т. п., очень близок к тому рычанию, которое в драке издает человек, наносящий изо всей силы удар врагу („враг“—от этого же корня). Французское „feu“, немецкое „Feuer“, как и латинское „flamma“ и, менее ясно, русское „пламя“, эти слова, обозначающие огонь, напоминают о том придыхательно-губном звуке, вроде „ффы“, которым сопровождается раздувание огня.—Но там, где из нескольких десятков, или и того меньше, начальных форм получились сотни тысяч новых, нельзя, разумеется, вообще ожидать, чтобы часто сохранялись явные черты первых зародышей.

c) *Происхождение понятий.*

— Из каких элементов слагается человеческое мышление?

— Из понятий, сочетающихся в „мысли“ или идеи. Не надо смешивать понятий с простыми „представлениями“. Представления, это—живые образы вещей и событий, имеющиеся в сознании не только человека, но и любого бессловесного, свободного от всякой идеологии животного. Напротив, понятия, мышление—факты идеологические, свойственные только человеку и, может быть, некоторым социальным животным; для мышления недостаточно живых образов, а необходимы их знаки или символы; такие символы суть слова.

Мышление, это—внутренняя речь, это, как заметили еще древние философы, „разговор, который душа ведет с самой собою о вещах мира“, или, как выражаются теперь, это—„речь минус звук“. Человек мыслит

словами; они проходят в его сознании, хотя и не произносятся вслух; иногда же, если человек думает очень напряженно, они и на самом деле время от времени вырываются у него: „мышление вслух“. Размышляя, человек как бы высказывает себе самому одни мысли, потом, как бы возражая, противопоставляет им другие, затем старается примирить и согласовать их, словом—воспроизводит в себе процесс обсуждения, как он выполняется *между* людьми. Драматическое искусство верно изображает это в так-называемых „монологах“, т.-е. разговорах наедине.

Таким образом, и по своему происхождению, и по форме мышление—процесс идеологический, социальный, хотя бы оно протекало в сознании отдельной личности. Можно сказать так: обсуждение есть совместное мышление, мышление—обсуждение без собеседников.

— *Почему же мы считаем, что из речи произошло мышление, а не наоборот? Почему не допустить, что речь есть мышление, к которому прибавился звук?*

— Потому, что слово не могло мыслиться раньше, чем оно было произнесено между людьми. Если бы оно создавалось в индивидуальной душе, оно не было бы словом, потому что не было бы понятно никому, кроме создавшего. Но мы уже знаем, что оно возникло не в сознании отдельного человека, а в общем труде.

— *Но правильно ли называть „словом“ то, что не произнесено?*

— Психо-физиология учит, что разница между словом произнесенным и словом мыслимым, собственно, только количественная. Когда „мыслится“ понятие, выражаемое определенным словом, тогда в нервно-мускульной системе человека происходят те же процессы, как при произнесении слова, только в *ослабленной степени*: так же идут от центров мозга двигательные возбуждения к мышцам груди, гортани, полости рта, лицевым, уча-

ствующим в произнесении слова; но тут эти возбуждения недостаточны, чтобы вызвать действие мышц, или, по крайней мере, если вызывают его, то весьма неполное, незаметное. Иногда даже можно уловить его следы; напр., у людей, усиленно думающих, нередко шевелятся губы. Непроизнесенное слово, это—одно из „двигательных представлений"; а двигательные представления вообще не что иное, как действия, протекающие в организме настолько слабо и неполно, что не обнаруживаются внешним образом.

Итак, слово и понятие по существу тождественны, если, конечно, брать слово, не огрывая его от смысла, с которым оно нераздельно в самой жизни и без которого оно вовсе не может называться словом.

Слово-понятие—первичный элемент идеологии. В дальнейшем мышление пользуется также другими знаками, напр., изображениями искусства, письменными символами, математическими фигурами и т. п. Эти знаки входят в мышление; но сами по себе, т.-е. без слов-понятий, образовать его не могут, а остаются лишь его вспомогательными средствами.

— Если мышление произошло из речи, то можно ли противополагать духовную сторону культуры материальной стороне, как нечто в корне, принципиально от нее отличающееся?

— Нет. Если речь возникла из общественного труда, а мышление из речи, то очевидно, что вся идеология, вся духовная культура произошла из технического процесса, из материальной культуры, или, другими словами, общественное сознание—из производства.

В сущности, мы уже раньше пришли к этому выводу, когда путем абстрактного исследования нашли, что было время, когда идеологии не было. Очевидно, она могла возникнуть лишь из того, что уже тогда было, т.-е. из труда.

d). *Значение первичных слов-понятий в производстве.*

— В чем заключалось практическое значение трудовых криков?

— Главным образом в том, что с их помощью вносилась стройность и ритмическая правильность в общую работу, ей придавался дружный характер, достигалась одновременность усилий и необходимый их порядок. Эта роль трудовых криков, а также впоследствии развившихся из них трудовых песен, сохранилась и теперь. Так, в нашей „Дубинушке“, когда она поется при работе, звук „ух“ объединяет всех сотрудников в общем усилии; в том же роде применяются упомянутые нами крики „гопп“, „го-гой“, и т. под. Это —простейшая организационная функция, свойственная уже самым примитивным зародышам идеологии.

— Какие изменения произошли в организационной функции трудовых криков с их развитием в слова-понятия?

— Когда они стали применяться, как слова, т.-е. отдельно от трудового акта, к которому относились, то прежде всего в качестве призыва к самому действию, вроде нынешнего повелительного наклонения. Когда же они употреблялись без такого призывного оттенка, то имели смысл сообщения, что работа выполняется или выполнена. Эти оттенки не выражались никаким изменением самого слова, как в позднейших языках, а только тоном, жестами, мимикой.

Вообще, зародышевую речь нельзя представлять на подобие нынешнего „разговора“. Общение между людьми в ту эпоху гораздо ближе подходило к какому-нибудь стадному общению животных.

II. Развитие идеологий за первобытную эпоху.

а) Неопределенность значений первичных слов-понятий.

— Можно ли в строгом смысле принять, что первичные корни означали только трудовые действия людей?

— Нет, такое представление неточно. В действительности, первичные корни далеко не обладали столь определенными значениями, как наши нынешние слова.

Предположим, что с актом копанья был связан звук, выражаемый арийским корнем „ku“; возможно, что он получался, как результат надавливанья грудью на примитивное орудие вроде заступа; этот корень имеется и в русском слове „копать“, и в латинском cavus—пустой, sculpo—долбить (отсюда „скульптура“), во французском cave—погреб, и т. д.—Понятно, что „ku“ произносили и в смысле приглашения копать, и в смысле сообщения—„там копают“; но не только в этих случаях. Если человек находил яму, или даже груду вырытой земли, ему живо представлялась работа, которою это было произведено, и у него опять так же непосредственно вырывался привычный звук „ku“. То же происходило и тогда, когда он видел орудие, обычно служившее для копанья, и когда ему встречалось животное, роющее землю, напр., крот, и даже тогда, когда он видел естественную пещеру, вырытую неизвестными ему силами. Все эти столь различные факты и вещи вызывали в нем один и тот же словесный отзвук, одинаково „обозначались“.

Первичные слова не были глаголами, а заключали в зародыше все нынешние части речи; основным значением было, правда, действие, из которого выделялось самое слово; но с ним соединялось неопределенное множество близких значений. То, что в новейших языках выражается в огромном потомстве слов, происходящих от одного корня, выражалось первоначально самим этим кор-

нем. Значение слова было неопределенно, смутно, бесформенно, каковы всегда зародыши.

— Была ли первичная неопределенность смысла слов благоприятным условием для развития идеологии, или нет?

— И да, и нет. Без сомнения, она была сама по себе проявлением слабости первобытного человека; она исключала ясность и точность в общении, во взаимном понимании людей. Даже сейчас наиболее отсталые племена, язык которых не очень далеко ушел от первобытного, должны постоянно дополнять свою речь жестами и мимикой, чтобы успешно объясняться; о бушменах, напр., южно-африканском племени, путешественники сообщали, что они даже не в состоянии как следует понимать друг друга в темноте, когда нельзя видеть лица и движений собеседника. Для племен первобытных это, конечно, было еще труднее.

Между прочим, именно поэтому ошибочны попытки некоторых ученых формулировать особые законы „первобытной логики", законы, которые позволяли бы, в нарушение того, что мы называем логикой, замещать в процессе мышления часть целым или наоборот, человека — его тотемическим животным, один предмет или явление— другим, ему родственным. Все такие „законы", очевидно, сводятся именно к смене и замене еще не дифференцированных значений слова-понятия.

Даже в языках позднейших, высоко развитых сохранились следы такой неопределенности, вплоть до обозначения противоположных понятий не только словами, идущими от одного корня, но даже иногда одним словом. Так, еще в латинском altus означает и „высокий", и „глубокий", sacer и „священный", и „проклятый". В древне-египетском кен означало и „сильный", и „слабый"; только в позднейшем значение „слабый" обособилось в измененной форме этого слова кан.—И все это естественно, ибо противоположные понятия относятся к одним и тем же активностям.

Зато именно благодаря той же начальной неопределенности, речь и мышление могли в дальнейшем развитии бесконечно расширять свою область. Их содержание не ограничилось узкой сферою трудовых действий, а охватило все, что происходит в жизни человека и природы. Самый важный шаг в этом расширении поля мысли состоял в том, чтобы словами, происшедшими из человеческого труда, обозначить явления природы. Этот шаг был сделан стихийно и незаметно, в виде так-называемой основной метафоры.

— Что такое основная метафора?

— Метафорой вообще называется употребление слов в несобственном или „переносном“ смысле (метафора, буквально,—„перенесение“, по-гречески). Напр., когда говорится, что солнце „улыбается“, заря „горит“, часы „бегут“, выражение лица „холодное“ или „каменное“, все это—метафоры. „Основной“ же метафорой филологи назвали перенесение смысла первичных слов, означавших действия людей, на действия животных и стихийных сил, происходящие в природе.

Каким образом оно совершалось, мы это сейчас видели: действия, напр., крота, роющего землю, или работа потока, прорывающего на своем пути овраги, живо напоминали примитивному сознанию труд копающих людей, и у наблюдавшего непроизвольно вырывалось слово соответственного значения. Так ребенок, увидав, как солнце заходит, восклицает „ку-ку!“—детское слово, означающее прятаться.

Язык и мышление маленьких детей и теперь сохраняют некоторые черты сходства с первобытными: непосредственность и непроизвольность высказываний, отсутствие склонения и спряжения, неопределенность значений, основная метафора. Первые детские слова означают ближайшим образом именно действия,—но, разумеется, не коллективно-трудовые, а индивидуальные, связанные с удовлетворением потребностей ребенка. Таковы „ам“ или „ньям“, обозначающие поедание пищи и вполне

соответствующие звукам, связанным с этим актом (у некоторых племен Южной Африки „ньяма“ означает мясо), „бя“ — звук при выплевывании чего-нибудь невкусного, затем выражение для всего неаппетитного, неприятного, некрасивого; так же общеизвестное „а-а“, и пр. Не представляет исключения и слово „мама“, общее детям самых различных рас: оно, повидимому, произошло просто из сосательных движений ребенка, берущего или ищущего губами грудь матери. Слово „папа“, с коренным звуком также губным, но не плавным, а отрывистым, надо полагать, того же происхождения, своего рода вариация слово „мама“; у некоторых народов они даже меняются своим значением: у грузин „мама“ — отец, у индейцев Чили „папа“—мать.

b) *Происхождение названий для вещей.*

— Для каких вещей всего раньше должны были выработаться названия?

— Для орудий труда.

— Чем это было обусловлено?

— Практической необходимостью, которую породило развитие производства орудий.

Когда орудия были элементарно-простыми, и брались прямо из природы (камень, палка), они не отделялись в мышлении людей от тех действий, для каких применялись; напр., камень мог обозначаться тем же словом, как и акт удара. Но когда орудия стали сложнее—каменные топоры, копья, лук и стрелы, и т. п.,—то производство их должно было обособиться, как особая работа в ряду других; и тогда смешение орудия с действием неизбежно должно было прекратиться. Если каменный топор делает один работник, а работает им другой, то является и практическая потребность отличать топор от его применения, и наглядная возможность разделить то и другое.

Понятно, что новые обозначения развились из прежних. Даже до сих пор у некоторых племен центр. Африки сохранились следы первоначального способа обозначения орудия через действие; напр., топор они называют „нечто—рубить“, оружие „нечто—убивать“, и т. п. Но все-таки смешения тут уже нет: нынешние дикари—не первобытные люди.

— Каким путем выработались названия для других вещей, кроме орудий?

— Раз уже мышление начало отличать определенные вещи—орудия от их действий, то и к вещам внешней природы оно должно было относиться с той же точки зрения: мы знаем, что, в силу основной метафоры, оно не делало различия между трудовыми действиями людей и стихийными действиями во внешней природе: ее предметы оно стало выделять, в качестве „орудий“, действующих независимо от руки человека; напр., солнце—орудие действия „греть“, снег—орудие действия „охлаждать“, и т. под.

С этого времени в первобытном языке и мышлении стало возможно соотношение „подлежащего“ и „сказуемого“; раньше формы выражения были вполне безличными.

c) *Первичные идеи.*

— Что подразумевается под термином „идея“?

— Устойчивое сочетание понятий. Напр., предложение „солнце греет“ заключает в себе два взаимно связанных понятия: о вещи—„солнце“, и о действии—„греть“.—Часто „идея“ употребляется в том же смысле, как „понятие“; но мы для точности будем обозначать словом „идея“ только более сложную форму, чем простое понятие, только соединение понятий.

— Что представляли первичные идеи?

— Технические правила. Если работа слагается из нескольких трудовых актов, идущих один за

другим в определенной последовательности, то идеологическое указание на эту работу (в смысле приглашения к ней или сообщения о ней), естественно, воплощалось в ряд слов-понятий, соответствующих этим трудовым актам и воспроизводимых в такой же точно последовательности. Напр., если взрослый объяснял ребенку его хозяйственные функции, он делал это так: указывал ему какое-нибудь, положим, съедобное растение, называл, если уже выработалось название, и прибавлял: „найти, сорвать, принести, изломать, размельчить, есть"; и ребенок запоминал это для руководства в будущем. — Чем дальше развивалась техника, а за ней—речь, тем точнее, подробнее, сложнее делались „технические идеи".

— **Как возникли идеи, относящиеся к описанию природы?**

— Путем основной метафоры. Они образовывались совершенно по такому же типу, как технические правила, но воспроизводили последовательность не действий человека, а наблюдаемых им действий во внешней среде. Так, описание, положим, пещерного медведя сводилось к обозначению его самого (по какому-нибудь особенно типичному для него действию) и различных актов, им совершаемых и почему-либо интересующих человека. Подобным же образом описывались явления небесные, атмосферные: „светает, разгорается заря, восходит солнце, согревает", и т. д.

Чистых „описаний природы", как мы их понимаем, первобытному мышлению приписать нельзя. Жизнь была слишком сурова, борьба за существование слишком тяжела, чтобы дать место бескорыстному, эстетическому созерцанию. Словами выражались и в связь примитивных идей входили только те стихийные явления, которые непосредственно, практически затрагивали людей. Идеи „описательные", таким образом, по существу не отличались от „технических"; и часто в одной „идее" связывались действия человеческие со стихийными, как те и другие на деле комбинировались в жизни. Напр., правило до-

бывания огня можно представить в таком виде: „тереть куски дерева; задымится; подложить листьев, раздувать; загорится; подкладывать ветвей“, и т. под. Сколько-нибудь точно воспроизвести вид подобных идей наш современный язык не может, потому что наши глаголы не строго соответствуют неизменяемым первобытным корням с их еще значительной неопределенностью смысла.

— Какой вывод о происхождении познания можно сделать из нашей характеристики первобытных идей?

— Тот вывод, что познание произошло из практики, и на первых ступенях своего развития почти еще от нее не отделялось. Знание было либо просто техническим умением, либо технически-необходимым предвидением обычных воздействий природы на человека. Столь привычное для нас противопоставление познания и практики было совершенно невозможно.

d) Зародыши искусства.

— Какие искусства следует считать наиболее древними?

— Танцы и музыку. Они наблюдаются даже у самых отсталых племен,—и притом в их жизни играют относительно более крупную роль, занимают большее место, чем в жизни многих выше стоящих племен. Очень вероятно, что танцы и музыка существовали даже в „зоологическом“ периоде жизни человечества, когда оно еще не выделилось среди животного царства; по крайней мере, их инстинктивные зародыши наблюдаются и у многих высших животных.

Надо, впрочем, заметить, что если бы элементы танцев и музыки оказались даже древнее элементов речи, все равно, началом идеологии признавать эти искусства было бы неправильно, потому что не из них развилась идеологическая жизнь в ее целом, мир общественного сознания.

— Откуда произошли танцы?

— Из непроизвольных изобразительных жестов. Когда человек вспоминал какой-нибудь важный эпизод своей жизни, то этот эпизод представлялся ему, разумеется, как ряд действий, его собственных прежде всего, и затем иных, направленных на него извне. При большой яркости двигательные представления об этих действиях часто переходили в настоящие движения, и воспоминание превращалось в сокращенное, ослабленное подражание тому, что было. Когда же в таком „изобразительном воспоминании" принимали участие несколько человек, вместе переживших самое событие (напр., битву, охоту), то, стараясь согласовать свои движения, они вносили в них ритмическую правильность; так получался примитивный танец.

И в настоящее время танцы отсталых племен вполне ясно обнаруживают тот же характер; напр., военные танцы индейских и негрских племен воспроизводят, лишь в упрощенном и украшенном — в „идеализированном" — виде, картины войны. Свадебные танцы у всех народов изображают в разной мере идеализированные сцены ухаживания, и т. под.

— Откуда произошла музыка?

— Ее древнейшим видом была песня,—но не в том смысле, как она понимается теперь, т.-е. не как соединение слов с музыкой в ритмическое целое, а песня стихийная, элементарно-простая, как пение птиц, не выражавшая мыслей, а только чувства, настроения. Это были звуки, в которых непосредственно выливались разные возбуждения: брачный экстаз, радость победы или успешной охоты, тоска о потерянных родичах, и т. д.

Но совместный труд людей создавал и песню работы из тех же звуков, которые дали затем начало словам. Стремление согласовать усилия сотрудников порождало правильность ритма в трудовых криках, и таким образом превращало их в примитивную песню.

Там же лежит, повидимому, и начало собственно музыки. Кроме ритма криков, при дружной работе есть параллельная ему правильность звуков, производимых самою работою, напр., ударов топорами в плотничном деле. В иных случаях для достижения одновременности усилий кто-нибудь отбивал такт работы по обрубку дерева, который являлся, следовательно, прообразом и зародышем барабана, любимого инструмента наиболее диких племен. Впоследствии обрубок дерева заменила обтянутая кожей ступка для толчения зерна; это и был уже настоящий барабан. — Простейший элемент музыки — ее мера—возник из условий коллективного труда.

— Имели ли танцы и музыка практическое значение в жизни первобытных людей?

— Без сомнения, да. Иначе они были бы только лишней и вредной растратой энергии; а между тем ее тогда едва хватало людям на поддержание жизни, так что затраты бесплодные не могли бы удержаться. Во всяком общем деле для успешности чрезвычайно важно единство настроения участников и соответствие этого настроения с самым делом. Для этого именно служили с самого начала танцы и музыка.

Они и теперь играют эту роль в жизни племен, стоящих еще на ступени родового или мало развитого феодального быта. Перед выступлением на войну, на большую охоту, перед племенным собранием для обсуждения важных общественных дел, перед всяким крупным общественным предприятием они выступают на сцену, причем выполняются в древних, веками выработанных формах. Характер их определяется в каждом случае практической задачей, т.-е. настроением, которое требуется создать: перед походом—военные танцы с бурной боевой музыкой; перед обсуждениями— „танцы совета", серьезные, плавные, торжественные, и такая же музыка, и т. д. Это—своеобразная, полезная подготовка, предварительная организация действующих сил для намеченной работы.

На более высоких ступенях культуры значение танцев и музыки уменьшается, благодаря преобладанию других идеологических форм, а также затемняется, становится менее наглядным. Обыкновенно их считают просто забавой, „средством развлечения". Но по существу, их организационная функция сохраняется: они способствуют сближению людей путем порождаемой ими общности настроения. Этим и сейчас полусознательно пользуются в самых различных кругах общества для подготовки семейной связи между молодыми людьми брачного возраста (хороводы, вечеринки, балы и пр.). А военная музыка и трудовая песня в полной мере сохранили свой прежний характер и значение.

— Откуда возникли первые зародыши живописи, скульптуры?

— Частью, вероятно, на основе тех же изобразительных движений, частью,—на основе самой техники производства. Желая дать другому человеку понятие о каком-нибудь предмете, дикарь, ребенок, даже вообще человек с живыми жестами, часто невольно и непосредственно своими движениями воспроизводят очертание этого предмета. Отсюда недалеко до изображения предмета, напр., пальцем на песке, что уже можно назвать началом живописи.—С другой стороны, в работе, напр., над производством орудий, утвари, примитивной мебели, иногда должны были получаться, хотя бы вполне случайно, фигуры, напоминавшие работнику тот или другой знакомый предмет; это вызывало его интерес, затем стремление усилить замеченное сходство; и на этом пути человек шаг за шагом доходил до планомерного воспроизведения внешности разных предметов.

— Какое практическое значение имели зародыши этих искусств?

— Во-первых, это было средством познания практически-важных вещей. Напр., у охотничьих племен главным содержанием живописи были изображения животных и сцен охоты; ребенка, еще незнакомого со всем

этим, они вводили в обстановку и методы его будущего труда. Понятие о внешности пещерного медведя, пещерного льва, мамонта давалось наглядно рисунками на стенах жилища, на посуде, на рукоятках орудий и пр.; словесный способ описания был еще слишком несовершенен, да и вообще недостаточен для этого. Во-вторых, эти изображения, находясь перед глазами детей и взрослых, постоянно и незаметно поддерживали *единство настроения*, столь важное для всякой общей работы в дальнейшем.—Словом, искусство и здесь служило для подготовительной, предварительной организации трудовых сил группы, коллектива.

— *Откуда произошла поэзия?*

— У нее происхождение общее с речью и мышлением. Не только в первобытную эпоху, но и на гораздо более поздних ступенях развития, по крайней мере, до феодальной эпохи, она не выделялась, как особое искусство, и не отграничивалась от познания вообще.

Первобытная речь со своей неопределенностью значения слов, со своей основной метафорой, постоянно переносящей понятия о человеческих действиях на явления природы, уже заключала в себе стихийное начало поэзии. Всякий рассказ, всякое описание, переходя из уст в уста, сами собой превращались в „миф“ или в „легенду“, потому что смысл их не мог точно восприниматься: только сам автор, т.-е. человек переживший то, что рассказывается или описывается, мог, с помощью пояснительных жестов мимики, указания на самые предметы, о которых идет речь, достигнуть точного понимания другими того, что он сообщал,—и то не всегда.

Поэтому очень немногое и сохранялось в передаче от поколения к поколению: во-1), практические правила, которые постоянно пояснялись на деле в самой жизни; во-2), рассказы и описания, относившиеся к наиболее часто повторяющимся, наиболее обычным событиям. Если же и сохранялась память о событиях исключительных,

то в глубоко измененном и затемненном виде, в виде мифа вполне „поэтического“, по нашим понятиям.

Благодаря основной метафоре, даже описания самых обыденных явлений природы имели в первобытном языке два смысла. Напр., гроза, буря описывались выражениями, соответствующими боевым действиям людей, так что получалось вместе с тем повествование о битве между враждебными группами или племенами; зимнее ослабление действия солнца описывалось словами, означавшими болезнь, упадок, смерть человека, и т. под. Это двойное значение свойственно массе мифов, даже не первобытного, а более позднего происхождения. Но оно двойное только для нас, привыкших отделять и различать стихийное от человеческого, логически разграничивать разные вещи и факты. Для первобытного мышления это вовсе не было так, и гроза была действительно битвою, зима—болезнью и смертью человека-солнца, или его пленом у врагов, и т. д. Это не была „поэзия“, а само первобытное познание; иным оно тогда и не могло быть. И в этой своей наивной форме оно давало необходимые для жизненной борьбы практические директивы. Не важно, что астрономический цикл солнца описывался, как цикл приключений человека-героя: последовательность смены явлений изображалась верно, и коллектив мог руководиться ею в своих расчетах, пока не выработал более совершенных способов описания.

Яркая иллюстрация—миф о вампирах. Трупы представляют много возможностей вреда для живых людей: отравляющая дыхание порча воздуха, иногда зараза и пр. Примитивный язык не мог выразить этого иначе, как образно: „мертвецы душат, ранят, убивают“. Это—практическая директива, чтобы удалять их, закапывать и т. п., что на деле необходимо. Миф был нужен и разумен, был объективен, пока более точное знание не сделало его пережитком.

Нам трудно представить себе это, потому что наше мышление совсем другое, воспитанное в радикально изме-

нившихся условиях. Но так было; к этому приводит абстрактно-научное исследование. У нас есть сотни тысяч слов для выражения того, что мы видим или чувствуем. А тогда их имелось несколько десятков, и те едва отделялись от коллективно-трудовых действий, из которых они произошли.

е) Первобытное мировоззрение.

— Что называется мировоззрением?

— Мышление о мире, приведенное в порядок, в систему идей. Мировоззрение может быть общественное, классовое, групповое, индивидуальное.

— Имелось ли мировоззрение у первобытного общества?

— В точном смысле слова,—нет. Там не было систематизации идей; они не связывались между собою в отдельный порядок, в особое идеологическое целое. Они оставались отрывочными и разрозненными: они не группировались между собою, а связывались только с теми трудовыми процессами, с теми фактами жизни, к которым прямо относились.

— В каком же смысле мы будем говорить о мировоззрении первобытной эпохи?

— Мы дадим характеристику основных, общих черт первобытного мышления,—как бы сделаем его систематизацию за неспособных к ней людей той эпохи.

— Какие же основные черты дает нам эта систематизация?

— Первобытный динамизм и первобытный коллективизм.

— Что такое первобытный динамизм?

— Его называют также „первобытной диалектикой“; он состоит в том, что природа представлялась тогда мышлению всецело как мир действий, а не как мир устойчивых „вещей“. Даже когда возникли названия вещей, то понятие о них вначале было „динамическое“

или действенное: вещи понимались, как орудия действий или их центры, исходные пункты. Понятия о вещах, как о пассивных, инертных сущностях, тогда еще не было.

— Что такое первобытный коллективизм мышления?

— Он заключается в том, что человек мысленно не выделяет себя из той родовой группы, к которой принадлежит, не рассматривает себя в ней, как особый центр действий, интересов, стремлений, сливается с ней, как орган с телом, вообще—мыслит свою группу там, где современный нам человек мыслит „себя“.

И здесь—огромная трудность для современного сознания, воспитанного веками индивидуалистической культуры, поставить себя на такую точку зрения. О ней дают некоторое понятие моменты самозабвения личности в массовой жизни: когда солдат, в боевом энтузиазме, перестает видеть себя со своим личным интересом самосохранения, а видит только общее дело, общую задачу, и себя на ряду с другими, как ее орудие; когда современный работник в порыве классовой солидарности принимает вместе с товарищами решение, которое заведомо обрекает его на голод, страдания и опасности, заведомо лично невыгодно для него,—при чем в его сознании „мы“ вытесняет „я“,—и другие подобные случаи, сравнительно еще не частые в нынешнем обществе.

Первобытный коллективизм был стихийным, как само тогдашнее мышление. Тяжелая, изнуряющая борьба за существование спаивала родовую группу в тесное целое; зародыши идеологии вносили только больше организованности в эту связь. Само мышление было вполне „сплошным“, до тожества одинаковым у всех членов одной группы.

— Было ли первобытное мировоззрение прогрессивным или консервативным?

— Оно было консервативно в высшей степени, потому что такова была трудовая жизнь, из которой оно выросло. Для развития жизни всегда необходим избыток энергии, а его не было.

Идеология была даже, тогда, как и в дальнейших фазах, консервативнее самой жизни. Напр., трудовой процесс изменялся, технически совершенствовался, а обозначения трудовых актов оставались еще прежние; если они изменялись, то позже с большой медленностью и постепенностью. Это и не может быть иначе по закону социальной причинности: причины развития, его исходный пункт, его движущие силы лежат в технической области; идеология приспособляется к происходящим преобразованиям трудовой жизни; а для этого требуется время.

Но при всем своем консерватизме идеология была благоприятным и необходимым условием для прогресса. Она сохраняла и накопляла трудовой опыт прошлого; и он не пропадал для дальнейшего развития, а образовывал его материал, все более богатый. Первоначальная узость жизни была основой ее застойности; эта узость шаг за шагом преодолевалась прогрессом труда, и приобретенное расширение закреплялось ростом идеологии.

Период авторитарных идеологий.

1. Эпоха патриархального быта.

а) Техническая и экономическая характеристика эпохи.

— Какие изменения в технике отличают патриархальную эпоху от первобытно-родовой?

— Основное из них было то, что появились отрасли производства, обеспечивающие существование людей: земледелие, хотя еще примитивное, кочевое скотоводство. Первобытная охота не могла давать такой обеспеченности; там поддержание жизни зависело в наибольшей мере от стихийной случайности, которая была вне власти людей.

С новыми отраслями, с обеспеченностью жизни возник прибавочный труд, т.-е. избыток трудовой энергии общины сверх того, что ей было абсолютно необходимо для своего сохранения. Этот избыток воплощался в более или менее постоянных запасах, т.-е в „прибавочном продукте“ общины.

Разумеется, количество прибавочного труда было еще очень невелико; но он существовал и представлял устойчивый базис для прогресса жизни.

Помимо появления новых, столь важных отраслей производства, продолжали расти и усложняться старые; совершенствовались орудия; если они еще были каменными, то уже не из грубо-обколотого, а из полирован-

ного камня. А затем совершался переход и к металлу— медь, бронза, метеорное железо. Самое производство орудий требовало уже особого уменья и начинало „дифференцироваться“, дробиться на специальные работы.

— Какие изменения произошли в экономике общины?

— Значительное расширение рамок сотрудничества: величина родовой общины измерялась, обычно, уже не десятками, а сотнями человек. Затем, зарождение специализации: в огромном общинном хозяйстве уже не только разным работникам приходилось выполнять разные трудовые процессы, но не каждый и умел выполнять всякую необходимую для общины работу, не каждый мог заменять по мере надобности другого, как было в первобытной группе.

Наконец, особенно важное для идеологического развития преобразование состояло в том, что обособился организаторский труд от исполнительского, возникло авторитарное сотрудничество.

В первобытной группе не было постоянного распорядителя, и она могла обходиться без него, благодаря малым размерам своего производства, простоте его приемов и величайшей однородности опыта всех членов группы: каждый умел и знал все то, что умели и знали другие. Всех этих условий уже нет в разросшейся общине патриархальной эпохи; для нее организатор, руководитель производства необходим. Таковым был человек наибольшего опыта, старейший член общины, — ее „патриарх“.

Он распределял труд, указывая каждому родичу, что тот должен делать,—распределял также продукт, распоряжался общинными запасами, направлял воспитание молодежи, разрешал все недоумения, недоразумения, конфликты. Он был „авторитетом“ для общины: его слушались, его опыту неограниченно доверяли. Это было началом власти-подчинения,—но не в грубом смысле господства и вынужденной покорности, а в смысле определенного

типа *сотрудничества*. Патриарх был руководителем-работником общины, как другие родичи—ее работниками-исполнителями. Эксплоатации не было. Если патриарх и мало занимался физическим трудом, а затем вполне освободился от него, если он жил за счет прибавочного продукта общины, и его потребности развивались шире, чем у других, то его работа представляла также наибольшую затрату энергии. Труд умственный, организаторский вообще сложнее физического и тяжелее его, если брать тот и другой при средней напряженности. А при неразвитом, инертном мышлении той эпохи это соотношение выступало еще гораздо резче, чем теперь. Путешественники, описывающие жизнь племен, остановившихся на ступени патриархального быта, единогласно свидетельствуют, что для дикаря нет более изнурительного усилия, чем размышление, расчет, обдумывание не испытанной еще комбинации: он предпочтет очень большую, но привычную затрату физической силы, чтобы только избегнуть этого. И в распорядительской работе патриарха главную долю охватывало тоже не самостоятельное размышление и решение, а следование „обычаю", традициям, унаследованным от предков.

Но если власть патриарха не была эксплоататорской и принудительной, то она являлась, тем не менее, в пределах его функций вполне непреложной. Трудовая близость и родовая связь придавали ей характер своеобразного демократизма: в важных случаях, затрагивавших жизненные интересы всей общины, патриарх сам созывал ее общее собрание, и все взрослые мужчины принимали участие в обсуждении, в решении. Но там, где патриарх распоряжался, по соображениям ли своей опытности, как во всех обыденных делах, или выполняя общее решение, — никому и в голову не приходило ослушаться его: повиновение было инстинктивным, автоматическим. Это была привычка, созданная тысячелетиями; она надежно поддерживалась малой способностью и неохотой к размышлению.

— Ограничивались ли экономические изменения областью внутренней организации родовой группы?

— Нет. Тогда же начали развиваться между-общинные отношения сотрудничества. Полная обособленность и замкнутость первобытных групп не могла удержаться. Благодаря возросшей производительности труда, население стало гуще, соседские встречи и столкновения между общинами чаще. Сводиться всегда к одной войне и взаимоистреблению они уже не могли. На основе не забытого еще родства там, где оно существовало, образовывались племенные союзы общин для военной защиты и для крупной охоты, как это можно видеть на примере краснокожих Америки. Зарождались меновые отношения между общинами и, благодаря наличности запасов, мало-по-малу теряли свой, вначале только случайный, характер, хотя вообще не играли значительной роли в экономике эпохи. Складывались обычаи гостеприимства, выражавшие рост общения людей.

b) *Развитие речи.*

— Могли ли первобытные формы речи быть достаточными в условиях патриархального быта?

— Нет. Во-1), техника и экономика труда требовали большого увеличения количества слов: необходимы были особые обозначения для всего множества различных трудовых актов усложнившегося технического процесса, для его орудий и материалов, гораздо более разнообразных, чем прежде. Во-2), не могла удерживаться прежняя неопределенность значений: когда организатор словесно распоряжается многочисленными работами, большая часть которых выполняется даже не на его глазах, то его указания каждому исполнителю должны быть точны и определенны; так же точны и определенны должны быть сообщения, которые он получает относительно хода работ,

относительно фактов, требующих его вмешательства и пр.; для этого необходимо, чтобы значения слов прочно установились. В 3), так как организационные указания и сообщения развивались ко все большей сложности, чаще и чаще касались разных подробностей, важных при разделении работы, когда мелкое несоответствие между действиями работников может испортить многое, то должны были развиться способы выражения оттенков и соотношений. Отсюда — развитие комбинаций слов и из них, в дальнейшем, — изменяемости слов (начало того, что мы называем склонениями, спряжениями, и пр.).

— Значит ли это, что языки в ту эпоху приняли характер современных нам форм речи?

— Нет, до этого все же было далеко. И по количеству слов, и по гибкости их сочетаний, языки той эпохи так же далеки от современных, как само производство патриархальной общины от нынешнего. Вместо прежних десятков слов появились сотни, тысячи, но не сотни тысяч, как теперь; выработались некоторые простейшие комбинации, зародыши склонений, спряжений, но не более, как зародыши. Главное же то, что язык тогда был чужд отвлеченности: его слова обозначали живые факты, конкретные вещи, доступные труду или прямо на него влияющие, а не абстрактные понятия. Для отвлеченностей, для абстракций еще не было места; все было просто и прозрачно в жизни общины, отношения людей к вещам и отношения между самими людьми-сотрудниками.

c) Развитие мышления.

— Могла ли при патриархальном быте удержаться первобытная отрывочность и бессистемность мышления?

— Она основывалась, как мы видели, на том, что понятия, идеи гораздо теснее связывались для первобытного сознания с трудовыми действиями, к которым они относились, чем между собою. Но в патриархальной организации эта непосредственная связь идеи с действием была разорвана самой жизнью: мысль организатора осуществлялась действием исполнителя. Умственное усилие на деле разъединилось с физическим, нашло себе особое воплощение в личности руководителя общины, и таким образом получило самостоятельность. Тогда, естественно, мысли начали теснее связываться между собою, в области идей стала вырабатываться отдельная организация, они шаг за шагом систематизировались.

Иначе и быть не могло: сама экономическая необходимость требовала этого. Организатору, хранителю опыта общины, приходилось собирать в своей памяти и применять все возраставшую массу практически-необходимых идей: правил техники, описаний фактов, имеющих значение для труда; удерживать все их в разрозненном, несвязном виде было бы просто невозможно: не хватало бы даже самых лучших способностей. Систематизация экономизирует силу мышления, позволяет и обыкновенной памяти удерживать очень много материала. Стоит лишь сравнить, во сколько раз надо меньше труда, чтобы запомнить сто фактов, образующих связный рассказ, чем для того, чтобы заучить сто других фактов, беспорядочно смешанных, не имеющих отношения между собою. Без систематизации мыслей, т.-е. накопленного трудового опыта, нельзя было бы, следовательно, руководить успешно и планомерно дальнейшим производством. Она была экономической потребностью, все более настоятельной по мере расширения, усложнения труда-опыта, и шаг за шагом должна была развиваться.

В изучаемую нами эпоху впервые складывалось то, что можно называть уже мировоззрением.

— Каким путем шла идеологическая систематизация?

— Путем, разумеется, обобщения прежде всего. Бессознательное обобщение свойственно и первобытному мышлению: ведь, когда сходные действия, события, вещи, обозначают одним и тем же словом, это есть их обобщение по сходству. Но при первичной неопределенности значения слов, когда, напр., одинаково обозначались трудовые действия, их орудия, их материалы, их продукты, стихийные действия, их напоминавшие и пр., такое „обобщение" было в то же время смешением, и не вело к сколько-нибудь точной систематизации. В эпоху патриархального строя жизни, как мы знаем, эта неопределенность исчезала, уступая место более строгому разграничению смысла слов. Тогда и процесс обобщения, хотя попрежнему бессознательный, не методический, стал приобретать все больше практической точности, а с нею— характер систематизации, как мы ее понимаем.

d) Авторитарная причинность.

— Как представлялась постоянная связь фактов для первобытного мышления?

— Только как простая последовательность действий, но не как причинная их связь. Всякое техническое правило усваивалось, как определенная последовательность трудовых актов, напр., сломать сухие ветки, тереть их одна о другую, раздувать искру, и т. д. В идеях, относившихся к описанию природы, выражалось часто такое же устойчивое соотношение стихийных событий, следующих одно за другим: солнце заходит, темнеет, становится тихо, хищники выходят на добычу,— и т. под. Ни в том, ни в другом случае не имелось противопоставления предыдущего действия, как причины, последующему, как ее необходимому результату; принималось, что так делается, так происходит, и только. Вопроса „почему?" не возникало в примитивном сознании.

— Почему вопроса о причине явления не могло возникнуть на первых ступенях идеологии?

— Потому что вопрос этот сам по себе означает уже определенное понимание мирового устройства, мысль о такой организации мира, что все его явления связаны общей закономерностью и одни из них влекут за собою другие. Но в первобытную эпоху не было никакого мировоззрения, никакой, следовательно, общей идеи об устройстве мира.

— Откуда же в патриархальную эпоху взялась идея причинности?

— Как идея о мировой организации, она, естественно, была взята из той единственной организации, которая была людям знакома прямо в их жизни,—из организации самой патриархальной общины. Иначе и быть не могло: люди не творят из ничего в мышлении, как и в практике.—Не случайно и самое слово „мир" в русском языке значит, собственно, „община" (в деревне оно и теперь употребляется в смысле крестьянского схода).

Патриархальная община была построена на авторитарном сотрудничестве, разделении организаторской функции патриарха и исполнительской—его родичей. Авторитарное сотрудничество и дало впервые идею причинной связи.

— Каким способом из авторитарного сотрудничества получилась идея причинной связи?

— В нем имеется постоянная последовательность фактов, а именно такая, что за действием организатора,—его распоряжением,—следует соответственно трудовое действие исполнителя. Но это не только последовательность действий; это их связь организационная, необходимая. Каждый член общины не может не сознавать, что распоряжение организатора вызывает или „причиняет" действие исполнителя, а

отнюдь не только предшествует ему. Такова авторитарная причинность в ее первоначальном виде, как трудовое отношение. В ней есть и противопоставление причины со следствием: первая — действие одного человека, второе—другого; в ней имеется и сознание закономерности: распоряжение должно влечь за собою выполнение; это — жизненная, реальная необходимость, какая только и доступна неразвитому мышлению.

— Если идея авторитарной причинности получилась из сотрудничества, то не должна ли она была и применяться исключительно к этому сотрудничеству? Откуда взялась причинная связь в ее всеобщем виде?

— Авторитарная причинность не осталась в одной только области человеческих трудовых отношений, а распространилась на всевозможные явления, — благодаря основной метафоре.

Мы знаем, что первоначально человек мыслил стихийные действия в природе теми же самыми понятиями, что и трудовые акты людей. Естественно, что связь действий здесь и там мыслилась тоже одинаково; иначе человеку надо было бы специально для этого случая придумать коренную разницу между теми и другими, на что он был, разумеется, неспособен. Если действие организатора,—произнесение им слова, его жест, его личный пример, — причинным образом вызывает действие исполнителя, то совершенно так же одно стихийное действие может вызывать другое: медвежата ушли в берлогу, потому что медведь приказал им уйти; звезды исчезли на небе, потому что взошедшее солнце велело им скрыться; волны пошли по морю, подчиняясь власти бури, и т. д.

Язык сохранил ясное указание на это происхождение причинной связи в самых словах, которыми она выражается: у нас говорится, что причина „вызывает" следствие—очевидно так, как некто, имеющий власть, „вызывает" подчиненного, и тот необходимо является; во

французском языке аналогично употребляется одинаковое по смыслу слово „provoquer“, в немецком может так же применяться „hervorrufen“. Другие обозначения не столь прозрачны, но все же происходят от корней, относящихся к понятию словесного общения; напр., греческое αἰτία—причина происходит от αἰτεῖν—требовать, просить; латинское causa связано с causari—спорить, перешедшим во французский язык в виде causer—разговаривать, но также и причинять. В том же роде русское „условие“, и т. п.

В народной поэзии, сохранившей древние способы мышления, можно найти прямое выражение стихийной причинности в виде приказания. Вот пример из эстонского эпоса „Калеви-Поэг (из подстрочного русского перевода):

„Дуновение ветра... приказало березе шелестеть,
Листьям осины робко дрожать, как в когтях вора...
Тоны воздуха, нежные голоса
Заставили овода жужжать, мошку—шуметь...“

В одной древне-египетской надписи (из Эль-Каба) говорится: „Солнце пылало... солнце приказало колосьям расти правильно“.

Приказание чаще всего отдается посредством слова (хотя не всегда: иногда и посредством движения руки, глаз и т. под.). Поэтому в древнейших мировоззрениях именно слово выступает как основной тип причины. Во многих мифологиях слово, а именно творческое повеление, представляется причиною всех вещей и самого возникновения мира.

О том же говорят и распространенные повсюду у варварских и даже полу-культурных народов идеи „магизма“. Это—вера в силу заклинаний, убеждение, что „слова“ имеют власть над вещами и их действиями. Принимается, что все можно заставить служить себе—природу, людей, даже богов,—если только знать надлежащие слова и способ их употребления. Повсеместность этого суеверия и огромная прочность, с которой оно укоренилось у всех

народов, непреложно доказывают, что оно не случайно, что оно имеет глубокую историческую основу. И очевидно, какая эта основа: люди первоначально привыкли, в сфере производства, видеть слова причиною действий; бессознательно и наивно их мышление перенесло эту связь на всю природу.

— Пришло ли мышление патриархальных времен к той непрерывной цепи причин-следствий, какая существует в нынешнем понимании мирового процесса?

— Нет, идея непрерывной, т.-е. бесконечной цепи причин-следствий тогда еще не зарождалась. Для нее не было опоры в самом происхождении авторитарной причинности. Без сомнения, и в общинной организации можно было наблюдать кое-какие цепи авторитарных причин-следствий. Напр., патриарх мог сделать своим ближайшим помощникам — старейшим после него членам общины — распоряжение, положим, заготовить запас таких-то ягод, кореньев, грибов, и т. п. Эти помощники могли, с своей стороны, передать распоряжение всем взрослым мужчинам; те, в свою очередь, приказать своим женам, чтобы они позаботились о выполнении дела; а жены, опять-таки, возложить работу на своих детей: ряд приказаний-исполнений, т.-е. причин-следствий. Но этот ряд непременно ограничен: он имеет свою „первую причину", дальше который не идет. В данном случае она заключается в воле патриарха, которому уже никто не давал приказания, и который является причинным звеном всей цепи всецело сам по себе.

В других случаях путь к первому звену еще короче. При нашем нынешнем, новом понимании связи явлений мы можем, конечно, дальше искать причину действий патриарха, причину той причины, и т. д. Но при понимании авторитарном, там, где нельзя найти или предположить повелевающей власти, там нет больше и причины. Если даже, как это бывает в дальнейшем, когда сложилось религиозное мировоззрение, признается, что действиями

патриарха руководит само божество, то мы имеем еще небольшое удлинение цепи, но начало у нее попрежнему есть: воли божества никакая дальнейшая причина не определяет.

Та же привычка мышления переносилась, благодаря основной метафоре, и на явления внешней природы: люди не искали без конца причин за причинами; их сознание легко успокаивалось на каком-нибудь звене, для которого оно не замечало дальнейшей причины. Напр., пусть волнением моря во время бури обрушена скала. В падении скалы обнаружилась власть над нею моря; море же, в свою очередь, волновалось, подчиняясь буре. Но дальше объяснения может и не требоваться; допускается просто, что „ветер дует, где хочет и когда хочет". Однако, может случиться, что люди уже уловили связь бурь с известным положением солнца (т.-е., по-нашему, с временем года); дело шло, положим, об одной из равноденственных бурь, которые обычны во многих странах. В таком случае прибавится еще одна связь: солнце повелело буре взволновать море. А солнце будет рассматриваться как вполне независимое авторитарное существо, которое само по себе распоряжается подчиненными ему силами.

Вообще, цепь авторитарной причинности может удлиняться, но всегда остается ограниченной, замкнутой.

— Не следует ли рассматривать авторитарное понимание причинной связи как заблуждение, и не было ли оно, как заблуждение, вредно для жизни?

— Для нас, людей иной ступени развития, оно, действительно, заблуждение; если бы мы его разделяли, оно было бы, разумеется, и вредным. Но совсем иначе обстоит дело с точки зрения той эпохи. Идея причинности и в самом несовершенном виде приучала людей находить в явлениях необходимую связь, объединять их в организованный порядок. Это было полезно и нужно для развития общественного сознания —

Иной же идеи причинности быть не могло. Она приспособлялась к тогдашнему типу жизни, а он был авторитарный; она должна была организовать тогдашнее сотрудничество, а оно было авторитарным. В области трудовой организации эта идея была верна во всяком смысле: действия руководителей на самом деле вызывали соответственые действия исполнителей,—так и следовало это мыслить.

Без сомнения, для других областей этот способ мышления был искажением действительности: ветер не приказывает деревьям качаться, солнце звездам — скрыться, и т. п. Но практическая связь фактов выражалась достаточно правильно: ощущая порыв ветра, человек законно ожидал, что деревья закачаются, и не бывал обманут в ожиданиях. Мыслить эту связь авторитарно было для него всего проще и удобнее; взять иное представление было и не откуда, и в случае даже его возможности было бы бесполезно: это ничего не прибавляло бы к наличному знанию связи фактов, потому что все равно не были известны способы действия вещей одних на другие; это являлось бы только ненужным усложнением мыслей, увеличением работы мозга. Лучше было пользоваться привычным шаблоном, уже выработанным самой жизнью. Человек тех времен был объективно прав, мысля по-авторитарному, как бываем правы и мы, переходя временно к устарелым, но для данных частных случаев достаточным понятиям. Напр., определяя на глаз время по солнцу, мы представляем себе солнце поднимающимся и опускающимся по небесному своду, что соответствует примитивной астрономии, но неверно с точки зрения нынешней: было бы лишним и бесплодным утомлением мыслить здесь этот факт в гораздо более сложных понятиях вращения земли вокруг оси, относительности движения, и проч. — А главное, и выбирать тогда было не из чего. Авторитарная причинность была общественно-необходимой формою сознания, следовательно, формою, объективной.

е) Анимизм.

— Существовало ли понятие о душе в первобытной идеологии?

— Нет, не существовало. Это можно сказать с уверенностью потому, что на самых низких ступенях развития, какие нам известны, оно выражено чрезвычайно слабо и неясно; и есть еще теперь, или, по крайней мере, еще недавно были, по описаниям путешественников, племена, лишенные всякого представления о душе, не имеющие на своем языке слов, которые бы ему соответствовали. Таковы некоторые племена островитян, некоторые из бушменских племен Южной Африки и др.

— Когда же возникло понятие о душе, и откуда?

— Оно возникло в патриархальную эпоху на основе уже развившейся авторитарной причинности. Оно было результатом ее расширенного применения.

— Каким именно способом оно получилось?

— Когда авторитарная причинность уже стала привычной, постоянной формой мышления, тогда во многих случаях стала являться потребность отыскивать причинные связи. Конечно, цепь причинности оставалась всегда ограниченной, и мысль очень часто удовлетворялась малым числом ее звеньев; но все же это—цепь, и не может состоять из одного звена; надо по меньшей мере два; если же их нет, то нет и никакой „связи“; тогда потребность сознания в определенной связи фактов не удовлетворена, и оно начинает неизбежно к одному наличному факту искать другого звена—его причины.

Как должен был человек, с этой точки зрения, смотреть на свои собственные действия, или на действия другого человека? Многие и наиболее важные его действия,—трудовые акты,—„причиняются“, если он рядовой член общины, распоряжениями организатора; но все же

многие, а не все. В целой массе случаев он действует по собственной инициативе: и тогда, когда удовлетворяет личные потребности, и тогда, когда забавляется или развлекается, и, наконец, даже и в трудовом процессе, во многих его мелочах и частностях, которыми организатор не может руководить. Затем, сам организатор поступает самостоятельно. Между тем он не меньше других привык видеть свои действия вызванными властной волею, потому что лишь на старости лет стал во главе общины и всю предыдущую жизнь подчинялся, как другие. Где же авторитарная причина всех этих „произвольных", как мы сказали, действий? Кто их определяет своей организаторской властью? Раз только вопрос возник, ответ неизбежен один: сам человек.

Но если так, то во всех этих бесчисленных случаях человек сам и исполнитель и организатор своих актов; он сам занимает место обоих звеньев, и причины, и следствия. К нему, в тогдашнем мышлении, должны относиться оба эти понятия, весьма различные, хотя и тесно связанные между собою. Что из этого следует?

Надо помнить, что сознание той эпохи в высшей степени непосредственно и конкретно; оно движется в живых образах, в нем нет отвлеченностей и тонкостей, созданных последующим развитием. Оно не может придумывать таких, напр., объяснений: „с одной стороны, человек есть исполнитель, с другой стороны, он же—организатор",—или: „в одном отношении он является причиною, в другом отношении — следствием", и т. под. Для простого, наивного мышления два понятия, значит, два предмета, не иначе.

Что же оказалось? Человек удвоился в своих мыслях. Теперь он—два человека: властный руководитель его действий и покорный их исполнитель. Но видеть-то можно только одного, исполнителя, так как мы постоянно наблюдаем самое выполнение действий... Ну так что же? Очевидно, другой скрыт в нем, организатор в исполнителе. Это не мешает ему существовать

столь же несомненно, ибо руководит же кто-нибудь действиями второго.

Такова сила сложившегося способа мышления. Он есть как бы мощный, непреодолимый механизм, который все укладывает в определенную форму, все устраивает или перестраивает в сознании людей по определенной модели.

Итак, мы имеем двойного человека, — хотя он один. В доступном внешнему наблюдению исполнителе заключен, спрятан организатор. Первый получил название „тела", второй — „души". Это — начало анимизма, идей о душе.

— Если душа — удвоение тела, если она — тот же человек, только взятый в роли распорядителя своих собственных действий, то не должна ли она представляться в одинаковом виде с телом?

— Да, именно так оно первоначально и было. У наиболее отсталых племен, имеющих понятие о душе, так оно есть и теперь: душе приписывается вся внешность, все, по нашим понятиям, „физические" свойства и материальные потребности, как у тела. Никакой „воздушности" или эфирности ей на этой ступени не приписывается, равно как и никакого бессмертия. Эти черты явились в результате дальнейшего, весьма долгого и постепенного развития, главным образом, уже за пределами патриархальной эпохи. Есть все переходные ступени от души грубо-материальной, полного двойника тела, до современной, бестелесной и неуловимой. Напр., у некоторых племен ее воображают в образе маленького человечка, во всех других отношениях сходного с „телом", — представление, остатки которого можно найти и в Европе раннего средневековья. У иных племен душа уже утратила некоторые физические особенности: она невесома, осязаема лишь на подобие воздуха и обладает большой легкостью передвижения, но сохраняет все физиологические функции, и т. под. Еще в такой, высоко-развитой религии феодального периода, как магометанство, душа

обладает половыми отправлениями („Магометов рай“), аппетитом и пр., а в другой, не менее развитой, тоже феодальной,—в католицизме Средних веков, она имеет способность жариться на огне.—Столь же медленно и последовательно, как увидим, складывалась мысль о бессмертии души.

— Каково точное значение слова „душа“ или „дух“?

— Оно означает „дыхание“ (в некоторых других языках смысл его тот же: латинские „animus“, „spiritus“, греческие „θυμός“, „πνεῦμα“). Это употребление слов получилось вот каким образом. Жизнь продолжается до тех пор, пока есть дыхание: оно наиболее постоянный ее объективный признак. Когда нет дыхания, тело неподвижно: „исполнитель“ бездействует, значит, „организатора“ нет, он ушел. Эта устойчивая связь „души“ с „дыханием“ и повела к нередкому обозначению их одним или почти одним и тем же словом.

— Коснулось ли удвоение „тело-душа“ только понятия о человеке, или пошло дальше и шире?

— Оно с самого начала распространилось на все другие существа и вещи, явилось универсальным. Основная метафора и тут, разумеется, сохранила свою силу, и придала всеобщность новой модели мышления. Было совершенно естественно рассматривать движения и действия животных с той же точки зрения, как и человеческие. А так как не было накоплено знания, которое позволяло бы различать предметы „одушевленные“ и „неодушевленные“, так как действие, напр., ветра, движения ручья, облаков, солнца и т. д., воспринимались одинаково с разными актами живых организмов, то принять „души“ всяких вещей было неизбежно. Анимизм на первых своих ступенях и охватывает всю природу, вкладывает „души“ во все предметы: человек, зверь, растение, камень, река,—все получает своих внутренних организаторов.

— Каким образом зародилась мысль о бессмертии души?

— У некоторых племен, напр., фиджийцев, бессмертие души имеет такую форму, что, когда старый организатор—патриарх или вождь—умирает, его душа переходит к его преемнику. Если принять во внимание, что слово „душа“ означает, собственно, организаторскую функцию, то ясно, что это верование или этот „миф“ есть весьма верное описание факта: организаторская функция от умершего властителя перешла к другому лицу, от него перейдет к третьему, и т. д.—Здесь же, очевидно, и начало широко распространенных позднейших, напр., индусских мифов о переселении душ.

Надо заметить, что и вообще у племен патриархального и раннего феодального быта бессмертны лишь души вождей, хотя, в большинстве случаев, и без передачи их новым лицам. Здесь перед нами также „миф“, описывающий факты наивным языком, но отнюдь не выдуманный. В общине господствует традиция, заветы предков-организаторов. Люди живут по этим заветам, подчиняются им, даже и патриархи. Следовательно, хотя предки умерли, но их руководящая роль остается, их организаторская воля живет, управляя жизнью, их „душа“ не умерла. Это прямая очевидность для мышления конкретного, не знающего отвлеченностей: предки повелевают, значит, они живы, хотя тела их, так же несомненно, умерли.

Отсюда вытекает и первоначальная ограниченность „бессмертия“: душа переживает тело, но, вообще говоря, не живет без конца; она впоследствии может сама умереть, или быть убита другой, более сильной душою. Как ни консервативен еще быт людей, но все же иногда замечалось, что заветы предков не вечны, что они могут вытесняться из жизни более поздними заветами. А когда самое имя того или иного предка изгладилось из памяти потомства, никто уже не может мыслить его как живого руководителя.

— Не существует ли в науке других теорий, объясняющих происхождение анимизма?

— Да, существует иная теория, притом наиболее распространенная. Она выводит понятие о душе из сновидений. Сущность ее такова. Умершие существа и разрушенные вещи часто еще долго являются людям в их сновидениях; а понимание того, что сны—только обман чувства, развилось лишь на более высоких ступенях культуры. Получалось убеждение, что от погибших людей и вещей остается нечто, им вполне подобное. С другой стороны, спящий сам во сне видит себя действующим и в изменяющейся обстановке,—тогда как наблюдения и сообщения других людей убеждают его, что тело его лежало в это время неподвижно. Мертвое тело физически вполне сходно с живым; но чего-то в нем не хватает, и оно бездейственно, а затем должно разрушаться. То, что остается от тел после их разрушения, то, что живет и перемещается во время сна, чего нет в мертвом теле, люди стали называть „душою".

— Как следует смотреть на эту теорию?

— В своей основе она не только ошибочна, но и наивна. Анимизм есть целая система мировоззрения, простиравшаяся на все мышление людей, имевшая огромное влияние на всю их жизнь,—стоит лишь вспомнить значение забот о душе, об ее благосостоянии в целом ряде высоко-развитых позднейших религий, о том, как ее спасали ценою хотя бы гибели тела, и пр. Эта система держалась в ряду тысячелетий, прошла через несколько экономических формаций и далеко не исчезла даже в наше время. Между тем ее пытаются объяснить на основе фактов, имеющих самое ничтожное значение в жизни, каковы сновидения. Невозможно допустить, чтобы такая важная, такая устойчивая и всеобщая по масштабу форма мышления была приспособлением к условиям столь маловажным, неустойчивым и частным.

Далее, эта теория приписывает первобытному дикарю такую способность к отвлеченному размышлению, логическому обсуждению, индуктивным построениям, какой у него, конечно, быть не могло. Даже современные наиболее отсталые племена весьма далеки еще от подобного типа „резонирующего дикаря"; он—просто результат наивного перенесения европейских форм сознания на человека низших ступеней развития.

Затем, эта теория неспособна объяснить социальных судеб анимизма: почему идея души возникает лишь на известной ступени развития, тогда как сновидения существовали, конечно, и в первобытную эпоху; почему, как показывает история, эта идея приобретает наибольшую яркость и практическую силу в обществах, построенных по авторитарному типу, каково, напр., средневековое с его католицизмом; почему она утрачивает свое могущество и свою ясность при господстве иных—индивидуалистических отношений в обществе, и всего прочнее удерживается именно в тех классах новейшего общества, где в наибольшей мере удерживается авторитарная связь (в аристократии, в крестьянстве), и т. д.

— Следует ли принять, что эта теория—сплошное заблуждение?

— Нет, в ней есть доля истины; но чтобы ее найти, надо перевернуть самую теорию. Когда возникла—на основе авторитарного сотрудничества идея души, то она послужила естественным и удобным способом объяснять сновидения и т. под. факты; они стали материалом для нее и легко уложились в ее рамки.

— Существуют ли прямые доказательства в пользу авторитарной теории души?

— Самое простое и прямое доказательство заключается в действительном соотношении души и тела по понятиям анимиста. Это соотношение, бесспорным и очевидным образом, есть авторитарное сотрудничество: душа руководит телом, распоряжается

им, властвует над ним; и в то же время оно ей необходимо, чтобы материально выполнять ее цели, как необходим исполнитель для осуществления целей организатора.

Далее, исследуя абстрактным методом историческое развитие мировоззрений, можно убедиться, что, как было уже указано, возникновение, усиление, упадок анимизма и его роли в жизни идут следом за возникновением, усилением, упадком авторитарного типа общественной организации. И когда шла борьба новых, индивидуалистических форм против этого типа организаций, как было, напр., в Европе на исходе Средних веков, то, как мы увидим, представители новых отношений (меновых, буржуазных) вели борьбу и против практического господства анимизма, против подчинения жизни заботам о душе; таковы были „гуманисты", а впоследствии материалисты и другие свободомыслящие люди, защищавшие „права плоти" против „прав души".

Современный язык сохранил еще сознание истинного смысла понятия „душа": нередко это слово применяется так, что его можно прямо заменять или переводить выражениями „организатор", „организующее начало". Напр., про человека говорится, что он „душа" такого-то предприятия, такого-то общества; это значит, что он всех больше и успешнее работает над организацией предприятия, или что именно он своими усилиями поддерживает связь данного общества и организует его деятельность. Относительно науки часто утверждают, что ее „душа" есть ее метод; это то же, что сказать: „метод есть организующее начало науки". Язык есть идеология, т.-е. часть общественного сознания, и потому иногда в нем есть скрытое решение вопросов, которых не в силах разрешить отдельные ученые.

— Но почему же все-таки могла получить господство старая, ошибочная и наивная теория анимизма, и так долго не могла возникнуть новая, правильная, в пользу ко-

торой имеются прямые данные и доказательства?

— Это зависело от точки зрения, с которой подходили к вопросу. Современная наука выработана обществом индивидуалистическим и проникнута его способом мышления; она, поэтому, основу для идеи души искала в сознании индивидуума, отдельно взятой личности; а надо было искать эту основу в общественной жизни людей, в их сотрудничестве; значит, надо было стать на иную, коллективистическую, точку зрения, чуждую мышлению большинства ученых.

f) *Начало религий.*

— Что означает слово „религия"?

— По обычному истолкованию, это слово производится от глагола „religare", по-латыни — связывать. В таком случае, слово должно означать „связь". При авторитарном быте общая религия была, действительно, главным, наиболее для всех понятным и близким выражением организационной связи общества.—По другому истолкованию, от „religere"—собирать—смысл, очевидно, в том же роде.

— Откуда произошли религии?

— Из „культа предков", т.-е. из почитания предков-организаторов, которых народное мышление постепенно превратило в божества.

— Каким путем совершилось это превращение?

— Путем прогрессивного накопления авторитета древнейших предков по мере смены поколений в общине и племени. Этот своеобразный стихийный процесс идет следующим образом.

Распоряжаясь жизненными отношениями столь обширной и сложной системы, как община, патриарх в огромном большинстве случаев делает это по готовому

шаблону, пользуясь накопленным опытом своих предшественников, их „заветами“, т.-е. правилами и указаниями, которые от них перешли к нему, передаваясь в ряду их поколений. Постоянно ссылаясь на эти „заветы“, выставляя себя перед общиною исполнителем воли предков, он тем самым поднимает их авторитет над своим, как высший и более могущественный. Большую часть своей жизни каждый патриарх был раньше подчиненным исполнителем своих ближайших предшественников, привык повиноваться им и почитать их, ставить их над собою. Став патриархом, он, в силу консерватизма мышления, сохраняет этот взгляд на них и, как хранитель общинной традиции, передает его всем родичам. Но в таком же точно отношении предыдущие патриархи стояли к тем, место которых они заняли, и подобным же образом они поставили их выше себя в глазах общины; а те сделали то же по отношению к своим предшественникам, и т. д. Уходя в даль прошлого, образы предков-организаторов растут в сознании потомков, достигая сверх-человеческих размеров; уважение к ним переходит, наконец, в настоящее обожествление. Так почитание предков привело к созданию богов и положило начало древнейшим религиям.

Процесс накопления авторитета не только может быть логически выведен из консерватизма авторитарной мысли, как мы это сделали. Он наблюдается и на памяти истории, конечно, в другой обстановке.

Мыслители, поэты, художники каждого поколения воспитываются на произведениях своих предшественников, и потому бессознательно привыкают большей частью рассматривать их как авторитеты для себя, ссылаться на них и цитировать их в этом смысле. В смене поколений идейные творцы прошлого таким способом превращаются в каких-то гигантов; всякая попытка сравнивать с ними идейных творцов современности кажется странною, почти недопустимою, своего рода профанацией величия. Может ли наш современник без большого усилия представить себе

появление теперь нового Ньютона, Гёте, Леонардо-да-Винчи? А в прежние времена с реформаторами религий дело доходило и до прямого обожествления, как это случилось, напр., с Буддой, с Христом.

В накоплении авторитета есть определенный, реальный смысл. Если заветы умершего организатора продолжают действовать, то его организаторская роль в жизни на деле расширяется. При жизни патриарх руководил, может быть, сотнею родичей; через двадцать поколений потомство этой общины может образовать целое племя во много тысяч человек, верных его заветам, и, если прибавить промежуточные поколения, то легко сообразить, во сколько раз увеличилось поле его авторитета. Не удивительно, что он иногда делается племенным богом.

— Но могли ли вообще произойти из культа предков те многочисленные религии, которые представляют богов в виде животных или растений, иногда даже неодушевленных вещей—солнца, рек и т. под.?

— Что и такие религии возникли из культа предков, на то указывают явления так-называемого „тотемизма". Многие племена, напр., краснокожих Америки, прямо признают, что они происходят от такого-то зверя, птицы, рыбы, дерева и весьма гордятся подобным предком—своим „тотемом".

Вопрос о происхождении „тотемизма" вызывал и вызывает много споров; но он едва ли так сложен и труден, если подойти к нему с нашим методом — исследования функций. По своей основной и главной функции тотем есть просто имя родовой группы, затем племени, и вполне подобно в этом смысле личным именам, которые также брались от названий животных, растений и проч. Но понятно, что имя коллектива, во-1), приобрело гораздо большее значение, во-2), получило характер мифа. Оно и развилось, надо полагать, из персонального имени,—для этого достаточным объяснением является сам авторитарно-родовой быт, где личность организатора является представите-

лем его рода или племени,—плюс, конечно, влияние языка с его первоначальной неопределенностью значения слов. Если отдаленный предок носил имя или прозвание „Бизона“, „Крокодила“, „Коршуна“, и т. под., то в устной передаче от поколения к поколению это название понималось, с течением времени, буквально, и из человека получался тотем,—животное или растение.

— Были ли первоначальные религии многобожными или единобожными?

— Вообще говоря, они были многобожными: даже у отдельной общины мог оказаться не один обожествленный прародитель; а когда они объединялись в племенные союзы, то и родовые божества объединялись в общем почитании, обыкновенно, под председательством одного или нескольких богов наиболее сильной и богатой общины,— как и ее патриарх становился во главе племенного совета родовых старейшин.

Но затем иногда случалось так, что, при очень большом усилении одной общины среди других, ее божество оттесняло остальные и становилось единственным племенным богом. Однако, это „единобожие“ не имело того характера, как позднейший „монотеизм“: племенное божество не принималось за мировое, а оставалось племенным. Так, евреи патриархальной эпохи поклонялись единому племенному богу, но отнюдь не отвергали существования богов других племен и народов: даже в гораздо позже возникших еврейских священных книгах часто говорится о богах египетских, финикийских и других, как о вполне реальных существах, лишь более слабых, чем еврейский бог. Временами, поэтому, случалось, что евреи, наблюдая богатство соседних племен или на практике убеждаясь в их могуществе, приходили к выводу, что их божества более могущественны или, по крайней мере, тоже заслуживают почитания. Тогда совершались те совращения к инобожию, частота и легкость которых кажутся столь загадочными читателю повествующих об этом книг библии, не знакомому с истинным характером племенного единобожия.

— Что называется религиозным культом?

— Слово „культ“ происходит от латинского глагола „colere“—возделывать, почитать (от которого, между прочим, и слово культура). Культ есть вся практическая сторона религиозного почитания: молитвы, жертвы, обряды.

— Откуда произошли религиозные культы?

— Для наивного религиозного сознания божества являлись живыми, реальными руководителями общины или племени. Как с таковыми, люди вступали с ними в общение, прося их о помощи или выражая благодарность за нее в случае успеха; это обозначается, как „молитва“. Равным образом, люди считали себя обязанными заботиться о материальных потребностях своих божественных руководителей, кормить, поить их, как и живых организаторов,—потому что боги отнюдь не представлялись тогда существами бестелесными; отсюда—жертвы.

„Обрядность“ заключается в тех особых способах, которые полагается применять, и тех условиях, которые предписывается соблюдать при молитвах и жертвоприношениях. Вначале специальной обрядности почти не было: к умершим прародителям-божествам обращались приблизительно так, как и к живым организаторам, и столь же просто их угощали, оставляя, напр., кушанья на их могилах. Особые правила обрядности впоследствии выделились благодаря тому, что культ оказался консервативнее остальной жизни.

Пусть развитие племени, его внешние сношения, практические заимствования привели к тому, что каменные орудия сменились бронзовыми. Остается, однако, предание, что предки резали кремневыми ножами, рубили кремневыми топорами, и т. д. Если община решает предложить в угощение божеству, положим, барана, то она не может не считаться с привычками божества,—иначе рисковала бы не достигнуть цели: жертва могла быть отвергнута. Но так как божество есть не что иное, как прародитель общины или племени, то его привычки—именно те, какие существовали у далеких предков.

А предки убивали баранов каменным топором и резали на куски каменным ножем. Следовательно, так надо и поступать с жертвенным бараном: хотя имеются гораздо более удобные металлические орудия, но „обрядность" требует, чтобы при жертвоприношении употреблялись только каменные, которые и хранятся специально для этого. Так делалось, напр., у евреев в Палестине.

Подобным же образом в обрядах культа хранятся древние, давно заброшенные способы приготовления пищи (у тех же евреев—употребление опресноков, т.-е не заквашенного хлеба, в определенные праздники в честь племенного божества). Далее, также древние способы устройства жилища (праздник „кущей" или „палаток" в Палестине, когда евреи уже давно перестали кочевать и жили оседло в домах), и т. д.

Этот неизбежный консерватизм культа делает его часто незаменимым памятником отдаленнейшего, забытого прошлого.

— Какое место занимает религия в идеологической жизни патриархального периода?

— Она охватывает все мировоззрение людей, проникает собою все их мышление. Сущность религии состоит в традиции, в связи с предками. Все то, что идет от них, что является их наследием, все это рассматривается, как божественные заветы или „откровения", все это священно, принадлежит к религии. Но в те консервативные времена развитие совершается до неуловимости медленно, новое в каждом поколении несоизмеримо мало сравнительно со старым, и потому вся жизнь людей лежит в заветах; „священное", т.-е., собственно, традиционное, окружает их постоянно и повсюду, руководит каждым их шагом. Все технические приемы, все взаимоотношения людей установлены богами; от них же идет и всякое знание, всякая мудрость; они вдохновляют руководителей общины в их деятельности.

Искусство в эту эпоху также всецело религиозно: танцы, музыка—священные обряды; мифы, бессознательная

поэзия эпохи,—история богов и их отношений с людьми; произведения живописи, скульптуры, если даже не изображают богов, то „посвящаются“ им, и бывают, по тогдашним представлениям, удачны лишь тогда, когда внушены ими,—как, впрочем, и всякое вообще дело.

Но, охватывая всю жизнь, религиозное или священное в те времена вполне обыденно; в нем нет таинственного, мистического характера, который оно приобретает впоследствии, когда религия отделяется, как особая область, от остальной жизни. Религиозные обряды понятны и доступны каждому; все в них участвуют, под руководством, конечно, патриарха, как и в производительном труде.

Религия была как бы всеобщею оболочкой жизни и мышления.

— Не была ли эта религиозная оболочка заблуждением? Исходя из ложного представления о божествах-предках, не вела ли она к лишним и бесплодным затратам сил и средств общины на обрядность, жертвы и т. под.?

— Представления ошибочные и затраты энергии бесполезные с нынешней точки зрения вовсе не были таковыми в ту эпоху. Не только они являлись результатом исторической необходимости, но и были полезными социальными приспособлениями. Они представляли прочную живую связь общины, а затем племени, придавали сплоченность коллективу, единство и стройность его сознанию, помогали кристаллизации и собиранию трудового опыта поколений. Все это было в высшей степени важно для успеха в борьбе с природою и врагами.

g) *Обычай.*

— Что называется обычаем?

— Установившееся в обществе и устно передаваемое от поколения к поколению правило жизни. Это может

быть и правило техническое, и даже относящееся к образу мышления; но специально словом „обычай“ обозначают правила, которыми регулируются взаимные отношения между людьми: как и в каких пределах члены общества должны поддерживать друг друга, в каких рамках они обязаны удерживаться при своих столкновениях и разногласиях, какими путями их разрешать, и т. под. Следовательно, обычаи это — первичные общественные нормы, устные и строго традиционные. Они—то начало, из которого на дальнейших ступенях культуры развилось право и нравственность.

— Какую роль играл обычай в жизни первобытной эпохи?

— Там, собственно, „обычай“ только начинал зарождаться. В отношениях между людьми царствовал не обычай, а стихийные, тысячелетние привычки, которые не формулировались в особых правилах, не передавались и не запоминались в словесном виде, а усваивались непосредственно в жизни, путем подражания; они, таким образом, не были идеологией, чем и отличались от обычая. Настоящее господство обычая идет с патриархальной эпохи.

— Почему патриархальная эпоха характеризуется развитием и господством обычая?

— Потому что человеческие отношения стали гораздо сложнее и разнообразнее прежних, и не могли уже устанавливаться и регулироваться посредством одной только стихийной привычки: стали необходимы особые правила, чтобы организовать их в надлежащий порядок, т.-е. потребовалась соответственная идеология. С другой стороны, вся жизнь была построена на традиции, на заветах прошлого; т.-е. общественные нормы должны были быть всецело традиционными. А это и есть обычаи.

— Кто был хранителем и блюстителем обычаев?

— Община или племя в целом; но по преимуществу,— старейшие, патриархи, представители накопленного опыта,

мудрости прошлого. Они истолковывали обычай, если его указания были недостаточно ясны, или если его приходилось применить к новому, раньше не наблюдавшемуся случаю.

— В каком отношении находился обычай к религии?

— Как все заветы предков, он являлся религиозным установлением, выражением воли божества.

— Как поступали с нарушителями обычаев?

— В те времена, при величайшем консерватизме сознания людей, при полном господстве авторитета, нарушение обычая—священной воли божества—могло быть только редким, исключительным фактом, и рассматривалось как нечто чудовищное. Нарушитель обычая как бы отрывался от всей жизни общины; его убивали или изгоняли, что практически сводилось к тому же, ибо вне общины жить было невозможно.

Эта исключительность и как бы непонятность „преступления" для тогдашней консервативной мысли объясняет кажущуюся чрезмерной жестокость расправы с нарушителями обычаев, какая поражает нас в древних описаниях патриархального быта, в религиозных книгах разных народов, напр., евреев.

Обычай—уже идеология, т.-е. форма общественного сознания; но отношение к нему людей было еще стихийным.

h) Общая характеристика идеологии патриархального периода.

— Консерватизм авторитарных идеологий был ли того же рода, как консерватизм первобытного мышления?

— Не вполне. Первобытный консерватизм вытекал из величайшей технической слабости человека перед приро-

дою, из отсутствия всякого избытка сил, за счет которого могло бы итти развитие. При патриархальном быте такой излишек—прибавочный труд—уже существует, хотя очень небольшой; и действительный консерватизм жизни уменьшается во много раз, хотя с точки зрения нашей эпохи и остается еще огромным. Изменения в технике, в отношениях людей, а тем более в понятиях остаются все же неуловимыми для каждого поколения, и потому в сознании людей царствует традиция. Авторитарный строй общины в самом себе заключает особое сопротивление всяким новшествам: на организаторе лежит сложная и для слабого еще мышления страшно трудная задача, которую он способен выполнить, только руководясь готовыми шаблонами, выработанными в прошлом. Всякое нововведение порождает цепь перемен и в распределении сил общины, и в отношениях ее членов, а это до крайности усложняет и затрудняет организационную задачу. Напр., допустим, что вводится новое орудие, сберегающее труд. Приходится изменить все прежнее, привычное равновесие производства: направить часть рабочих сил на приготовление этого орудия или же лишнего количества того продукта, на который его можно выменять у другой общины, и надо точно расчитать, сколько именно их надо для этого. Надо затем, убавить работников в той отрасли, где применяется новое орудие, потому что труда теперь требуется меньше. Надо распределить освободившиеся рабочие силы между другими занятиями. Надо изменить распределение продуктов, потому что благосостояние общины повышается. Если орудие приобретается обменом, надо сообразить условия обмена, определить, на какие условия итти можно, на какие нельзя, и т. д. Начавшееся изменение волнами распространяется на всю жизнь общины и требует от организатора по всей линии новой работы обдумывания. А это—самая трудная работа для мало развитой психики. Понятно, что организатор инстинктивно сопротивляется всякому нововведению. Консерватизм техники и экономики неизбежно влечет и консер-

ватизм идеологии, по известному нам закону социальной причинности.

Консерватизм идеологии, при этом, еще сильнее, чем консерватизм техники, потому что идеология, заветы предков, это и есть главное орудие, при помощи которого организатор управляет жизнью общины: как только что-нибудь меняется в этом орудии, патриарх оказывается в положении работника, у которого отняли привычный для его руки, испытанный инструмент, и дали новый незнакомый, к которому надо еще привыкать.

— В чем состоит основная черта строения авторитарных идеологий?

— В так называемом авторитарном или натуральном фетишизме.

„Фетишизмом" первоначально называли поклонение неодушевленным предметам. Потом это слово приобрело в науке и философии более широкий смысл: извращенное понимание каких-либо отношений действительности. Такова авторитарная причинность: она понимает связь явлений природы извращенно, для нее следствие определяется причиной по образцу того, как исполнение—приказанием у людей. Следовательно, отношения вещей она понимает, как отношения людей, а именно, как авторитарную связь: фетишизм авторитарный. Так как при этом искажается именно картина стихийной природы, то его называют еще „натуральным".

Анимизм, очевидно, тоже относится к натуральному фетишизму, а с ним и религиозные представления о природе.

— Сохранилась ли в патриархальной идеологии первобытная динамика?

— Только отчасти; она мало-по-малу устранялась развитием мышления. Роль орудий в труде постоянно возрастала; а это, как мы знаем, вело к выработке мышления о вещах там, где прежде человек мыслил только действия. Начавшийся еще к концу первобытного периода процесс превращения природы в глазах

человека, из мира действий в мир вещей продолжался, хотя еще не завершился в авторитарную эпоху. Первобытную динамику оттесняла статическая точка зрения на мир. Но даже „вещи“ в ту эпоху не стали еще вполне устойчивыми, неподвижными реальностями: в них был действенный элемент, их „души“, придававшие им самостоятельную активность.

— Представляет ли патриархальная идеология для нас только исторический интерес, или еще какой-либо иной?

— Сходные причины порождают сходные следствия. Авторитарные отношения в хозяйстве и вообще в практической жизни существуют и теперь, принимая разнообразные формы, но оставаясь однородными в своей основе. Приспособляясь и к этим остаткам, современное мышление отчасти сохраняет черты авторитарного фетишизма: свойственного ему понимания причинности, анимизма, религиозных представлений, слепого консерватизма традиций. Проследив происхождение и развите этих черт, несравненно легче улавливать их в жизни, выяснять их значение для ее общего хода, определять их вероятную судьбу и свое практическое отношение к ним.

II. Эпоха феодального быта.

а) Техническая и экономическая характеристика эпохи.

— Какие изменения в технике производства вызвали переход от патриархата к феодализму?

— Дальнейшее повышение производительности труда, благодаря которому прибавочный труд увеличился настолько, что сделалась возможна настоящая эксплоатация.

В большинстве стран Европы и Азии основу для такого повышения производительности дал переход от коче-

вого скотоводства или от примитивного, полу-бродячего земледелия к оседлому земледелию, соединенному со скотоводством, при соответственном развитии производства орудий, росте ремесел и пр.

В результате—плотность населения могла возрасти в несколько раз. По весьма приблизительным расчетам, первобытная бродячая охота в нашем умеренно-холодном климате прокармливала человек 20 на квадратную милю, кочевое скотоводство или примитивное земледелие патриархальной эпохи—человек 60—80, а сельское хозяйство начала феодального периода—уже человек до 200.

— Какие преобразования в экономическом строении общества характеризуют смену патриархата феодализмом?

— Основные преобразования следующие: 1) родовая община перешла в соседскую; 2) обособились организаторы мирные—жрецы, и военные—сначала просто вожди, потом „сеньеры"—феодалы; 3) хотя хозяйство в общем и целом оставалось натуральным, но обмен уже сделался явлением постоянным и приобрел заметное, прочное, все возраставшее влияние на экономическую жизнь; 4) постепенно сложились обширные светско-феодальные и духовно-феодальные организации, которые охватили целые области, затем большие страны.

— Как совершилось превращение родовой общины в соседскую?

— Новые способы земледелия были таковы, что его удобнее было вести на отдельных участках семьями. Родственные же связи и помимо этого слабели, теряли свое значение, благодаря тому, что общины теснее соприкасались и смешивались между собою и разрастались до огромных размеров, при которых патриархально-единое хозяйство было невозможно. Шаг за шагом шло распадение на семейные хозяйства; каждое из них было маленьким подобием старой патриархальной группы. Экономическая связь между ними все-таки сохранялась: общинное землевладение; соседское сотрудничество во мно-

гих работах (покос на общинных лугах, пастьба скота, и т. под.); соседский обмен продуктами и услугами; наконец, на основе этих связей, внутреннее самоуправление общины, которое велось сходом ее домохозяев, организаторов каждый в своем семейном хозяйстве.

— Откуда явились жрецы и феодалы?

— Уже к концу патриархального периода, когда возросшая плотность населения, а за ней земельная теснота сделала гораздо более частыми, чем прежде, военные столкновения между общинами, между целыми племенами, практика выдвинула, на-ряду с прежними патриархами, особых военных организаторов-вождей. На войне от предводителя требовались иные качества, чем в мирном труде, не столько многолетняя опытность и мудрая расчетливость, сколько быстрое соображение, гибкое воображение, храбрость, стремительность и т. п.,—свойства, менее редкие у людей молодых, чем у стариков. Вначале вожди назначались на каждую кампанию патриархами, советами племенных патриархов; затем это звание мало-по-малу стало постоянным, пожизненным в руках однажды избранного; а затем, когда община уже распалась на самостоятельные семьи, оно стало и наследственным. Его захватывали себе в привилегию определенные семьи, развивавшие в своей среде специально-военные добродетели, и потому раньше наиболее часто поставлявшие вождей; упрочить привилегию им помогала их экономическая сила, возраставшая благодаря тому, что им доставалась более крупная доля военной добычи.

За прежними патриархами и их семьями оставались в общине объединяющие мирно-организаторские функции во всех случаях, где хозяйственная деятельность обособившихся семей продолжала соприкасаться: они, как хранители опыта и знания, указывали сроки земледельческих работ, лечили больных, выступали как примирители и судьи в столкновениях между сообщинниками, воспитывали молодежь, и т. п. Они поддерживали религиозную связь общины и племени; а так как вся их деятельность исхо-

дила из заветов прошлого, т.-е. из традиции, которая имела религиозную форму, то они являлись „священниками“, или жрецами, представителями культа, посредниками между общиной или племенем и их божествами.

Так разделились две стороны организаторской функции, мирная и военная, воплотившись во власти жрецов и вождей, а впоследствии—духовных и светских феодалов.

— **В чем выражалось влияние обмена на ход развития от патриархального к феодальному быту?**

— Так как при обмене интересы двух сторон противопоставляются,—каждая хочет взять больше, отдать меньше,—то обмен имеет вообще свойство разъединять людей; естественно, что он усиливал и ускорял разложение родовой общины, обособление семейных хозяйств; он подрывал остатки старого коммунизма и упрочивал сознание частной собственности, еще не личной, впрочем, а семейной. Расширяясь же за пределы не только общин, но и племен, распространяясь, хотя и не в крупных, по нашим понятиям, размерах на целые области, даже целые страны, обмен сделал возможным значительное расширение потребностей в экономически сильных хозяйствах: вымснивались разнообразные продукты; и если раньше патриарх мог потреблять больше других родичей и лучшее из того, что производила община, но в общем те же и немногие продукты,—то теперь начало развиваться потребление усложненное и утонченное. А оно, в свою очередь, явилось мотивом для эксплоатации массы общинников жрецами и феодалами. Но все же, пока обмен был сравнительно ограниченным, ограниченным оказывалось и развитие потребностей господствующих сословий, а, значит, и обусловленная им эксплоатация.

Имея свойство раскидываться в пространстве и косвенной, цепной связью объединять весьма отдаленные местности, меновые отношения подготовили образование

областных, национальных и даже еще более широких организаций духовного и светского феодализма.

— Каким путем возникали и что представляли эти феодальные организации?

— Возникали они частью путем естественного размножения и колонизационного распространения племени на все более значительные территории, частью—путем завоевания и насильственного подчинения одних племен другими. Строение же их было попрежнему авторитарное, но несравненно более сложное, а именно „иерархическое“, представлявшее цепь авторитетов, одних над другими.

Простые общинники были „вассалами“, т.-е. подвластными и данниками своего „сеньера“, мелкого феодала, который организовывал их военную защиту, и в случае нужды экономически поддерживал их за счет своих запасов, а с них получал в свою пользу прибавочный труд, в виде ли прямо работы (барщина), или продуктами (оброк). Несколько таких мелких феодалов составляли вассальную группу своего „сюзерена“, феодала более крупного,—за его защиту и покровительство платили ему дань, и по его призыву приходили с дружинами ему на подмогу. Он, в свою очередь, был подобным же вассалом сюзерена еще более крупного, и т. д., вплоть до верховного феодала, называвшегося королем или императором.

Аналогичным образом была построена цепь духовной иерархии, от низших священнослужителей до верховного жреца (первосвященника, патриарха, папы, далай-ламы и т. п.).

b) Развитие речи и мышления вообще.

— Какие основные условия определили развитие речи в феодальную эпоху и насколько оно было значительно?

— Общественные организации раскинулись тогда на огромные территории, охватили сотни тысяч, иногда миллионы людей. Экономическая связь, прямо или косвенно,

объединила тысячи общин, которые вели свое производство в самой различной природной обстановке, а следовательно также различными методами и средствами, создавая и продукты несравненно более разнообразные, чем это было раньше. Для выражения всех бесчисленных элементов производства и всевозможных человеческих отношений, возникавших из него, разумеется, уже не годился бедный словами и мало гибкий язык патриархального периода. Во времена феодализма и сложились такие высоко-совершенные языки, как, напр., индо-европейские и семитические: древне-индусский (санскрит), древне-иранский, греческий, латинский, древне-славянский и германские; еврейский, арабский и т. д. Речь достигла такого богатства выражений и такой их гибкости, что стала способной передавать почти все, переживаемое людьми. Как организационное орудие, она должна была приспособиться, и в ряду веков приспособилась к новым потребностям социальной практики.

— Какие перемены испытало человеческое мышление?

— Прежде всего и главным образом, количественные. С этой стороны, прогресс мышления был столь же значителен, как прогресс речи, его внешнего выражения, и обусловливался теми же причинами: накоплением и передачей опыта, технического и экономического, в гигантских общественных организациях.

Что же касается приемов и способов мышления, то они, разумеется, совершенствовались и усложнялись, но сохраняли свой прежний основной характер: мышление было авторитарным, потому что таково продолжало оставаться строение общества в своем целом.

Однако, рост обмена знаменовал развитие, пока еще слабое и ограниченное рамками старых форм, но все же— новой формы сотрудничества (анархическое разделение труда в обществе). Соответственно этому должны были намечаться, особенно к концу феодализма, и более глубокие изменения в методах мышления,

c) *Авторитарная причинность и анимизм.*

— В каком направлении шло развитие причинной связи за период феодализма?

— Прежде всего, в сторону умножения и удлинения цепей причинности. Трудовой опыт накоплялся, количество установленных наблюдением постоянных связей в нем возрастало во много раз. Там, где раньше с первого шага объяснение факта сводилось к воле какого-нибудь „духа“, скрытого в соответственной „вещи“, теперь оно шло дальше и глубже. Напр., в прежние времена племя, жившее на низовьях большой реки, приписывало ее разливы и наводнения просто „духу“ этой реки, чем и исчерпывался вопрос. Когда же феодальное завоевание или меновые сношения связывали данное племя с другими, жившими в верховьях реки, то на почве их общения выяснилось, что разливы вызываются, напр., периодическими сильными дождями в верхнем бассейне реки. Дожди, естественно, объяснялись тучами, их производившими; появление этих туч—ветрами, их пригонявшими; зависимость ветров от времени года, т.-е. от положения солнца на небе, заставляла видеть их причину в действиях солнца; а эти последние, наконец, приписывались властной воле „духа“ или „бога“ солнца. Вместо первоначальных двух звеньев, причины-следствия, в цепи оказывалось их пять или шесть, благодаря общению племен, раньше не имевших связей.

Так бывало и в массе других случаев, не только вследствие расширения общественной организации в пространстве, но, конечно, и на основе ее продолжения во времени: опыт новых поколений прибавлялся к знаниям старых, увеличивал их сумму и углублял их. Напр., когда арийцы пришли с севера в Ост-Индию, то они, без сомненья, не сразу, а только в ряду поколений могли уловить власть солнца над ветрами, приносящими дожди, и т. п.

В патриархальную эпоху мышление людей легко удовлетворялось причинной связью всего двух звеньев: явление и какой-нибудь „дух", его произвольно вызывающий. При феодализме сама жизнь делала более привычными для сознания, а следовательно, и полнее его удовлетворяющими, удлиненные цепи причин-следствий. Ведь, началом авторитарной причинности была связь власти-подчинения в общественной практике. Феодализм же развертывал эту связь в многочленные ряды. Пусть, напр., по воле папы или короля молодого крестьянина гонят в крестовый поход, берут с него налог на предпринятую войну, и т. д. Сколько звеньев представляет путь от этой первой причины до обусловленного ею, в конце-концов, ощутительного крестьянину факта? Иногда целые десятки, по всей сюзеренно-вассальной линии, от высших авторитетов, духовных или светских, до последнего феодала или его управляющего, поставленного над крестьянской общиною. По социальной же или экономической причинности как бы „моделируется" и всякая иная.

— В каком направлении происходило развитие анимизма?

— В направлении, которое можно назвать „ограничительным". От всеобщего анимизма мышление перешло, шаг за шагом, к разграничению предметов „одушевленных" и „неодушевленных". Область первых большей частью свелась к людям, животным и еще небесным светилам; область вторых захватила обычные и доступные объекты безжизненной природы, а так же и растения. Кроме того, и сами „души" постепенно теряли свои „физические", как мы бы их назвали, свойства одни за другими, в разной мере и степени.

— Каким путем были выделены вещи неодушевленные?

— Путем более полного и точного ознакомления с их реальными свойствами.

Наивное мышление легко приписывало инициативу и самостоятельность действий самым различным вещам; оно

делало это так же непосредственно, как ребенок, обвиняющий стол, о который он ушибся. Если камень катится с горы, очевидно, так захотелось этому камню, точнее—его душе; если с дерева падают плоды, значит, душа дерева пожелала их сбросить. Но эта точка зрения не может устоять перед растущим познанием. Рано или поздно, люди убеждаются, что камень сам по себе—существо в высшей степени спокойное и ни к какой инициативе действий не способное; он приходит в движение лишь тогда, когда получит толчок извне, или когда вода подмоет его опору, и т. п. Другими словами, у камня нет своей активной, властной воли, которая бы им управляла,—нет „души". То же оказывается и относительно многих других тел. Но люди, животные, а также, по тогдашним понятиям, солнце, луна, звезды не таковы: они предпринимают разные движения без всякого наблюдаемого толчка извне; они, следовательно, сами собою управляют, т.-е. имеют „душу", деятельную организаторскую сущность.

Область анимизма сузилась; но не надо думать, что его значение в жизни от этого уменьшилось. Интерес сосредоточился на человеческой душе; зато ею в ту эпоху мышление занималось особенно много, как показывает история большинства феодальных религий, с их усиленными заботами о спасении души.

— Каким путем душа теряла материальные свойства?

— Равным образом, вследствие прогресса знаний о телах. Напр., вскоре после того, как начали применяться весы, душа должна была сделаться невесомою: люди не раз могли убедиться, что убитый ягненок весит столько же, сколько перед тем он весил живой. К убеждению в неосязаемости души приводило то, что, когда она уходила из тела в момент смерти, никому из окружающих не удавалось ощущать ее прикосновения и т. п.

— Что стало с идеей бессмертия души?

— Она получила более широкое развитие, чем прежде, и распространялась уже на всех людей. Это произошло вполне естественно. Первоначально бессмертными признавались только души организаторов. Но с разложением патриархальной общины число организаторов сильно увеличилось: каждый глава семьи был таковым в своем хозяйстве. Но и каждый из простых членов семьи мог в дальнейшем стать организатором особого хозяйства. Следовательно, „организующее начало" или „душа" присуще всякому человеку по самой его природе.

С этой точки зрения понятны средневековые богословские споры о том, есть у женщины настоящая, т.-е. бессмертная, душа, или нет. Женщина в тогдашней семье была существом в высшей степени подчиненным; властным главой семьи она стать не могла, или это случалось крайне редко; у людей наиболее последовательно мысливших само собой являлось сомнение, имеется ли в женщинах „организующее начало" такое, как в мужчинах, т.-е. способное выходить в своих функциях за пределы их личного существования. На одном из поместных соборов духовенства Франции вопрос о душе женщины, по обсуждении, был поставлен на голосование, и разрешен благоприятно для женщин, но лишь большинством одного голоса.

Что касается, в частности, форм бессмертия души, то они в разных феодальных религиях представлялись различно: переход в особый загробный мир у германцев, арабов, переселение душ из одних организмов в другие—у индусов (в дальнейшем то же с освобождением души от всякого тела).

— Когда создалось понятие о вещах бездушных, то могла ли удержаться и по отношению к ним авторитарная идея причинной связи, т.-е. ее представление по образцу власти-подчинения?

— Для позднейшего мышления „душа" нужна не только повелевающему, но и подчиняющемуся, чтобы вос-

принять и исполнить повеление. Но это вовсе не было так для мышления более наивного, не рассуждавшего о способности восприятия, о том, что она принадлежит специально душе, и т. п. Тогда, напротив, представлялось как нельзя более естественным и понятным, что телесное, неодушевленное подчиняется одушевленному, что, напр., вещи можно привести в движение магическими словами.

Но если причинная связь понималась по образцу или на подобие приказания исполнения, то не надо думать, что в ней прямо, конкретно воображалось, напр., особое словесное приказание со стороны „причины". В ней было только неопределенное сознание какой-то властности, какого-то господства на одной стороне, пассивности—на другой. А это сознание сохраняется постоянно в авторитарной причинности. О нем ясно свидетельствует характерное, в те времена казавшееся самоочевидным, убеждение, что причина всегда „больше" или „выше" своего следствия.

— Какое отношение к авторитарной причинности имеет идея „чуда"?

— Когда накопленный трудовой опыт дал людям знание множества причинных связей в окружающей их природе, когда, пользуясь этими связями, люди научились надежно, без неожиданностей, справляться со многими вещами, уверенно достигать определенными средствами намеченных результатов, тогда в мышлении стала все прочнее укореняться идея всеобщей закономерности явлений. Закономерность эта принималась, конечно, не в современном научном смысле, не как естественная необходимость, а как закон или правило, установленное для вещей какой-нибудь верховной волею: тем не менее, вера в найденную привычную связь фактов была очень глубокой и прочной, особенно, благодаря огромному консерватизму авторитарного сознания. Но время от времени случались события, не входившие в эту привычную связь, или прямо ей противоречившие: затмевалось солнце и появлялись звезды среди белого дня,—

или яркая комета проходила по небу,—или вдруг колебалась земля,—или рождался ребенок о двух головах,—или приходила невиданная болезнь и косила человеческие жизни, и т. п. Как должно было относиться к подобным событиям авторитарное мышление?

Верное себе, оно в них видело специальное вмешательство какой-нибудь высшей или верховной воли, нарушающее обычный ход вещей, и обозначало его, как „чудо". Необъяснимое сразу этим объяснялось, беспримерное укладывалось в обычный круг понятий. Раз верховная организаторская воля устроила данный порядок мира, то почему не может она же, или по ее попущению другая, низшая божественная или полу-божественная воля, нарушить в известном случае этот порядок, в целях, напр., наказания, исправления, предостережения людей? Ведь властитель-человек, с которого копировались религиозным сознанием все высшие воли, позволяет себе иногда уклониться от им же изданной для подвластных нормы, нарушить им же организованный порядок.

Понятие „чуда" не было возможно ни в первобытной идеологии, ни даже на первых ступенях анимизма, когда все вещи были одушевлены и, значит, способны к проявлениям произвола. Чудо же означает исключительный случай вмешательства свыше в установленный ход вещей, т.-е. предполагает прочно сложившуюся идею о нормальной их закономерности.

— Было ли понятие „чуда" простым заблуждением?

— Для нынешней научной мысли оно, разумеется, не только заблуждение, а просто лишено смысла и содержания. Но для сознания авторитарного оно было полезным и целесообразным приспособлением. Все необычное, раньше не наблюдавшееся, не входившее в рамки старого опыта, должно было бы тогда разрушать и расстраивать столь важные для прогресса, для победы человечества над природою представления о постоянных связях, о закономерности явлений. Если, напр., неожиданно

тряслась земля, то могло бы исчезнуть всякое доверие к устойчивости почвы, без которого нельзя строить зданий. Понятие „чуда“ как бы отвлекало и отстраняло подобные факты от нормальной связи опыта, в качестве исключений, вызванных особым вмешательством свыше; этим идея постоянной закономерности оберегалась от их разрушительного действия. Есть пословица — „исключения подтверждают правило“. Она выражена плохо: исключения, конечно, правила не подтверждают; но, будучи специально выделены и указаны в качестве исключений, они позволяют уверенно пользоваться правилом в остальных случаях, и тем самым укрепляют его на деле. Такую роль играло „чудо“ в развитии понятия о всеобщей связи явлений.

d) Феодальные религии.

— Чем религии феодального периода отличаются от религий патриархального?

— Во-первых, разумеется, большей сложностью и богатством содержания. Во-вторых, они представляют устройство мира не по образцу патриархальной общины, а по образцу феодальной организации. В-третьих, эти религии становятся основою жреческой эксплоатации масс,— хотя вообще служат отнюдь не для одной эксплоатации.

— Как именно представляется организация мира в феодальных религиях?

— Мир действительный дополняется воображаемым миром полу-богов, богов и высших богов, вплоть до одного верховного, образующих совершенно такую же цепь авторитетов, как иерархия жреческая или светско-феодальная. Между ними распределена власть над миром, как между феодалами власть над обществом. Различные стихии, различные стороны жизни людей—ленные владения отдельных богов, где они являются полновластными организаторами. У греков, напр., Зевс был высшим властителем мира; его собственным владением было небо, его ору-

жием—гром и молния. Крупнейшие вассалы Зевса были: Посейдон—властитель моря, и Плутон—подземной области; дальше следовали боги менее крупные, затем мелкие боги, полу-боги, в общем—целые тысячи. Развивавшееся общественное разделение труда в дальнейшем придавало многим богам характер специалистов, руководителей разных его отраслей; напр., Деметра, „мать-земля“, была также богинею хлебопашества. Гермес, бог дорог,—руководителем путешествий и вообще мирных сношений между людьми, в том числе не только торговли, но и родственного ей в те времена воровства; Гелиос-Аполлон, властитель солнца и света, был богом искусства, мифов и т. д. При этом, так как общая религия сложилась у греков на переходе от родового быта к феодальному, то она сохранила и много черт чисто патриархального строения: родственная связь между богами, совместная жизнь их на Олимпе и пр. Последовавший за феодализмом в Греции рабовладельческий строй мало изменил феодально-родовые черты народной религии, потому что в основе тоже был авторитарным.

Подобная картина повторяется и в других религиях феодального периода — древне-германской, славянской, индусской и др. Различны имена богов, распределение между ними территории вселенной и специальных функций, но та же иерархическая цепь, и сами боги—те же, только идеализированные, жрецы или светские феодалы. В иных религиях эпохи мелкие божества заменяются святыми, или пророками (у католиков, мусульман); но место и значение в системе остаются те же: то это божества территориальные, напр., определенные святые—покровители определенных городов и местностей, то заведуют определенными стихийными силами, как пророк Илья—громом и молнией, Николай Чудотворец — плодородием почвы, и т. п. Часто существует полное соответствие между иными божествами более древней „многобожной“ религии и заменившими их святыми более поздней, считаемой „единобожною“; иногда же новая религия,

вытесняя старую, принимает ее божества в другой только роли—в качестве злых властителей, дьяволов; так поступил, напр., католицизм со многими богами древности, которых он сделал феодалами подземного царства, организаторами зла и бедствий.

Всюду мир сверхъестественный в своем строении повторяет идеально мир общественный.

— Как отразилось на религии то обстоятельство, что при феодализме власть стала средством эксплоатации?

— Отношение богов к людям начало пониматься в смысле эксплоатации: жертва приняла характер дани, оброка. Социальная жизнь воспроизводилась в религии настолько точно, что, напр., у индусов не только люди обязаны были приносить жертвы богам, но и низшие боги высшим, а те верховным, как вассалы дань своим сюзеренам. Первоначально же, как мы знаем, жертва была просто выражением мыслимого сотрудничества между давно умершим предком-организатором и живым поколением, которым он продолжает руководить в труде, причем, естественно, берет и свою долю в продукте для удовлетворения своих потребностей. Прежнее значение жертвы ясно выступает в том же индусском мифе: он утверждал, что верховные боги, древнейшие из всех, „приносили жертвы самим себе“. Это вначале означало просто вот что: древнейшие боги, сохранившиеся от патриархальной религии, как и подобает патриархам, сами вели хозяйство и распределяли продукт, сами брали в нем свою долю. Впоследствии смысл термина „жертва“ изменился, и простое описание факта приобрело загадочный, мифический характер.

— Каким образом религии феодального общества стали орудием эксплоатации?

— Жрецы пользовались своим положением посредников между людьми и богами для того, чтобы брать в виде пожертвований, „десятины“ и других религиозных оброков из народного продукта не только средства нормального

удовлетворения своих потребностей, но гораздо больше этого, так что жреческие организации накопляли огромные богатства и сокровища. Как мирные организаторы, необходимые для общества хранители опыта, руководители производства во всем, что выходило за пределы отдельных хозяйств или за пределы знаний их руководителей, жрецы не являлись, конечно, эксплоататорами, поскольку их поборы не превосходили нормальных потребностей, связанных с поддержанием их трудовой энергии. Но они, как и светские феодалы, шли дальше этого, и свою эксплоатацию, вначале умеренную, усиливали по мере развития общественного труда и роста феодального общества.

Чтобы увеличивать свои богатства и усиливать эксплоатацию, жрецы всячески расширяли и углубляли свое вмешательство во все дела своей паствы. В иных религиях, напр., в католическом и в православном христианстве, был установлен обычай исповеди, позволявший жрецам следить за каждым жизненным шагом каждого человека. К концу феодального периода его религии приобретали особенно устрашающий характер; картины ужасов загробной жизни служили для того, чтобы обострять заботу о спасении души, и таким образом упрочивать влияние жрецов. В пользу жреческих корпораций делалась масса завещаний, отдававших им земли и движимые имущества. В Зап. Европе к концу Средних веков в руках духовенства было больше трети земель, и притом лучших; а его богатства были несметны. Оно подчинило своей власти даже светских феодалов после долгой и жестокой борьбы: папы господствовали над королями и императорами. Чтобы упрочить свою экономическую силу, избежать ее раздробления между потомками, духовенство там обрекло даже себя на безбрачие.

Но если феодальные религии были **средством** жреческой эксплоатации, то они отнюдь не являлись ее **основой**. Основой же была общественная полезность и необходимость жречества, как мирно-организаторского сословия. Связи общества были слабы; светские феодалы,

в силу своей военной специальности, были мало способны поддерживать его единство и сплоченность; это делалось почти всецело жреческими корпорациями. Они, насколько возможно, охраняли мир и ставили в рамки военно-грабительское буйство эпохи; они за счет накопленных богатств и запасов помогали жертвам бесчисленных войн—разоренным и калекам; они залечивали раны производства, руководя восстановлением экономической жизни в опустошенных местностях, п т. д. Из таких социально-практических функций вытекала идеологическая власть над умами.

е) Отношение феодальных религий к знаниям и искусству.

— Сохраняло ли знание при феодализме религиозные формы?

— В наибольшей доле, сохраняло, но уже не всецело. При феодализме начало развиваться, и чем дальше, тем определеннее, разграничение знания религиозного и светского.

— Каким образом возникало это разграничение?

— Знание было всецело религиозным, пока все оно оставалось „заветным", традиционным, пока его накопление было неуловимо для самих людей, так что его источники естественно относились к отдаленнейшим предкам—божествам. Но в эпоху феодализма, благодаря расширению общественных связей, развитие ускоряется настолько, что в иных случаях прогресс уже заметен и на памяти отдельного поколения. Тогда вновь приобретенный опыт не может стать „священным" и быть приписан древнему откровению. Появляется знание другого типа; по мере своего накопления оно начинает противополагаться религиозному, как „светское" или „мирское".

Главную роль в его обособлении, как и вообще в его развитии, играли меновые связи. При обмене вместе

с чужими продуктами часто заимствовалась и чужая техника, а значит, и практическое знание. На своей родине это знание было „заветным“ и „священным“, шло от предков; но для другого племени или народа, к которому оно перешло, оно вовсе не таково, потому что здесь почитаются и обожествляются, как и там, лишь собственные предки. Напр., евреи в своих сношениях с сумерийцами и аккадийцами, древнейшими народами Месопотамии, приобретая от них металлические орудия, усвоили относящуюся к этим орудиям технику и знания. Но, конечно, эти заимствования у „потомков Каина“ или „сынов человеческих“ (в противоположность „сынам божиим“—евреям) не вошли в религиозную сокровищницу, и попытка применить их в области культа, совершить, положим, обрезание железным ножом, была бы „осквернением святыни“. Напротив, практика обыденной жизни отказаться он них не могла и, следовательно, сама теряла прежний религиозный, т.-е. свято-традиционный характер.

Обособление жреческого сословия закрепляло противоположность знания священного и мирского. Жрецы ревниво охраняли религиозное знание, как свою привилегию, как опору своей власти и эксплоатации, отстраняли мирян от этой области знания; она приобретала окраску таинственного, магического, недоступного разумению простых смертных. Истины обыденные допускали обсуждение, разногласия; религиозные были непререкаемы, неизменны, требовали „слепой веры“, т.-е. на деле, слепого доверия к их носителям и провозвестникам—жрецам.

— Соответствовало ли тогдашнее разделение знания священного и мирского нынешнему разграничению между религией и наукой?

— Далеко не вполне: границы того и другого были совсем иные. Так как священным или мирским знание являлось не по внутреннему содержанию, а в зависимости от того, передано ли оно жреческой традицией, или по-

лучилось другими путями, то в области религий оставалось очень многое, что теперь относят к наукам. Напр., у египтян геометрия и астрономия были священными знаниями, потому что принадлежали всецело к жреческой традиции. На эти науки, можно сказать, опиралась вся власть и влияние жречества, его мирно-организаторская роль в жизни.

Дело в том, что плодородие египетской страны — долины Нила — основывалось на периодических разливах этой реки, и к ним должна была приспособляться вся организация сельского хозяйства. Но разливы — явления стихийные; чтобы справляться с ними, требовалось огромное накопление опыта и методы, которые мы называем научными. Необходимы были точные расчеты времени, какие могут достигаться только посредством наблюдений над движением небесных светил. Необходимы были затем грандиозные инженерные работы: плотины, каналы, гигантские резервуары для отведения излишка воды и пр. Выполнение всего этого немыслимо без геометрических приемов измерения и составления планов. Немыслимы без них и землемерные работы, столь важные там, где каждый разлив смывал границы между земельными участками общин и отдельных хозяйств. Жрецы владели этими знаниями, применяли их и хранили, как религиозную тайну. То, что современная наука выражает в отвлеченных формулах, для них выражалось в религиозных символах. Созвездия были священными животными небес; теорема, известная у нас под названием Пифагоровой, передавалась сочетанием символов трех главных божеств Египта: короткий катет означался Озирисом, богом Нила; длинный—Изидою, богиней земли; гипотенуза—их сыном, Горусом, богом плодородия, и т. п.

Есть основания полагать, что, напр., величайшая пирамида—Хеопсова—была не просто священным зданием, храмом-гробницей для царей, но и своего рода каменным учебником жреческой астрономии и геометрии и знаний, относившихся к разливам Нила. Весь этот опыт

закреплялся в положении, очертаниях, пропорциях, внутренней обстановке, скульптурах, барельефах, надписях пирамиды. Так, ее подножие отмечало границу самых сильных разливов Нила, ее четыре стороны — четыре страны света, ее главный ход шел по направлению астрономической оси мира, внутри были изображены созвездия Зодиака, геометрические чертежи, и т. под.

Но когда грекам удалось выведать и усвоить через своих торговцев-путешественников тайны египетской астрономии и геометрии, то для них это не могло уже стать священным знанием, и религиозную символику египетских жрецов они отбросили, как чуждую. Для греков это были интересные и полезные истины, не более,—знание мирское.

Медицина же и у греков долго оставалась религиозной научной специальностью, тайною жрецов Асклепия.

Вообще, границы „божественного" и „мирского" в области знания были тогда различны у разных народов; но первое преобладало над вторым повсюду и по богатству содержания, и по практической важности.

— В каком отношении находилась религия к искусству?

Здесь намечалось то же разграничение искусства религиозного и мирского, и по аналогичным же причинам. Напр., еврейское предание рассказывает, что отец Авраама был художником и делал „идолов", которых продавал окрестным племенам. Ясно, что для него самого эти „идолы" не могли быть священными изображениями, потому что относились к чужим божествам.

Но и в области искусства религиозное далеко преобладало над светским. В ту эпоху выступило новое искусство — архитектура и выдвинулось на первый план. Храмы и другие жреческие сооружения были объединяющими центрами, к которым тяготело население большей частью множества феодально-связанных между собою общин, иногда целых обширных областей, иногда целых стран. К храмам в дни, посвященные религиозным воспомина-

ниям, стекались тысячи людей, не имевших между собою прямой связи в будничной экономической жизни. Там они объединялись в гармонии общих молитвенных настроений; а затем вокруг храма, под охраной его примиряющего влияния и могущества жреческой корпорации, они завязывали более практические связи, обменивались товарами, заводили знакомства, заключали договоры гостеприимства, и т. под.

— В чем заключается сущность архитектуры, как искусства, т.-е. ее организационная функция?

— Архитектура, подобно своей противоположности — музыке, есть своеобразный язык чувства; она выражает и обобщает человеческие настроения, но, конечно, длительные, устойчивые, вековые настроения масс. Целыми поколениями, иногда целым рядом поколений строились гигантские храмы феодальных религий; и художники-строители, дети своей эпохи, сознательно, а еще больше бессознательно, вкладывали в их каменные формы свои господствующие чувства, свою веру. Готические здания Средних веков, такие, как Кельнский собор, — самая яркая и простая иллюстрация смысла архитектурного „стиля". Их стройные, стрельчатые, с огромной силой устремляющиеся вверх очертания идеально-глубоко и живо воплощали порыв к отрешению от всего земного и обыденного, порыв к небесно-далекому. Это — основное настроение католической религии, утешительницы масс, обещавшей им небо за муки этой жизни, которая среди земельной тесноты, необузданно-жестоких войн и под гнетом эксплоатации представляла значительное сходство с адом.

Архитектура закрепляла и непрерывно передавала от поколения к поколению преобладающие чувствования народов и классов. Так, архитектура древних римлян, с ее гигантским размахом и массивными формами, была истинным воплощением в камне гордости народа — покорителя мира; так, вслед за началом паразитического

вырождения какой-либо аристократии в ее стиле выступает возрастающее и все более причудливое усложнение форм, переход к тонкостям и ухищрениям, нередко в ущерб даже прочности и практической целесообразности создаваемого (стиль „барокко", затем „рококо"), в этом выражается искание новых, утонченных ощущений, порождаемое пресыщенностью с ее притуплением восприятия, и т. под.

В эпоху феодализма воспитательное значение архитектуры было особенно велико. В тогдашней консервативной среде, организуя чувствования потомков в соответствии с тем, что переживали их предки, она являлась хранительницей организующей традиции по преимуществу. Скульптура и живопись храмов дополняли дело их архитектуры, также как и музыка богослужений.

— Почему светское искусство было много слабее религиозного?

— При феодализме религиозное искусство было не только жреческим, но и народным. Зарождавшееся же светское искусство связывалось, главным образом, с потребностями светских феодалов, поскольку они мало-помалу превращались в представителей эксплоатации, роскоши и наслаждения жизнью. Оно не имело корней в массах; это и было причиной его сравнительной слабости.

f) *Письменность.*

— В каком культурном периоде возникла письменность, и по каким причинам?

— В большинстве случаев начало письменности относится именно к эпохе феодализма. Два основных обстоятельства обусловили ее зарождение: 1) накопление опыта, настолько значительное, что его устная передача от поколения к поколению и прямое запоминание становились затруднительными; 2) развитие связей и сношений между людьми, пространственно отдаленными одни от других.

Записи жрецов, надгробные надписи, указы феодалов, письма и кредитные документы торговцев—наиболее типичные памятники самой ранней письменности.

— Откуда произошла письменность?

— Из живописи, через целый ряд переходных форм. Рисунки служили естественным способом повествования и описания фактов; чтобы дать понятие об известном ряде событий, достаточно было их нарисовать. При этом являлось само собой стремление упрощать фигуры, чтобы больше выражать с меньшей затратой труда; напр., человека, дом, дерево изображали несколькими черточками общих контуров, на подобие того как рисуют дети. Затем подобная фигурка превращалась в обозначение не столько самого предмета, сколько звуков его названия; если слово имело не один смысл, а несколько, то все их выражали одним и тем же контуром, как если бы у нас, положим, косу—орудие, косу—женский головной убор и косу—разновидность мыса обозначали бы очертанием косы-орудия. Это уже можно назвать началом „иероглифов".

Дальше, иероглифы приобретали характер наших ребусов. Они применялись вроде того, как если бы мы, желая написать „чертеж", сделали это посредством двух фигур, одна—„черт" и другая—„еж". При этом всего удобнее оказывались иероглифы односложных слов, которые и применялись, как знаки простых слогов. На таком, приблизительно, уровне осталась древняя письменность Китая.

Затем иероглифы стали обозначать отдельные звуки и превратились в настоящие „буквы". Их очертания до такой степени упростились и изменились, что в них нельзя уже было и узнать первоначальных рисунков.

— Насколько широко при феодализме была распространена письменность?

— Употребление письменных знаков являлось обычно привилегией жрецов. Кроме них, писать и читать учились немногие высшие феодалы; другие научались только подписывать свое имя на актах, большинство не шло и до этого.

Для народной массы письменность представляла недоступную тайну, проникнуть в которую удавалось разве лишь немногим предприимчивым торговцам. Функция письменности—мирно-организационная; ее и держали в своих руках, почти всецело, мирные организаторы—жрецы.

д) Развитие обычая.

— Какие основные изменения выступили в области общественных норм за период феодализма?

— Из обычая выделилось обычное право, а затем право—закон, чаще всего называемое „писанным правом“.

— Чем обычное право отличается от простого обычая?

— Обычное право характеризуется тем, что оно имеет особые, специальные органы для его соблюдения и выполнения, напр., суд, общинный, сеньериальный, жреческий. Обычай же отдельного органа не имеет, его носителем и исполнителем является община, племя, общество в целом. Если же патриарх и был в свое время по преимуществу хранителем и истолкователем обычая, то именно как организатор всей жизни и деятельности родовой группы, а не в качестве, напр., специально „судьи“.

— По каким причинам обычное право выделилось из обычая?

— При родовом быте нарушение обычая было случаем совершенно исключительным, и создавать для него особые органы вовсе не требовалось. Феодальное общество не обладало сплоченностью и простотой отношений патриархальной общины; противоречия интересов и внутренние столкновения там несравненно чаще, и нарушения норм обычая весьма многочисленны. С ними приходилось бороться постоянно, систематически; оттого и понадоби-

лись специальные учреждения—судебная власть, которая судила „по обычаю". Эта власть принадлежала частью общине, которая поручала ее своим выборным, частью—феодалам светским и духовным, которые могли передавать ее своим доверенным лицам, иногда же судили сами или совместно с этими назначенными судьями.

— Какие условия породили право формальное или писанное?

— Право обычное часто оказывалось недостаточным, потому что, во-1), ход жизни приносил и новые столкновения, противоречия, преступления, вовсе не предусмотренные старыми обычаями; во-2), иногда, и притом все чаще, возникали споры и тяжбы между людьми из местностей, где обычаи были неодинаковы, так что прежние нормы оказывались во взаимном противоречии, решение становилось невозможным без вмешательства новой нормы, которая должна была специально вырабатываться.

Такие нормы издавались высшими феодалами или корпорациями феодалов, жрецов, и назывались „законами". За ними не было вековой традиции, так что они легко могли бы искажаться или забываться, если бы старательно не записывались и при посредстве записей не сохранялись в точности. Отсюда термин—„право писанное".

— Уступил ли древний обычай место всецело праву обычному и формальному, или продолжал также сохраняться и в своем прежнем виде?

— Значительная доля норм обычая не перешла в ведение правовых органов, а осталась вне их, в общественном сознании разных сословий. Приводить судебный аппарат в действие по поводу каждого, хотя бы мелкого, проступка против старых норм было невозможно: понадобилась бы чрезмерная затрата времени и энергии; суд выступал на сцену лишь тогда, когда ощутительно затрагивались интересы общества или власти. В остальных случаях правовые органы не вмешивались; но коллектив не мог остаться равнодушным к нарушению его органи-

зационных норм; он воздействовал не материальной силой, потому что это было функцией правовых органов, а своим порицанием. Напр., ложь, трусость, неопрятность противоречили старым обычаям, как явления, ослабляющие связь коллектива; но пока они не наносили очевидного для всех реального ущерба чьим-либо интересам, судить за них не приходилось. Но общественное мнение клеймило подобные факты, как „грех", „порок", „бесчестие", „неприличие"; это было смягченное, но широко-массовое воздействие на уклоняющуюся от норм личность, иногда по своим результатам более сильное, чем правовое.

Не-правовые нормы обычая, таким образом, приняли вид норм „добродетели", „чести", „приличия", т. е. приобрели тот характер, который мы выражаем словом „нравственность".

— Были ли нормы права и обычая-нравственности одинаковы для всех сословий феодального общества?

— Нет. Эти нормы—организующие приспособления; а так как в феодальном мире организационная роль сословий была различная, то понятно, что и нормы для них складывались разные. „Права" каждого сословия отличались от „прав" другого; равным образом несходны были их „добродетели", их „честь", их „приличия".

То, что являлось страшным преступлением для одного сословия, рассматривалось как нечто дозволенное или как едва наказуемый пустяк для другого. Напр., если феодал убивал крестьянина, он в худшем случае платился за это штрафом; если крестьянин убивал феодала, хотя бы защищая свою жизнь, его неизменно ожидала жестокая казнь. Для феодала или солдата поединок был делом „чести"; для жреца—великим „грехом", для крестьянина—преступлением. „Добродетели", которые прежде всего требовались от духовного лица в феодальной Европе, были смирение и кротость. Их организационный смысл очевиден: они обеспечивают, с одной стороны, дисциплину

внутри духовной иерархии, с другой—легкость сближения и общения духовенства с руководимой паствой. Нечего и говорить, что на деле эти добродетели были чаще всего лишь внешней формой: „смирение“ жрецов, напр., епископов, пап, наших патриархов и митрополитов хорошо известно из истории,—да оно и на деле мало совместимо с высоко-организаторскими функциями; а их „кротость“, запрещавшая им, напр., проливать кровь, выражалась в том, что епископ или аббат в случае надобности дрался палицей вместо меча, и в том, что духовный суд приговаривал еретиков к сожжению, как „бескровной“ казни. Но эта форма сохранялась века и дошла до наших времен. Для феодала „добродетелью“ или „честью“ являлись родовая гордость—условие достойного поддержания наследственной власти, храбрость и свирепость—условия успеха в военно-организаторской функции. Добродетели крестьянина — покорность и терпение — понятны сами собой.

— Как относилась религия ко всем этим кастовым нормам права и обычая?

— Как всеобщая организационная форма самого феодального строя, она все их освящала.

h) Общая характеристика феодальных идеологий.

— В чем феодальные идеологии сходны с патриархальными?

— Они также авторитарные и религиозные, по своей тенденции—консервативные,—черты, обусловленные авторитарным строением общества.

— В чем феодальные идеологии отличаются от патриархальных?

— Во-1), несравненно большая широта и богатство содержания, как результат расширения рамок самого общества. Быть может, самым ярким выражением этого богатства являются великие народные эпосы, которые

складывались при феодализме: индусская Магабгарата, германская Эдда, финская Калевала, греческие поэмы Гомера, все гигантские сокровищницы народного опыта.

Во-2), на той же основе—роста социальной организации, роста общения людей,—гораздо большая фактическая гибкость идеологий. Они развиваются во много раз быстрее, и самые формы их разнообразнее.

В 3), религиозная оболочка не охватывает мышления полностью. На почве обмена опытом между людьми, имеющими традиции разного содержания, возникает „светское“, „мирское“ знание, искусство. Преобладание, тем, не менее, остается весьма значительное за религиозным знанием и искусством. Усложнение жизни, ее растущие противоречия намечают переходные типы и в области норм; обычай—право, обычай—нравственность.

В 4), сословный строй порождает и сословные идеологии: священное знание, как привилегию жречества, специальные права и нравственность жрецов, сеньеров, простого народа. Но эти сословные идеологии не находятся в борьбе между собою, как впоследствии классовые, а мирно сожительствуют, признавая друг друга, взаимно дополняя друг друга в качестве различных органических опор единого феодального строя. Для крестьянина привилегии жрецов, сеньеров, их иные понятия о правах, чести, добродетели представляются фактом нормальным и непреложным; мысль о борьбе против кастовых перегородок ему чужда.

Когда же сословные идеологии вступают в борьбу, это означает, что феодальное общество переходит в новое, чуждое его единства и цельности, в общество чисто классовое, капиталистическое.

Период индивидуалистических идеологий.

1. Идеально-индивидуалистическое общество.

— Вчем главная трудность исследования индивидуалистических идеологий?

— В том, что они исторически никогда не являлись хотя бы в приблизительно чистом виде, а всегда со значительной примесью иных, переплетенных с ними самым тесным образом, в живой, органической связи.

— Каким способом всего проще и легче преодолеть эту трудность?

— Путем самого широкого применения абстрактного метода. Надо выделить основные тенденции, которые порождают индивидуализм в самой жизни, в трудовой практике, и на них построить картину идеального индивидуалистического общества, которого, разумеется, нет и не было в действительности, но которое даст нам упрощенную схему, удобнейший исходный пункт для исследования. Затем, в соответствии с техникой и экономическим строением этого мыслимого общества, можно выяснить необходимые, основные черты его идеологии, как системы организующих его приспособлений. Потом от идеально упрощенной картины надо будет перейти к исторически-наблюдаемым общественным системам, во всем их смешении форм, и прослеживать, как в самой практике и в идеологии соединяются тенденции

индивидуалистические с иными, напр., с изученными раньше—авторитарными.

— Имеются ли уже в науке примеры такого способа изучения общественных явлений?

— Да, он с успехом применяется в политической экономии. В виду крайней сложности экономических процессов капитализма, его абстрактное исследование начинают именно с построения схемы идеально-упрощенного менового общества, а затем от нее, вводя одно за другим усложняющие условия, переходят к реальным капиталистическим системам, как они развивались в жизни.

а) *Техника и экономика идеально-индивидуалистического общества.*

— Как следует представлять идеально-индивидуалистическое общество?

— Как общество независимых мелких товаропроизводителей. Это—именно то „абстрактное меновое общество“, которым пользуются как исходной точкой экономического анализа капитализма и родственных ему организаций.

— Как характеризовать технику такого общества?

— Во-1), множественностью обособленных технических методов; во-2), мелкими размерами производства в каждом отдельном хозяйстве.

Производство распадается на ряд специализированных отраслей с особыми орудиями и приемами. Каждая отрасль состоит из индивидуальных предприятий, где единичный работник, одновременно организатор и исполнитель, ведет своими силами весь технический процесс, очевидно, в размерах соответственно мелких, как ремесленник или крестьянин-земледелец.

— Чем характеризуется экономика такого общества?

— Неорганизованным или, точнее, анархическим сотрудничеством, обменом товаров, частной собственностью.

Специализированные предприятия не способны существовать иначе, как работая одни на другие: сапожник, кузнец не могут питаться своими продуктами, крестьянин — сам делать свои орудия, и т. п. Следовательно, они находятся в сотрудничестве, которое называется „общественным разделением труда". Но в своей внутренней жизни каждое предприятие организовано независимо от других, они не объединены какой-либо планомерно руководящею волей, индивидуальною, как воля патриарха в древней общине, или коллективною. Таким образом, в своем целом сотрудничество является „анархическим".

Связь между предприятиями реализуется при посредстве о б м е н а их продуктов. Р ы н о к товаров заменяет объединяющую организацию в экономике общества.

Индивидуальное ведение предприятий и обмен между ними предполагают ч а с т н у ю с о б с т в е н н о с т ь производителя на орудия и продукты его труда.

— К о н с е р в а т и в н а я и л и п р о г р е с с и в н а я т е н д е н ц и я г о с п о д с т в у е т в т е х н и к е и э к о н о м и к е м е н о в о г о о б щ е с т в а?

— Мы видели, каким образом консервативная тенденция вытекает из условий а в т о р и т а р н о г о сотрудничества. Здесь этих условий нет. Здесь, напротив, существует р ы н о ч н а я б о р ь б а и к о н к у р е н ц и я, как результат анархичности сотрудничества. В этой борьбе побеждают и экономически выживают те производители, которые производят продукты более совершенными способами и которые лучше других умеют устроить свои экономические связи. Значит, имеется прямой жизненный интерес для производителей в развитии техники их труда и в расширении их экономических отношений: тенденция п р о г р е с с и в н а я.

— К а к в л и я е т н е о р г а н и з о в а н н о с т ь п р о и з в о д с т в а в ц е л о м н а с у д ь б у п р о и з в о д и т е л я?

— Он попадает под власть экономической необходимости, которая есть не что иное, как господство над людьми общественно-трудовых отношений.

Производитель экономически вынужден нести свой продукт на рынок, потому что при специализации производства он не может жить прямо этим продуктом. На рынке он экономически вынужден подчиняться тем ценам, которые там находит, которые не им установлены и на которые он лично не в силах заметно повлиять. Если цены окажутся неблагоприятны для него, он не выручит за свой товар столько, чтобы приобрести достаточные средства для жизни и для дальнейшего ведения своего предприятия, тогда наступает разорение, экономическая гибель. Вполне гарантировать себя против такой возможности нет никаких способов: несмотря на величайшие усилия, на большое искусство в своем деле, он не продаст за достаточную цену или вовсе не продаст своего товара, если другие производители той же отрасли доставили на рынок его чрезмерное количество, так что предложение сильно превысило спрос общества на товар. Производитель разорится и тогда, когда нужных ему средств труда не хватает на рынке, так что ему не удастся их купить, или придется заплатить непосильно-высокую цену. Планомерной общей организации производства нет, и потому предложение всегда может расходиться со спросом, к неожиданной выгоде для одних, к ущербу для других, при чем ни те, ни другие не способны как вызвать подобную конъюнктуру, так и избегнуть ее.

Специализация расширяет и совершенствует производство; благодаря этому человек выходит из-под власти природы, тяготевшей над ним в более ранние эпохи, с их авторитарно-организованным, но узким и консервативным хозяйством. Зато анархичность меновой системы ставит человека под власть общественных отношений в образе не зависящих от него условий рынка.

ѣ) Формы речи.

— Какие черты языка вытекают из основных условий меновой организации общества?

— Богатство и гибкость, соответственно широте и сложности системы сотрудничества; специализация языка, в зависимости от специализации труда.

Меновое общество может неограниченно расширяться и разрастаться, в противоположность авторитарному, для которого пределом служит ограниченность индивидуальной природы организатора: меновое общество такого организатора для системы производства не имеет, а меновые связи способны развертываться цепью без конца. При этом растущее многообразие условий труда, его средств, его приемов, его продуктов, неизбежно должно выразиться в растущем богатстве их обозначений, т.-е. слов-понятий.

Отношения между предприятиями менового общества не только сложны, соответственно их разнообразию и бесчисленным актам необходимого общения между ними на основе обмена, но, кроме того, имеют изменчивый и колеблющийся характер: разные стадии торга-борьбы между покупателем и продавцом, разные степени конкуренции между наличными продавцами или покупателями, изменяющиеся уровни спроса, предложения, цен... Чтобы успешно выражать такие сложные, постоянно варьирующие соотношения, требуется язык в высшей степени гибкий, „пластичный", допускающий точную передачу новых и новых оттенков.

В общественной специализации каждая обособленная отрасль неизбежно вырабатывает ряд слов и выражений, которые имеют значение почти исключительно в ней и для нее: многие термины сапожного дела, касающиеся подробностей его техники, лишены всякого интереса для кузнеца или крестьянина и не интересуют их, не запоминаются ими; так же и в любой специальности. В об-

щий, для всех понятный язык входят, обычно, лишь те термины сапожного, кузнечного дела, и т. д., которые относятся к готовому продукту, выносимому на рынок, и к его применению или потреблению: кто покупает сапоги и носит их, тот в собственных интересах должен знать, что такое „подошва“, „каблук“, „подъем“; но не всегда знает, что такое „дратва“, а слушая разговор сапожников об их работе, очень многого бы в нем, наверное, не понял.—Таким образом, рядом с языком, на котором говорит все общество и посредством которого организуется его экономическая связь в целом, развиваются, как отходящие от него придатки, особые области языка специального, число которых тем значительнее, чем больше отраслей в общественном разделении труда.

— Годятся ли языки изученных нами периодов культуры для общества идеально-менового?

— Языки феодальной эпохи, хотя и не вполне соответствуют его потребностям, весьма близко подходят к ним и по богатству, и по гибкости форм, а также заключают в себе и начало специализации. Это зависит, с одной стороны, от широты и сложности феодальных организаций, с другой стороны,—от того, что общественное разделение труда в них уже есть, хотя и в ограниченной степени, что обмен там—явление постоянное и важное в экономической жизни, хотя еще и не преобладающее.

c) *Мышление вообще.*

— Какие черты мышления вытекают из уже рассмотренных нами условий меновой организации общества?

— Во-1), богатство, пластичность или гибкость, а также частичная специализация—по тем же самым причинам, как и для речи, потому что все ее черты необходимо свойственны и мышлению, которое есть внутренняя речь.

Во-2), прогрессивная тенденция, т.-е. стремление к совершенствованию форм,—потому что оно, как мы знаем, имеется в технической и экономической жизни менового общества, в тех областях, которые дают основное содержание мышления.

— Какие еще основные черты мышления порождаются строением менового общества?

— Отвлеченный фетишизм в разных его видах, которые мы изучим один за другим. Основа же их общая, именно, вот какая.

Меновая организация есть общество, т.-е. прежде всего—система сотрудничества. Но сотрудничество это, как мы знаем, „неорганизованное“, точнее—анархичное, и благодаря этому оно отнюдь не обладает очевидностью. Каждое предприятие внешним образом, независимо от других, работает отдельно от них, и только на рынке вступает в прямую связь с ними. Но там эта связь принимает очень своеобразную форму: форму борьбы. Покупатель и продавец, в действительности, сотрудники: если они, произведя товары, обмениваются ими, то оба работали, объективно, друг на друга, или вернее — на общество. Два производителя-конкурента тоже—сотрудники, потому что труд их одинаково создает продукт для рынка, т.-е. для общества. Тем не менее интересы покупателя и продавца на рынке сталкиваются, равно как интересы конкурентов. Продавец стремится дать своего товара как можно меньше за цену возможно большую; покупатель стремится получить его товар по наименьшей цене; отсюда—борьба в виде „торга“. Конкурент старается отбить покупателя у всех других конкурентов; отсюда—борьба рыночного соперничества, еще более ожесточенная. Где же товаропроизводитель увидит сотрудничество? Он не может его видеть: сотрудничество скрыто под внешней самостоятельностью предприятий, замаскировано борьбой. И товаропроизводитель не мыслит ни общества, как трудового коллектива, ни себя и других членов его, как сотрудников,

Он мыслит общество, как совокупность отдельных личностей, противостоящих друг другу, с особыми для каждой, сталкивающимися в жизненной борьбе, интересами.

Закон приспособления требует, чтобы он мыслил именно так, а не иначе. Ведь если бы он представлял себе человека, с которым торгуется на рынке, или конкурента, как сотрудника в общем деле, то не был бы способен отстоять против него свои интересы, и обрекался бы тем самым на экономическую гибель.

Этот извращенный с нашей точки зрения, но необходимый в меновом обществе способ мышления мы будем называть отвлеченным фетишизмом. „Отвлеченный“ он потому, что от сознания людей „отвлекает“ самое основное и главное в их жизни—общественно-трудовую связь.

Отвлеченный фетишизм проходит по всей линии общественного сознания в меновой организации, проникает насквозь, все ее идеологии.

d) *Отвлеченная причинность—„необходимость“*.

— В какой области жизни, каким путем возникает первоначально идея отвлеченной необходимости, и в чем ее сущность?

— В экономической жизни, на основе отношений рынка; первообразом отвлеченной причинности является экономическая необходимость, которая, как мы знаем, есть не что иное, как власть общественных отношений над людьми.

Производитель по опыту знает, что он необходимо должен нести свой товар на рынок и необходимо подчиниться тем ценам, которые там найдет. Он знает, что там его действия связаны с действиями других людей, но какой связью? Покупатель предложил ему известную цену; он отдал за нее товар. Акт одного человека вызвал соответственный акт другого; это—причинная связь; однако,

это не просто приказание-исполнение, как в авторитарном сотрудничестве.

Патриарх общины говорил одному из ее членов: „дай мне сделанное тобой платье“, и тот отдавал, при чем понимал, что не может поступить иначе. Покупатель говорит продавцу тоже, как будто в повелительном наклонении: „дай мне сделанное тобою платье за полфунта серебра“; продавец исполняет и опять-таки сознает, что при данной рыночной конъюнктуре не может поступить иначе: такова на рынке цена, и если он ее не возьмет, то не найдет покупателя, а продать товар необходимо. Но если предложение покупателя — причина, а уступка товара — следствие, то все-таки товаропроизводитель сознает, что воля покупателя для него — не власть, не авторитет, и покоряется он, продавец, вовсе не этой воле. Покупатель не может получить товар, предложив меньше данной цены, потому что такова конъюнктура рынка. Никакими усилиями не изменить ее ни тому, ни другому, и они оба подчиняются ей одинаково. Если бы конъюнктура была иная, иной была бы и „причина“, и „следствие“. Это — необходимость, которая вызывает и причину, и за нею следствие, которая их связывает и господствует над ними, но лежит не в причине и не в следствии.

Что же она такое? В действительности она — общественно-трудовая связь людей. Для жизни общества необходимо, чтобы такое-то количество труда, заключенное в одном продукте, обменивалось на такое-то количество труда, заключенное в другом продукте; это необходимо, потому что этим способом удовлетворяются потребности производства, без чего оно не могло бы продолжаться. Цена понижается, если данного продукта на рынок доставлено больше, чем требуется обществу; повышается, если его недостаточно, — потому что необходимо в первом случае сокращение, во втором — расширение производства этого продукта, для чего и служат цены невыгодные и цены исключительно выгодные. Словом,

это—необходимость общественной организации производства. Но так ли понимают ее сами подчиненные ей товаропроизводители?

Отнюдь нет. Нам известно, что для их сознания общественно-трудовая связь недоступна, скрытая за борьбою интересов. Значит, что же такое для них экономическая необходимость, которая на деле как нельзя более несомненна, потому что сурово дает себя чувствовать на каждом шагу их экономической жизни? Она — просто „необходимость“, и только, и ничего больше. В ней нет никакого иного содержания, ничего, кроме того, что она — необходимость, против которой ничего нельзя поделать, закономерность невидимая, которую невозможно представить в живом образе,—и тем не менее неопреодолимая.

Она — отвлеченное понятие; потому мы и называем ее „отвлеченной причинностью“.

— При таком понимании причинной связи мыслится ли причина, как нечто большее, высшее, чем следствие?

— Нет, для этого никаких оснований не имеется,— еще одно различие с древней, авторитарной причинностью. И предложение со стороны покупателя, и уступка ему товара продавцом одинаково вызваны необходимостью, одинаково подчинены ей, и в этом смысле равны перед нею.

— Как развертывается цепь причин-следствий под экономической необходимостью рынка?

— Она воплощается в процессах обмена товаров, а значит, и развертывается как цепь этих процессов. Иван предложил Петру полфунта серебра за одежду—причина; Петр уступил ему одежду—следствие. Но затем Петр сам становится покупателем и предлагает полфунта серебра другим продавцам за известное количество тканей, ниток, игл, жизненных средств, чтобы дальше жить и производить платье; те на вырученное серебро покупают

то, что нужно им для жизни и работы, и т. д. Если покупка—причина продажи, то продажа эта становится затем причиною новой покупки, та—новой продажи, та—опять покупки, и акты товарообмена идут причинной цепью без конца.

В этом—еще различие с авторитарной причинной связью, в которой ряд звеньев непременно обрывается на какой-либо „первопричине", как само авторитарное сотрудничество всегда имеет начальное звено в виде какого-либо верховного организатора.

— Остается ли отвлеченная причинность только в сфере мышления об экономических отношениях рынка, или идет дальше?

— Как в свое время авторитарная причинность, и эта, сложившись в экономической области, распространяется затем на все мышление. Постоянная связь явлений всякого рода в жизни и во внешнем мире понимается по образцу, внушенному экономической необходимостью: явление А необходимо влечет за собою явление В; необходимо—и только; между тем и другим нет ничего, кроме голой идеи о принудительности, неизбежности перехода от А к В.

Для иллюстрации сравним причинный ряд фактов в авторитарном и в „отвлеченном" его понимании.

Пусть ветер с моря принес дождевые тучи, дождь увлажнил и смягчил сухую растрескавшуюся почву, поля и луга зазеленели. Для народного сознания патриархальной или ранней феодальной эпохи дело представлялось, примерно, в следующем виде. Специальное божество повелело ветру дуть с моря; ветер распорядился, чтобы туча с дождем пришла в данную местность; дождь приказал почве стать мягкой и влажной; это изменение почвы „вызвало" травки из земли.—В сознании человека меновой организации та же цепь событий принимает иную форму, приблизительно, такую:

По какой-то еще невыясненной, но необходимой причине возник ветер с моря. Движение ветра необходимым

образом повлекло перемещение дождевой тучи, состояние которой в известный момент необходимо обусловило дождь. Дождь имеет неизбежным следствием изменения в почве, они же, в свою очередь,—развитие зелени на полях и лугах. Ветер, дождь, почва, трава равно бездушны и никакой „властью“ одни над другими не обладают. Все события ряда вызваны одной и той же непреложной необходимостью, которая для вселенной есть то же, что конъюнктура для рынка. Эта необходимость обусловила один факт, как причину, и за ним другой, как его следствие, а затем третий, как следствие того следствия, и т. д., без конца. Но и первый факт имеет за собой предшествующую ему причину—порождение той же необходимости; эта еще невыясненная причина—другую, та—третью; и ряд в прошлое продолжается опять беспредельно.

— Представляет ли отвлеченная причинность способ мышления более совершенный и прогрессивный, чем авторитарная?

— Да. Во-1), тут понимание закономерности глубже,—произволу нет места: если необходимость вызвала определенную причину, то она вызовет за нею непреложно и соответствующее следствие; зная их связь, можно предвидеть безошибочно, потому что необходимость, безличная и отвлеченная, не знает капризов, не принесет неожиданностей. В авторитарной же причинности всегда остается и элемент произвола, по крайней мере, в первой причине ряда, которой предвидеть нельзя, потому что это—какая-нибудь высшая воля.

Во-2), развертываясь бесконечно, отвлеченная причинность побуждает сознание искать причин дальше и дальше, не останавливаясь на какой-либо из них, не удовлетворяясь достигнутым объяснением. Авторитарная же останавливается и удовлетворяется, дойдя до какой-нибудь высшей и потому неисповедимой воли: покорный исполнитель ведь не может предвидеть воли организатора.

— Каким путем должен был совершаться переход от причинности авторитарной к отвлеченной?

— Переход от организаций авторитарной, напр., феодализма, к меновой происходил благодаря прогрессу техники и росту специализации. То и другое соединялось как с расширением знания, так и с возрастанием его точности. Причинные цепи удлинялись, приобретали больше определенности, элемент произвола в них слабел и отодвигался в даль; то, что приписывалось раньше прямо воле какого-нибудь „духа“ или божества, находило в накоплявшемся опыте естественные причины; то, что считалось одушевленным, оказывалось бездушным. Идея „власти“ причин над следствиями стушевывалась и бледнела: чем одно безжизненное явление выше другого такого же? Оставалась и усиливалась принудительность связи между ними; но эта принудительность все меньше приписывалась самим причинам, которые опускались к одному уровню со следствиями; она все больше поэтому отделялась от самых звеньев причинной связи и уходила куда-то за них, как тяготеющая над всеми ими одинаково. Так она принимала мало-по-малу характер отвлеченной необходимости.

Но облечься вполне в эту форму она могла только тогда, когда сознание людей было воспитано в достаточной мере экономической необходимостью рынка, и люди в самой жизни привыкли ощущать принудительность, не связанную ни с каким живым, конкретным властелином. Пока старая привычка мысли—соединять всякую принудительность с человеческой или человекоподобной властью—еще сохранялась, и сама необходимость представлялась в образе особого божества. Такова была у греков „Ананкэ“, властвующая даже над богами, суровая, непреклонная богиня, но уже с неясными чертами, не похожая на светлых, одаренных плотью и кровью богов Олимпа, и живущая где-то далеко, не вместе с ними. Имя же Ананкэ означает прямо—принуждение, необходимость.

e) *Товарный фетишизм.*

— Что такое „товарный фетишизм“?

— Это—своеобразное извращение экономической действительности в сознании менового общества. Товарам, продуктам человеческого труда, приписываются отношения, которые на деле суть отношения самих людей. Это происходит следующим образом.

Принужденный постоянно подчиняться колебаниям товарных цен, товаропроизводитель, конечно, наблюдает их с усиленным вниманием. При этом для него выясняется, что в ценах, несмотря на колебания, есть устойчивая закономерность: для каждого товара они тяготеют к определенному уровню, то поднимаясь выше его, то опускаясь ниже, но никогда надолго и очень сильно от него не удаляясь. Отсюда у него возникает понятие о „ценности“ или „стоимости“ товара; это—основа цен, уровень, к которому они тяготеют, закон, от которого они не могут чрезмерно отклоняться: каждый товар имеет свою особенную „ценность“, и сообразно ей обменивается на большее или меньшее количество других товаров. Что же она такое?

В действительности, она выражает общественное отношение, а именно—разделение труда между производителями. Обмен товаров есть распределение в меновом обществе продуктов труда; оно, конечно, не может быть случайным, а должно совершаться, по закону приспособления, так, чтобы потребности общества удовлетворялись, чтобы производство могло продолжаться и развиваться. Экономическое исследование показывает, что для этого товары должны обмениваться в соответствии с количеством труда, которого они стоят при данной технике общества; „ценность“ товара и определяется суммой общественно-необходимого труда, в нем заключенного. Обмен товаров есть обмен работы, разделенной между людьми-сотрудниками.

— *Но так ли понимает дело сам товаропроизводитель?*

— Нет, потому что для этого ему надо было бы видеть общественный характер своего труда, что, как мы уже знаем, для него невозможно: борьба интересов заслонила от него сотрудничество.

— *В таком случае, что же для него „ценность“?*

— Она для него просто „ценность“, и ничего больше: свойство товара обмениваться на другие товары в определенной пропорции. Он не может отнести ее к природе общества, которой не сознает, и относит к природе самого товара. Он полагает, что алмаз имеет высокую ценность именно в силу своих алмазных свойств, уголь—низкую в силу своих угольных качеств. Она объясняет для него и самую возможность обмена товаров, и закономерность в нем.

Если платье обменивается на полфунта серебра, то в сознании товаропроизводителя это представляется отношением между самими товарами, а не между людьми, которые их произвели. Так переворачивается реальность жизни: *отношения людей принимаются за отношения вещей.*

Товарный фетишизм есть, в то же время, и отвлеченный—одна из его разновидностей. „Ценность“ приписывается природе самого товара именно потому, что лишена в сознании менового общества своего истинного содержания, принадлежащего природе социальной.

— *В каком отношении находится фетишизм товарный к натуральному, или к „анимизму“?*

— Между ними есть и родство, и своего рода противоположность. „Ценность“ товара сравнивают с „душой“; и действительно, роль „ценности“ аналогична роли души,—она как бы управляет передвижениями товара в процессах обмена, его рыночной жизнью. Но „души“ вещей у анимиста—живые образы, а „ценность“ това-

ров в сознании товаропроизводителя—безжизненная отвлеченность. Анимизм предполагает незнание человеком сил и свойств предметов внешнего мира, т.-е. недостаток власти человека над природою, преобладание власти природы над ним; товарный фетишизм основан на непонимании человеком его трудовых связей с другими людьми, на власти над ним общественных отношений. Анимизм превращает связь вещей природы в авторитарное сотрудничество, т.-е. в производственное отношение; товарный фетишизм—разделение труда в способность товаров взаимно обмениваться, т.-е. производственную связь в отношение между вещами.

— Следует ли считать товарный фетишизм простым заблуждением?

— Он, разумеется, заблуждение с точки зрения более высокой, чем мышление менового общества; но для этого именно общества это вовсе не так: там товарный фетишизм есть наиболее простой, наиболее практически-удобный, наименее противоречивый способ понимания фактов. Хотя мы знаем, что меновая ценность скрывает под собою кристаллизованный общественный труд, но когда мы покупаем себе платье за десять рублей, нам нет никакой пользы мыслить общественный труд, заключенный в платье и в золотой монете, сравнивать его количество и заботиться об их соответствии. Напротив, это могло бы только затруднить и запутать наши расчеты, поставить нас в противоречие с нашими собственными интересами, даже если бы у нас имелись способы для точного учета количества труда в товарах. Во всяком случае тут оказалась бы практически-бесплодная затрата энергии, потому что мыслить „ценность“ в отвлеченном, пустом виде много легче, чем мыслить это понятие с его сложным общественно-трудовым содержанием; а между тем первого для нашей экономической цели—покупки товара за деньги—вполне достаточно. Для меновой организации фетишизм есть приспособление целесообразное,

и потому для нее он „объективен", он — не заблуждение.

Но как только нам потребуется выяснить законы развития менового общества, так точка зрения фетишизма уже недостаточна и ошибочна: она означает подчинение отношениям этого общества; а понять их развитие, представить себе путь их перехода в новые может лишь тот, кто преодолел их, хотя бы мысленно. Тогда надо подняться над этим общественным строем, сравнивать его с другими формами организации; фетишизм разоблачится, и наше исследование освободится от порождаемых им ошибок.

f) Индивидуальное хозяйство и частная собственность.

— Существует ли индивидуальное хозяйство в точном смысле этого слова?

— В действительности такого не существует; даже хозяйство Робинзона, выброшенного на пустынный остров, не вполне индивидуальное, если ему удалось спасти какие-нибудь орудия, произведенные трудом других людей. В обществе же меновом каждый живет почти всецело продуктами чужой работы, получаемыми путем покупки-продажи; и потому следует считать, что хозяйство каждого—в высшей степени социального характера. Но борьба интересов, противополагающая хозяйства друг другу, и основа этой борьбы—отсутствие общей их планомерной организации—создает иллюзию, будто каждое хозяйство живет индивидуально. Такая иллюзия неизбежна в мышлении товаропроизводителя, и притом законна для него: идея, что его хозяйство не личное, а частица общественного, ни в чем не облегчила бы его задач, но усложнила бы ход его практических размышлений и отняла бы твердую опору в необходимой экономической борьбе.

— Какая еще важнейшая иллюзия вытекает из понятия об индивидуальном хозяйстве?

— Фетишизм частной собственности. Индивидууму принадлежат в собственность орудия его работы, ее продукты, товары, которые он приобрел на рынке; и человек думает, что все это для него—нечто свое; без всякого касательства к другим людям, что его собственность на вещь есть отношение только между ним самим и этой вещью.

— Разве это не так в действительности? Разве собственность не есть отношение между человеком и вещью?

— Нет, собственность—нечто иное. Легко убедиться, что она на деле—не просто отношение человека к вещи. Такое отношение может быть лишь двоякого рода: техническое или идейное. Техническое, когда мы пользуемся вещью, перемещаем ее, изменяем, потребляем, разрушаем; идейное—когда мы ее познаем, исследуем, говорим о ней. Факты жизни показывают, что собственность—не то и не другое. Человек, получивший наследство, тем самым становится собственником целого ряда вещей, к которым он еще не имеет никакого практического отношения, которых даже не видал, о которых иногда и понятия не имеет. Грудной младенец бывает нередко собственником, напр., мастерской, орудий, которых не только применять, но и мыслить еще не может.—Этот пример особенно удобен, чтобы определить, в чем истинная суть дела.

Младенец — собственник своего имущества потому, что общество признает его таковым и активно ограждает в случае надобности его имущество, не допуская, чтобы оно было присвоено другими лицами. Если младенец случайно вырастет идиотом, он так никогда и не будет способен стать в техническое или идейное отношение ко многим „своим“ вещам; но собствен-

ником он останется, потому что общество не перестанет признавать и ограждать его имущество.

Очевидно, частная собственность—социальное отношение, а именно, отношение общества к данной личности и к данным вещам одновременно.

Но в мышлении товаропроизводителя собственность, это—вещь, принадлежащая к его индивидуальному хозяйству, и только,—вещь, связанная с ним самим лично. Отношение между людьми превращается в отношение между человеком и вещью.

— Какое значение частная собственность имеет для индивидуалистической культуры?

— Можно сказать, что именно она формирует индивидуализм: она завершает и закрепляет выделение личности из общества,—разумеется, только идеологическое, только в мышлении людей. Противополагая „свое“ и „чужое“, индивидуум резко отграничивается от других членов общества подобно тому, как его участок земли отгораживается забором от их участков. Люди—сотрудники по производству—мыслятся как „чужие“, т.-е. как существа безразличные или враждебные; вещи, имущество человека, части внешней природы—как „свои“, как нечто близкое человеку, жизненно с ним связанное. Фетишизм собственности охватывает и мысль, и чувство: когда дело идет о собственности, человек несоциально относится к другим личностям, и социально—к вещам.

g) *Отвлеченное знание.*

— Что называется „отвлеченным знанием“?

— Знание, которое оторвалось от общественного труда—своей основы—и мыслится совершенно независимым от нее.

Знание началось с технического правила, и всегда было продуктом трудового опыта людей, а в то же время способом или орудием целесообразной организации дальнейшего труда. Таковым оно всегда затем и оставалось, но не всегда в этом виде мыслилось людьми.

Уже в авторитарных идеологиях затемнено происхождение знаний из общественной практики: религия приписывает их откровениям разных богов, а не видит в них того, что есть,—накопленного практического опыта предков. Но все же знание не оторвано от живого труда: оно понимается, как руководящие указания для деятельности людей.

В меновом обществе специализация отраслей и предприятий ведет разрыв дальше и глубже: познание принимает действительно отвлеченный, или „теоретический“ характер, который не только отделяется от характера „практического“, но даже обычно противополагается ему. Происходит это следующим образом.

В разных отраслях общественно-трудового механизма складываются самые различные знания. Если бы всякое из них прямо и сохранялось только в той отрасли, где оно выработалось, то его неразрывная связь с практикой оставалась бы всегда очевидною; не возникло бы и мысли о „чистом“, внепрактическом, отвлеченном знании. Но общество есть общество, т.-е., во всяком случае, о б щ е н и е людей, как бы ни сталкивались на рынке их интересы. Знание распространяется в обществе, и при этом меняет свой вид.

Так, напр., астрономия первоначально развивалась, как з е м л е д е л ь ч е с к о е знание; такой она являлась в странах древнейших цивилизаций, возникавших по долинам великих рек: у египтян, китайцев, вавилонян. Там все хозяйство находилось в зависимости от колебаний уровня вод, а колебания эти относились к определенным моментам года, т.-е. астрономическим положениям солнца среди небесных светил. Тут астрономические знания так и понимались, как руководящие указания для

земледелия и всех работ, к нему относящихся, напр., по регулированию реки и полевой канализации, и т. п. Теперь предположим, что через меновые связи те же знания перешли к какому-нибудь греческому торговцу, живущему в городе, или к ремесленнику: ясно, что для него они хотя и будут, может быть, очень интересны, но совершенно независимо от его собственной практики, мелко-торговой или ремесленной; а так как до чужой земледельческой практики ему, в силу специализации, нет дела, и он почти не знает ее, то приобретенные сведения о небесных телах будут представляться ему, как существующие сами по себе, как не имеющие отношения к труду людей, как „чистые“, т.-е. отвлеченные знания.

— Разве знания, возникшие в одной отрасли труда, не находят нередко применения и в других отраслях?

— Находят, и очень часто. Напр., та же астрономия, перейдя к купцам-мореплавателям, оказывала им незаменимые услуги в странствованиях, давая им точное руководство для того, чтобы определять направления и положение корабля на море. Но мореплаватели, получая астрономические знания готовыми от жрецов—организаторов земледелия, не могли считать астрономию наукой собственно-мореходной и не интересовались ею как наукой земледельческой. Значит, и для них она была просто „наукой“, и только, т.-е. они принимали ее в отвлеченном смысле, не как продукт и организующую форму труда. Они, разумеется, признавали, что астрономия полезна и нужна в их практике; но причина этого была для них недоступна; и единственный вывод, какой они могли сделать,—это тот, что в самом чистом знании, которое относится к небесным светилам, есть особенная сила, которой людям часто возможно пользоваться в своих практических интересах. Что это—сила прошлого общественного труда, накоплявшаяся в ряду поколений, они неспособны были понять, потому что от их сознания общественная связь труда была скрыта.

Пусть даже астрономию египтян усваивает сельский хозяин—грек или римлянин. В его стране земледелие не зависит от грандиозных речных разливов; ему нужны астрономические приемы, чтобы определить время года, но далеко не с такой точностью, как это необходимо в Египте; может быть, целых девять десятых заимствованного научного материала не найдут применения в его практике. Понятно, что и ему астрономия не будет казаться земледельческой наукой,—и он будет рассматривать ее как чистое знание, связанное не с землей, а с небом, но имеющее такую силу, которой люди могут пользоваться и на земле.

— Но если так, то какой же, в самом деле, наукой считать астрономию—земледельческой или мореходной, или еще иной? И вообще как понимать связь ее или других „чистых" наук с производством?

— Астрономия перестала быть только земледельческой или мореходной наукой; ее, как и другие науки, математические, естественные, социальные, нельзя прикреплять к той или другой специальной отрасли производства.

Дело в том, что как бы ни дробился общественный труд, во всех его отраслях остаются некоторые общие условия, и потому применимы некоторые общие приемы. Их и выражают разные „отвлеченные" науки. Напр., та же астрономия руководит решительно всеми областями производства, как наука, дающая разделение времени. Где теперь, в жизни и в работе, не применяются часы? А они—всецело астрономический инструмент: они строятся по данным астрономии, а потом постоянно контролируются ею; проверка всех часов, от одних к другим, делается, в конце-концов, по астрономическим обсерваториям; а без этой проверки все часы быстро разошлись бы между собою, и людям нельзя было бы точно с'организовать никакого дела, никакого общения между собою. В старые же времена часами служили прямо солнце и звезды; их движению по небу

подражает равномерное движение стрелок по циферблату.

То же относится и к другим отвлеченным наукам. Математика, в качестве метода счетного и измерительного, применяется повсюду в производстве; аналогичным образом физика, механика и т. д. Экономические знания, пока еще большей частью в научно не выработанной форме, руководят организацией всякого хозяйства; ибо знание рынка, денежных знаков, цен, выгод сотрудничества и т. под., все это—экономические знания, без которых не может обойтись даже ни один крестьянин, ни один ремесленник.

Таким образом, именно „чистые" науки по преимуществу выражают единство социально-трудовой жизни, и в то же время как раз они представляются в сознании товаропроизводителей вполне независимыми от общественной практики, представительницами истины „самой по себе".

— Но существуют и науки „прикладные" или „технические", как агрономия, металлургия, медицина и пр.; свойствен ли также им этот „отвлеченный фетишизм"?

— Про них, разумеется, нельзя сказать, что они оторваны от практики в сознании менового общества; оттого их и не считают „чистым" знанием. Но каждая из них представляется связанной только с определенной отраслью производства: агрономия—с сельским хозяйством, металлургия—с добыванием и обработкой металлов, и т. д. К производству в целом, ко всей общественной системе труда и они не относятся в мышлении товаропроизводителя, потому что нет сознания, что в каждой отрасли, как и в каждом ее предприятии, труд является общественным. Как бы ни были специальны прикладные науки, их значение на деле обще-трудовое: агрономия есть, в сущности, наука о добывании питательных средств для поддержания всей рабочей силы общества, металлургия—о добывании металлов для орудий всякого

технического процесса, медицина—о способах восстановления ослабленной болезнью рабочей силы для *всякой* деятельности. Но этот их характер ускользает от товаропроизводителя: они для него только специальные, только профессиональные знания, не более. И это—тоже отвлеченный фетишизм.

— *А как следует смотреть с этой точки зрения на идеологические науки, логику, филологию и др.?*

— Мы знаем, что идеология есть средство организации общественной жизни; в идеологических науках заключаются знания об этом организационном средстве; очевидно, что социально-практическое значение их того же рода, как и знаний, напр., об орудиях труда,—только более широкое и общее.

Так, филология с лингвистикой есть наука о словесном общении людей, посредством которого устраиваются все связи между людьми, все их практические взаимоотношения. Ее реальный смысл особенно ясен там, где встречаются разные языки, наречия, говоры разных слоев общества и где выступает задача—достигнуть того, чтобы в каком-либо деле русский понимал француза, великорусс—малоросса, интеллигент—крестьянина, и т. под. Филология может казаться нам наукой „отвлеченною", стремящейся к чистому, свободному от практических интересов, познанию лишь потому, что мы не замечаем элементарного факта: все наши знания в своем и в чужих языках, дающие нам возможность о чем бы то ни было столковываться с другими людьми, это—*филологические* знания; наука же только приводит их в порядок, в систему.

Логику считают обыкновенно наукой наиболее отвлеченной, предмет которой—чистое мышление. В действительности это наука о том, какие приемы и правила людям надо соблюдать, чтобы нормально столковываться между собою. Об этом свидетельствует и самое происхождение логики. Начало ее систематизации было поло-

жено в Греции, в противовес увлечениям **софистов**, крайних представителей быстро развивавшегося там индивидуализма. Софисты утверждали, что каждый человек по-своему воспринимает вещи и по-своему понимает, так что настоящим образом убедить друг друга в чем-либо люди не могут. Доказывать же можно, благодаря этому, с одинаковым правом и с одинаковым успехом вещи противоположные, это—дело словесного искусства, которое они и преподавали, или применяли в качестве адвокатов в процессах. Действительно, на рынке при торге обе стороны нередко с искренним и равным убеждением доказывают, одна—что немыслимо продать дешевле, чем она требует, другая—что цена вовсе не такова, а ниже; то же наблюдается и в судебных тяжбах из-за собственности между индивидуальными хозяйствами. Но софисты чересчур обобщили и преувеличили законность противоположных точек зрения: ведь и меновое общество должно быть обществом, а где нельзя столковываться, там оно должно распасться. Основатели логики—школа Сократа—и разоблачали неправильность приемов, применявшихся софистами, при чем выясняли методы, следуя которым люди получают возможность убеждать друг друга, приходить к единству практического решения или мнения о вещах.—А так как размышление есть внутренняя речь, „разговор души самой с собою о воспринимаемых вещах", как говорил Платон, то понятно, что логика должна была относиться и к размышлению, помогать человеку столковываться с самим собою и от колебания между двумя точками зрения в каком-либо вопросе приходить к определенному убеждению. А согласие человека с самим собою организационно-необходимо во всяком деле, конечно, по той же причине, как необходимо согласие между сотрудниками.

— **Какое значение в общественно-трудовом смысле имеет философия, метафизика и т. под.?**

— На основе специализации в обществе получается огромная **разрозненность знаний**. Как бы ни

было широко общение людей, но у каждого идейный материал оказывается иной, чем у других. Каждый приобретает по преимуществу те знания, которые нужны в его специальной отрасли труда,—а из иных знаний, обыденных или научных, какие случайно придется. В результате взаимное понимание людей становится весьма неполным, и возможность столковываться ограниченной: один опирается на те сведения, которые другому недоступны, и обратно.

Сами руководящие науки подчиняются той же специализации, превращаются в особые отрасли труда, развиваются отдельно и дробятся дальше, на более мелкие отрасли. Их методы разнообразятся и расходятся, в каждой вырабатывается свой специальный язык, данные в них накопляются больше и больше. Делается невозможным для отдельного лица усвоение не то что всех научных отраслей, но даже хотя бы нескольких. Вместо того, чтобы об‘единять людей, специализированные науки начинают раз‘единять их; ученые разных отраслей говорят на разных языках и не понимают во многом друг друга, а не-ученое большинство не понимает их вообще.

Невыгоды и противоречия такого положения ощущаются чем дальше, тем сильнее. Стремление к единству знания, к общей науке, которая связывала бы остальные и давала бы людям основное руководство в жизни, само собой вытекает отсюда. Попытки создать такое единое и основное знание образуют ф и л о с о ф и ю.

Первоначально, когда науки еще не специализировались в отдельные отрасли, философией называли всю совокупность научного, т.-е. связного, приведенного в порядок знания. Потом это слово стало обозначать науку наук, посвященную самым общим вопросам о жизни и вселенной, науку м и р о п о н и м а н и я.

Задача философии состояла в том, чтобы дать единое, для всех людей обязательное, всех их удовлетворяющее знание. Но единства нет в самой жизни менового общества; поэтому не может его быть и в идеологии. Мышле-

ние в меновом обществе разрозненно потому, что разрознен труд людей, к которому оно необходимо приспособляется. Не об‘единив труда в цельную, стройную организацию, нельзя получить об‘единенного, стройного мышления. Поэтому задача философии была в действительности неразрешима. Философия должна была неизбежно остаться цепью попыток, но никогда не сделаться настоящей наукою. Возникали одна за другой философские школы, вырабатывали разные учения о сущности вещей, о цели и причине жизни, об истине и т. д.; в разной мере они имели успех и влияние, но никогда не могли прийти к соглашению между собою, убедить друг друга: стремясь все об‘единить и примирить, философия постоянно являлась и до сих пор является областью спора и разногласий.

Это отнюдь не значит, чтобы ее следовало считать бесполезною, бесплодною. Попытки были важны, во-1-х уже тем, что поддерживали и закрепляли в обществе стремление организовать мысли людей в целостную систему; во-2-х, хотя в целом задача не разрешалась, но в частностях способы мышления совершенствовались, и вырабатывались полезные идеи, которые переходили потом в специальные науки. Напр., учение о том, что существующее не может уничтожаться, а только меняет формы, возникло в философии гораздо раньше, чем химикам удалось опытами доказать неуничтожаемость материи, а затем физикам—сохранение энергии.

— Если потребность в философии была порождена разрозненностью идей на основе специализации, то устояла ли сама философия против стремления к специализации?

— Нет, не устояла. Вначале философы стараются собирать и усваивать все имевшиеся научные знания, чтобы как можно полнее охватить истину в своих построениях. Но когда число специальных наук увеличилось, а материал их разроссся, такая „энциклопедичность“ во-

обще стала невозможна. Тогда сама философия превратилась в особую специальность. Это, разумеется, не облегчило ее задачу, а наоборот: дать всеоб'ясняющее, всеобязательное знание отдельная специальность, одна из множества, с кругозором ограниченным, как и для всякой другой, была еще менее способна. Специалист-философ изучает мнения других философов, прежних и современных ему, при чем для него остаются скрытыми в огромной доле те знания и опыт, на которых эти мнения основаны,—присоединяют сюда случайно ему доступную частицу научных и обыденных знаний, и на этом строит свое учение. Понятно, что удовлетворяет оно немногих, а в массы и не находит доступа.

— Принимает ли мышление менового общества религиозные формы?

— Как мы видели, религиозные формы происходят из авторитарного сотрудничества, путем консервативной традиции. В идеальном же меновом обществе господствует не авторитарное сотрудничество, а общественное разделение труда, и тенденция в мышлении, как было раньше выяснено, не консервативная, а прогрессивная. Поэтому в идеальном меновом обществе религиозные формы не могли бы сложиться, ни даже сохраниться от предыдущих эпох. Но надо помнить, что такого „идеального" общества в истории не было.

h) Отвлеченный фетишизм в искусстве.

— Какие основные черты характеризуют искусство в идеальной меновой организации?

— Во-1-х, оно превращается в специальность отдельных хозяйств и образует, таким образом, ряд особых отраслей среди других, работая, как и они, на рынок. Произведение искусства с тех пор рассматривается, как индивидуальный продукт определенного мастера. Безличному народному творчеству, которое свойственно автори-

тарным культурам, тут нет места. Там не только мифы, сказки, эпос, песни, музыка, танцы являлись созданием не того или другого лица, а общины, племени, народа— но также архитектура, скульптура, живопись: храмы, которые сооружались иногда десятками поколений под руководством неизвестных, сменявшихся архитекторов, священные статуи, иконописная живопись этих храмов, и т. п. В идеально-меновом обществе такой безыменно-коллективный тип работы немыслим, потому что он основан на живой связи с обществом, которой художник-товаропроизводитель чувствовать не может: он *продает* свои произведения, переживая при этом всю борьбу, всю конкуренцию рынка.

Во-2-х, общественно-организующая роль искусства ускользает от сознания художников, да и всего общества. Отвлеченный фетишизм здесь такой же, как в науке: идея „чистого" искусства, „чистой" красоты, подобная идее „чистого" знания, „чистой" истины.

В-3-х, самое содержание произведений искусства— *индивидуалистическое*: в них дело идет о личности, взятой отдельно и в противоположении с другими, об ее интересах, борьбе, ее судьбах, ее чувствах и т. д. Обособленный в своем сознании индивидуум, явно или скрыто, бывает постоянным героем этих произведений: явно—напр., в романах, поэмах, лирике, скульптуре, где он прямо изображается в своих переживаниях; скрыто—напр., в музыке, в ландшафте, которые не изображают его, но по-своему передают его душевные настроения, его стремления и порывы.

— *Как возможно говорить об „отвлеченном фетишизме" в искусстве, когда оно отличается тем, что творит посредством живых образов, и часто—материально-техническими методами, как, напр., архитектура, скульптура?*

— Отвлеченный фетишизм заключается не в том, что мысли или образы отвлеченны, а в отвлеченной точке

зрения на них, напр., когда научная истина или произведение искусства рассматриваются, как нечто имеющее значение всецело само по себе, безо всякого отношения к обществу, в жизнь которого они входят, т.-е. как если бы от них был „отвлечен" их действительный смысл—их общественная функция. В религиозном искусстве такого отвлечения не было: храм, статуя божества, понимались как нечто об'единяющее верных между собою и с самим божеством, идеализированным представителем прошлых поколений, т.-е. как некоторая общественная связь. Но пусть та же статуя божества, после ряда веков, досталась меновому обществу, напр., найдена при раскопках; тогда в ней увидят более или менее совершенный образ красоты, но и только. Между тем на деле она и тут продолжает связывать людей, которые видят ее, в общем настроении, давать им некоторое, общее для них знание о том, какова может быть сильная и гармоничная жизнь, воспитывать их чувство и мысль к единению,—словом, остается, лишь в новом виде, некоторой общественной связью. Но от мышления менового общества эта функция скрыта.

— Следует ли считать, что известная теория „гражданского искусства", по которой художник должен стараться, чтобы его произведения служили обществу, проводили полезные мысли, внушали добродетельные чувства,—что эта теория свободна от отвлеченного фетишизма?

— Нет, и она от него вовсе не свободна. Она требует, чтобы искусство служило обществу; следовательно, она полагает, что оно само по себе может и не служить ему, т.-е. она также не сознает действительного смысла искусства. А этот смысл—общественно-организационный—всегда имеется в художественных произведениях. Произведение может хорошо выполнять эту функцию для одних элементов, слоев, классов общества и плохо для других, когда социальная организация разде-

лена на разнородные части: искусство аристократическое не подходит, положим, для демократов-ремесленников, крестьян, мелких торговцев, а демократическое для аристократов; но то и другое обладает **организующим** характером, только направленным к двум разным типам строения общественной жизни.

Когда от искусства требуют, чтобы оно сознательно отдавало себя на службу, напр., политическим задачам, или нравственной доктрине, то его просто превращают в „прикладное" искусство, в роде того, какое применяется для украшения и комфорта домашней обстановки людей. Но мы видели, что прикладные науки не свободны от отвлеченного фетишизма в меновом обществе, потому что существует только сознание их связи с определенными отраслями производства, но не их общественно-трудовой роли в целом. То же относится и к прикладному искусству. Если оно, напр., политическое, то налицо есть сознание связи его со специально-политической деятельностью, но нет понимания организационного значения его вообще, помимо этой частной связи. Теория „гражданского" искусства фетишистична, как и теория „чистого" искусства.

i) Отвлеченный фетишизм норм.

— **Чем характеризуется идеально-меновое общество со стороны развития норм, организующих взаимные отношения людей?**

— Если мы станем сравнивать его, положим, с обществом феодальным, то окажется, что меновому свойственны следующие черты:

во-1-х, гораздо большее **богатство, разнообразие и сложность** социальных норм;

во-2-х, отсутствие священно-традиционного характера, присущего обычаю в авторитарной идеологии; нормы менового общества, это—**право и нравственность**;

в-3х-, отвлеченный фетишизм, в силу которого право и нравственность понимаются людьми не как организационные формы их общественно-практических отношений, а как нечто независимое от людей,—как выражение некоей „чистой справедливости“ или „чистого блага“ или „чистого долга“ и т. под.

— Почему для менового общества необходимы нормы особенно многочисленные, разнообразные и сложные?

— Именно потому, что оно в своем целом экономически неорганизованно, полно противоречий и борьбы. Его бесчисленные внутренние столкновения интересов и усилий должны быть введены в определенные рамки, — иначе, развертываясь беспрепятственно, они переходили бы в разрушение общественной связи. Всякая жизненная борьба, развиваясь свободно и последовательно, стремится перейти в истребление, в уничтожение. Это понятно само собою: каждый акт борьбы—не только каждый удар, но какое бы то ни было враждебное воздействие,—усиливает и обостряет борьбу. Напр., несогласие покупателя и продавца о цене приводило бы к насилию и грабежу; это и наблюдалось на каждом шагу в начале развития торговли, когда купцы обычно являлись при удобном случае также разбойниками и пиратами (торговцы финикийские, древне-греческие, карфагенские и др.). Конкуренция же и теперь иногда разрывает все нормы права и нравственности, доходит до применения кражи технических секретов, даже до поджогов и бомб, что наблюдалось не раз в передовой стране—Америке, но бывает, конечно, и в других странах.

В международных отношениях нет обязательных правовых и нравственных норм; там вполне открыто торговля пользуется насилием: передовые страны силой принуждают остальные покупать их товары, а между собою ведут войны вследствие конкуренции за рынки. Ясно, что если бы не было обязательных норм внутри менового общества, то самая жизнь его стала бы невоз-

можна, и оно распалось бы. Чем больше рыночных связей, чем шире и разнообразнее меновые сношения, тем многочисленнее и сложнее противоречия практических интересов, тем сильнее потребность в развитии норм, которыми бы все это регулировалось.

— Почему не нормы обычая, а правовые и нравственные типичны для менового общества?

— Потому что сила обычая—в консерватизме сознания людей и в глубоко чувствуемой связи с предками; а в меновом обществе мышление отличается прогрессивной тенденцией, и жизненная связь с предками ощущается слабо. Эта связь, которую можно назвать сотрудничеством поколений, подобно сотрудничеству живых людей, затемняется иллюзией „индивидуального хозяйства“. Дети, ставши взрослыми, заводят свои отдельные хозяйства и экономически отрываются даже от родителей, не говоря уже о более далеких предках.

Нормы же нравственные и правовые принимаются не потому, что они—заветы предков, а потому что признаются обязательными сами по себе.

— Как это понимать, что норма „обязательна сама по себе“?

— Так как товаропроизводитель не видит того трудового коллектива, к которому принадлежит, то он неспособен и в норме увидеть продукт и орудие организации этого коллектива. Человек находит законы, юридические и нравственные, готовыми в своей общественной среде, и должен им подчиняться. Но почему? Только ли потому, что нарушение закона наказывается судом, а нарушение нравственности—общественным мнением? Легко видеть, что нет: в огромном большинстве случаев человек, следуя нормам, даже не думает о суде и общественном мнении, а вспоминает о них разве тогда, когда соблазняется совершить преступное или порочное дело, т.-е. когда норма более или менее потеряла власть над его душою. Притом каждый нормальный член общества поддерживает борьбу

против преступлений и пороков, прямым ли содействием или сочувствием, или участием в общественном порицании виновных: ясно, что это делается не за страх, а за совесть; если бы было иначе, законы и мораль не являлись бы сколько-нибудь прочными и устойчивыми, сколько-нибудь надежными приспособлениями.

Итак, человек в своей совести находит, что нормы обязательны для него. Но откуда эта обязательность? Приписать ее происхождение коллективу он неспособен, потому что сам—индивидуалист, которому мысль о трудовой связи общества в целом вполне чужда. Приписать ее себе самому, как личности, он также не может, так как не в силах по произволу отделаться от сознания этой обязательности, хотя бы даже очень хотел этого; он убеждается в этом каждый раз, как нарушит закон или мораль, и потом испытывает очень неприятные „угрызения совести“, устранить которые было бы для него, конечно, весьма желательно, но, вообще говоря, невозможно. Что же ему остается? Только одно: принять, что обязательность заключается в *самой норме*, в самом законе, нравственном или правовом. Путь совершенно такой же, как тот, который приводит к фетишизму товарной ценности: товаропроизводитель не может отнести ее ни к общественно-трудовым отношениям, которых не сознает, ни к своей воле, потому что находит эту ценность на деле независимой от своего желания; он и относит ее к товару *самому по себе*, к природе товара. Так и обязательность нормы он принимает как свойство ее природы: *способ мышления* тот же.

„Долг есть долг, и требует исполнения, потому что он есть долг“,—в этих словах об‘яснил обязательность норм Кант, один из величайших философов менового общества, завоевавший себе огромный и длительный успех тем, что удачно выразил некоторые основные черты меновой идеологии. Без сомнения, формула Канта принадлежит к числу так называемых „тавтологий“ (буквально—„тождесловие“), т.-е. в об‘яснении она просто повторяет

и утверждает то же самое, что надо об'яснить. Но она удовлетворяет товаропроизводителя, потому что таков его способ мышления, а именно— отвлеченный фетишизм. Почему товар такой-то обменивается на другой товар в такой-то пропорции? — „Потому что такова его ценность“, отвечает меновая идеология. Но „такова его ценность“ — как раз и означает, что он обменивается именно в этой, а не иной пропорции, т.-е. то самое, о чем задан вопрос. Почему истина нужна и полезна людям? „Потому что она соответствует действительности“. Но „соответствие действительности“, это—то же самое, что „истинность“, лишь в других словах; и опять получается значение истины в том, что она—истина, и только.

Тут нет ничего удивительного. Раз человеческому мышлению стала недоступна общественно-трудовая основа его понятий, то естественно, что они для него необ'яснимы; а значит, вместо об'яснения оно может только их повторять и подтверждать, в прежних или иных словах. Надо выйти из-под власти меновой идеологии, чтобы понять, что ценность—общественно-трудовое отношение, долг— общественно-организационная норма, истина—общественно-трудовой, кристаллизованный в понятиях, опыт.

— Каким образом все-таки возможно такое „отвлеченное понимание права и нравственности, когда товаропроизводитель не может не видеть, что их нормы всегда ограждают чьи-либо интересы?

— Индивидуалист в общественной жизни находит только индивидуальные интересы, сталкивающиеся между собою или случайно согласующиеся. С этой точки зрения норма закона или морали ограждает одни частные интересы в ущерб другим, „справедливые“ или „законные“, т.-е. согласные с нею самой, в ущерб „несправедливым“ и „незаконным“, т.-е. ей противоречащим; а значит, она властвует над ними всеми, но не зависит от них. Она поэтому „абсолютна“, т.-е. безусловна, не связана никакими условиями.

Этот взгляд с огромной силой и чистотой был выражен самими представителями отвлеченного фетишизма в древней формуле: „да погибнет мир, лишь бы был исполнен закон“; или, согласно позднейшему, кантовскому учению морали: „то, что повелевает мне голос совести, я должен исполнить, хотя бы вселенная разрушилась от этого“.

Такой „абсолютный“ характер норм и дает им силу вводить в рамки столкновения частных интересов и стремлений, всю внутреннюю борьбу менового общества. Человек, которого личные желания толкают на то, чтобы выйти из этих рамок, в себе самом встречает препятствие в виде „голоса совести“, который напоминает ему о законе; и не понимая, что этот голос есть выражение собственной его связи с коллективом, он видит в норме высшую силу, которой надо подчинять личные желания. Когда же он все-таки не удержится от нарушения, то затем, независимо от судебных репрессий или общественного порицания, он страдает от „угрызения совести“, т.-е. в действительности он, как член общественной организации, наказывает себя, как нарушителя этой организации; но для него это представляется карающею силой самой нормы.

— Как, однако, может индивидуалист совместить абсолютный, безусловный характер права и нравственности с прогрессивной тенденцией своего мышления, с тем фактом, что законы, нравственные правила совершенствуются, меняются с развитием общества?

— Если он наблюдает изменение нормы и чувствует, что новая лучше, выше прежней, и если он размышляет об этом, что делают обыкновенно не все, а, благодаря специализации, главным образом, специалисты-мыслители, то он приходит к таким выводам. Абсолютный закон, конечно, существует, но, как нечто высшее, он непостижим для ограниченного разума людей. Нормы же, которые людьми сознаются и принимаются, — это только

несовершенные выражения абсолютного закона. Понятно, что они могут и должны совершенствоваться, приближаясь, таким образом, к абсолютному закону, т.-е. бесконечному благу и справедливости; и понятно, что цепь этого развития бесконечна.

Таким образом, отвлеченный фетишизм хотя и не дает людям возможности понять, что прогресс нравственности и права есть просто прогресс форм общественной организации, но все же не составляет и препятствия к этому движению вперед, — конечно, до тех пор, пока меновое общество способно вообще развиваться.

к) Характеристика чистой меновой идеологии в ее целом.

— Какие черты следует считать основными для всей культуры идеального менового общества?

— Во-1-х, идеологическое богатство;
во-2-х, прогрессивность;
в-3-х, индивидуализм;
в-4-х, отвлеченный фетишизм.

— Чем определяется особенное идеологическое богатство идеального менового общества?

— Тем, что с одной стороны это общество экономически „неорганизовано“ как целое, и потому для него тем более необходимы организующие приспособления — идеологические; и что, с другой стороны, в силу специализации оно очень разнородно в своих частях, и потому необходимы организующие приспособления очень разнообразные.

— Чем определяется идеологическая прогрессивность такого общества?

— Она — просто результат его технической и экономической прогрессивности. Вследствие внутренней борьбы общества, и особенно — конкуренции пред-

приятий, техника их совершенствуется, а их взаимоотношения, экономическая связь, изменяются. Идеология должна приспособляться к этим основным условиям жизни общества и прогрессировать вслед за ними. Таким образом, она прогрессивна не сама по себе, а в зависимости от других сторон жизни. Сама же идеология должна быть в достаточной мере гибкой или пластичной, чтобы по мере надобности приспособляться к прогрессу техники и экономики.

— В чем причины и в чем сущность индивидуализма?

— Причины—в анархичности общества, в рыночной борьбе и конкуренции предприятий, маскирующей сотрудничество. Сущность — в том, что индивидуум, ведущий свое по внешности независимое предприятие, мыслит себя, как особый, самостоятельный центр деятельности, центр интересов, противополагая себя со своей частной собственностью другим таким же индивидуумам и всему миру. Все задачи человека, весь смысл его существования сосредоточиваются в „я„ и в „мое“; и труд и познание рассматриваются как творчество отдельных личностей, при чем каждая действует сама по себе; личная „совесть“—основа их поведения; личная свобода и частная собственность—их первые, „естественные“, т.-е. в самой природе людей лежащие права.

Индивидуализм—необходимое приспособление в меновом обществе: он позволяет личности отстаивать себя и свое хозяйство в экономической борьбе, побуждает ее развивать свои силы, чтобы устоять и победить, — ведет ее, таким образом, по пути творчества и прогресса.

— В чем причины отвлеченного фетишизма, и в чем его проявления?

— Причины: власть над людьми их собственных общественно-трудовых отношений, не позволяющая им понять сущности этих отношений,—в частности же неорганизованность общества и его внутренняя борьба, скрывающие связь сотрудничества от сознания людей.

Проявляется этот фетишизм в том, что за действительностью принимаются разные безличные силы, которым приписывается господство над нею: отвлеченная причинность—необходимость, непреложно ведущая следствия за их причинами; ценность, господствующая над обменом товаров; чистая истина, независимая от людей и властвующая в познании; абсолютная справедливость и долг, также независимые от людей и обязательные для них во всех взаимных отношениях.

Отвлеченный фетишизм, подобно религиям, над личностями ставит нечто высшее, чему они должны подчиняться и с чем сообразоваться, — только не в живых образах божеств, а в виде безличных сил. Этим устраняются стихийно-хаотические проявления произвола личностей и не допускается их безграничное расхождение между собою в их разрозненном развитии. Таким образом и отвлеченный фетишизм есть необходимое приспособление, как противовес анархическим тенденциям индивидуализма, который иначе разрушал бы всякое общественное единство.

II. Переходные формы: рабовладельческий строй классического мира.

а) Техника и экономика античного рабовладельческого общества.

— На какой производственной основе развилось античное рабство?

— До эпохи рабства организация греческих и латинских племен была феодальная; такова была Греция во времена Гомера, Рим во времена своих легендарных царей. Прогресс техники и обмена, в силу разных благоприятных условий, шел там быстрее, чем у окружающих племен низшего феодального и родового быта, — племен, которые обозначались как „варвары“. С варварами велись

постоянные войны, в которых греки и римляне, благодаря техническим и культурным преимуществам, все более систематически оказывались победителями. Было много пленников; ими пользовались как рабочею силой. Мало-по-малу создалась настоящая эксплоатация варварского мира путем насильственного захвата его рабочих сил; а затем возникла и торговля ими. Пленник превратился в товар, и тем самым — в простое орудие труда, т.-е. уже не рассматривался как член общества.

Развилось крупное хозяйство, основанное на потреблении рабочей силы рабов; экономически такое хозяйство было могущественнее мелкого, крестьянского и ремесленного, так что шаг за шагом приспособило к себе всю организацию общества, наложило отпечаток на весь строй жизни, и обусловило рабовладельческую культуру.

— Можно ли считать рабовладельческое общество меновым в полном смысле этого слова?

— Нет, его тип смешанный, наполовину меновой, наполовину авторитарный. Внутри рабовладельческое хозяйство было организовано как всецело авторитарное; между хозяйствами преобладали меновые связи. К этой двойственности должна была приспособляться вся античная идеология.

b) Основные черты идеологии классического мира.

— Каков общий характер классической культуры?

— Двойственный, как и самое строение тогдашнего общества: частью авторитарный, частью индивидуалистический. В ранние эпохи рабства, когда не только во внутреннем строении хозяйства господствовали власть — подчинение, но и в отношениях между хозяйствами сохранялись еще отчасти черты феодализма — владычество

аристократов и жрецов в общественных делах, — тогда преобладали черты авторитарно-религиозной культуры. Но по мере того, как усиливался обмен и исчезали остатки феодализма, на первый план выступали черты индивидуалистической идеологии; в эпоху расцвета античного мира перевес на их стороне. В периоде упадка, когда производство и обмен стали слабеть, вновь начали усиливаться тенденции авторитарно-религиозные. Идеология, как всегда, отражала и выражала производственную связь общества и изменялась вслед за нею.

— Какие проявления античной культуры наиболее для нее характерны?

— В эпохи ее роста и расцвета—созданные ею науки, философия, искусство; широкая политическая жизнь с ее величайшим продуктом—системой римского права. В период упадка — религиозное творчество, и в частности — выработка новой религии, ставшей затем мировою, а именно христианства.

— Какая судьба постигла классическую культуру?

— Большая часть ее произведений погибла или затерялась в общем крушении античного мира; меньшая была усвоена возникшим на его развалинах феодальным обществом средних веков—разумеется, то, что подходило к его строению, в особенности—последняя религия древности, христианство, со всей его организацией. Затем, спустя ряд веков, феодализм, разлагаясь, начал вновь уступать место меновой организации, хотя иной, чем рабовладельческая, но все же во многих и важных чертах сходной с нею. Тогда было разыскано и использовано многое из забытых и затерянных продуктов древней культуры, и еще больше — ее методов: это было так называемое „Возрождение классической древности“. Вообще, от погибшего греко-римского общества осталось огромное идеологическое наследство, из которого последующие века черпали все, что способны были усвоить.

c) Греческая философия и наука.

— Что представляла греческая философия и наука при своем зарождении?

— Систематизацию накоплявшегося „светского“ знания, которое не укладывалось в рамки религиозного предания. Родиной античной философии, которая тогда заключала в себе и зачатки наук, были торговые греческие колонии в Малой Азии. Мы уже знаем, что именно обмен опыта, идущий в зависимости от обмена товарами, кладет основу светскому знанию: то, что было священной традицией у одного племени,—когда заимствуется другим племенем, с иной религией, иными богами, не может войти в состав предания от этих богов и оказывается просто полезным сведением, интересной и ценной истиной. Широкие сношения малоазийских греков, которые жили на важнейших торговых путях древности, приводили их в связь с великими культурными народами Востока — египтянами, финикиянами, ассиро-вавилонянами и другими; от них греки усваивали массу новых и важных знаний,— прежде всего, конечно, тех, которые были нужны для самой торговли, морской и сухопутной. Таковы география и астрономия, руководящие людьми в путешествиях; геометрия, как необходимый метод для той и другой, именно — способ определять расстояния и направления; некоторые указания в области атмосферных явлений, которые так сильно влияют на судьбу мореплавателя; очевидно, также арифметика, методы счета, постоянно применяемые в покупке-продаже; кое-какие сведения из механики и физики, особенно те, которые относятся к взвешиванию тел, необходимому в торговле.

Помимо этого приобретались обрывки опыта из всех отраслей производства, потому что все они при развитии менового хозяйства приходят в соприкосновение с торговлей и рынком, а через них—и между собою.

Вначале, пока подобных знаний было не особенно много, они не дробились на отдельные отрасли, а соби-

рались воедино под именем „философии“. Впоследствии накопление повело к их специализации; название „философия“ стало с тех пор, как и всегда в дальнейшем, применяться только к об'единяющей их систематизации, к науке наук.

Раньше общих или „чистых“ наук специализировались прикладные, технические; они частью обособлялись даже еще до философии, в стадии религиозного знания. Так было, напр., с агрономией, наукой о сельском хозяйстве; в некотором роде курс ее дал еще полу-легендарный поэт Гесиод в своей поэме „Труды и дни“; так было и с медициной, которая, однако, до эпохи греческого расцвета сохраняла религиозную форму.

— В каком направлении шло развитие научно-философской мысли?

— В разные периоды жизни рабовладельческого общества это направление было различным. Сначала, пока господствующий класс не терял еще связи с производством, пока господин-рабовладелец лично руководил своим хозяйством, интерес мыслителей устремлялся в сторону практики, живого опыта, исследования природы, в сторону знаний, применимых в трудовой деятельности, полем которой является внешний мир. Первые философы и были натуралистами; после них еще долго главной задачей философии было об'яснение природы. За этот период был собран богатый материал естественно-научных знаний, впоследствии, уже на переходе к следующему периоду, сведенный воедино великим энциклопедистом древности Аристотелем (в IV веке до Р. Х.).

Рост и расширение рабовладельческого хозяйства сопровождались удалением „господ“ от сферы производства. Они передавали свои организаторские функции управляющим и надсмотрщикам, большей частью из доверенных рабов, сами же превращались мало-по-малу в чистых паразитов. А так как этот класс был главным поставщиком идеологов и оказывал наибольшее влияние на развитие духовной культуры, то с переменой его по-

ложения менялись и основные интересы познающей мысли. Развивалось презрение ко всякому производительному труду, как делу рабскому, и ко всему, что для него служит, т.-е. и ко всяким практическим, прикладным знаниям. Не только остановился прогресс наук технических, но и в естественных наступил застой: наблюдения и опыты над живыми явлениями природы ведь также служат развитию производства. Мышление делалось средством утонченного самоуслаждения.

Продолжали пользоваться почетом математика, логика, как науки наиболее „чистого" мышления, не имеющие необходимости оперировать с практическими фактами. Платон, напр., находил, что применять геометрию к решению механических задач значит унижать геометрию.— Сохранялся интерес к астрономии, предмет которой возвышен и в которой силен элемент эстетического созерцания.—В философии главное место занял вопрос о том, как устроить личную жизнь, чтобы достигнуть счастья и самоудовлетворения; даже умозрения о сущности вещей отступают перед этим вопросом, или подчиняются ему, как средство—цели.

Временами в колониях, когда там или здесь вспыхивала промышленная жизнь, вновь расцветали также технические и натуралистические знания: в Сицилии времен Архимеда (к концу III века до Р. Х.), в Египте в эпоху „александрийской учености" (II—III в. по Р. Х.). Но каждый раз это продолжалось недолго и было непрочно: дух паразитизма и рабства побеждал, как только кончалось экономическое процветание.—В общем, наука и философия во второй период античной культуры перестали быть жизненно-прогрессивны.

— Какой тип мышления преобладал в научно-философской области классической культуры?

— Как видно из предыдущего, преобладал отвлеченный фетишизм: знание понималось как „чистая истина", а отнюдь не как продукт и орудие общественно-

трудового процесса. Но не мог исчезнуть вполне и фетишизм авторитарный, потому что в жизни авторитарные отношения играли огромную роль. Исследование причин в общем было проникнуто идеей необходимости, т.-е. отвлеченной причинности; но цепь их обычно оканчивалась на какой-нибудь „первопричине", явно или скрыто божественного характера, не только в философии, но и в науке. Так, астрономия источником изучаемого движения светил принимала таинственный „перводвигатель"; в учении о жизни прочно держалось представление о душе, хотя и освобожденное от физических элементов — ослабленный анимизм. Философия же вообще принимала, в разной мере, религиозные понятия. Даже в ее крайних материалистических учениях имеются следы авторитарного мышления. Напр., школа Эпикура отвергала богов, или, по всей вероятности, несерьезно, допускала их существование „в расщелинах мира", безо всякой связи с его жизнью; но та же школа серьезно допускала, что атомы материи, падая через мировое пространство, могут „случайно" уклоняться от прямого пути, благодаря чему они сталкиваются, приобретают новые сложные движения, и таким путем, в конце-концов, образуют миры. Эти „случайные" отклонения представляют, очевидно, своеобразный произвол атомов, т.-е. приписывают им, в замаскированной форме, свойства авторитарных первопричин. Школы же идеалистические гораздо теснее связывались с религиозными мировоззрениями. В них идеи о божестве, о бессмертной душе, о свободной воле являлись большей частью основными, хотя в то же время сильно измененными, обесцвеченными, лишенными наивно-материальной окраски, свойственной религиям. Эти понятия выступали в несравненно более отвлеченном, „идеальном" виде.

В практической или нравственной философии древности господствует индивидуализм: весь интерес сосредоточен на личности, на ее самочувствии, на путях к ее счастью или самоудовлетворению. Особенно силен этот индивидуализм во втором, упадочном периоде клас-

сической древности (школы: киренская, стоическая, эпикурейская и др.). Раньше, и особенно в философии политической, с индивидуализмом конкурирует идея отечества („πολις“ — город, государство), для которого личность является только средством; таковы, напр., взгляды Платона в этой области. Гражданско-патриотическая тенденция была сильна в жизни. Но она не заключала в себе сознания трудовой неразрывности общества, а только — дух сплоченности перед внешними врагами, выработанный необходимостью общей самозащиты в бесчисленных войнах эпохи. Власть Рима прекратила затем эти войны, и старый патриотизм стал быстро исчезать, оставляя уже полный простор индивидуализму.

d) Античное искусство.

— Каков был первоначальный характер античного искусства? И в каком направлении он изменялся?

— По преимуществу религиозный, в силу преемственной связи с искусством предыдущей эпохи, феодальной. Но уже существовали и быстро развивались зародыши светского искусства, параллельно с прогрессом менового хозяйства и научно-философского мышления. В эпоху расцвета светское искусство преобладало, но и религиозное сохраняло значительную силу; и даже именно оно в наибольшей мере удовлетворяло потребностям демократической массы населения, которая оставалась глубоко-религиозною. — Впрочем, и самую границу между обоими видами искусства провести не всегда легко: чрезвычайно часто светское художественное творчество брало сюжеты из религиозной мифологии.

— Чем об'яснить беспримерное развитие искусства в античном мире?

— Благодаря тому, что искусство выражает действительность в живых образах, доступных, хотя и в разной

мере, всякому, его организующая функция особенно широка и разностороння. Одна и та же статуя божества могла быть для образованного патриция воплощением чистой красоты, источником утонченно-эстетического наслаждения,—а для наивных плебеев предметом благоговейного почитания. Трагедии Эсхила и Софокла для избранного меньшинства зрителей выступали как художественная постановка и разрешение глубочайших философских вопросов, для большинства—как захватывающие картины борьбы, героизма, непреклонной человеческой воли. Каждый почерпал в искусстве то, что ему было понятно, и таким путем оно сближало всех, укрепляло общение, делалось опорою патриотической привязанности к родине, его создавшей и на нем воспитывающей граждан. Оно являлось прочнейшей общественной связью в классическом мире.

— Эта культурная связь была особенно важна и необходима при массе внутренних противоречий тогдашнего общества, среди столкновений разных его слоев—паразитов-рабовладельцев, разоряемых ими ремесленников и крестьян, вырванного из трудовой жизни паразитического пролетариата. Не случайно разные „тираны" греческих городов и римские императоры, достигшие трона нелегальными путями, чтобы укрепить свою власть, прежде всего старались украсить отечество храмами, публичными зданиями грандиозной архитектуры, воздвигнуть новые статуи на улицах, площадях и гуляньях, и т. под. Организационный смысл искусства, если и не сознавался ясно вследствие отвлеченного фетишизма, то инстинктивно чувствовался в ту эпоху.

Богатство высших классов, их жадное стремление усложнять и разнообразить удовольствия жизни порождало и помимо того огромный спрос на художественные произведения, что давало другую экономическую опору для искусства.

е) *Политически-правовая жизнь классического мира.*

— Чем об‘ясняется огромное развитие политической жизни в античном обществе?

— Разнородностью его состава и возникавшими отсюда сложными столкновениями интересов разных его слоев. Оно было уже классовым обществом. Имелась рабовладельческая аристократия, с крупными предприятиями, земледельческими, промышленными и ростовщическими. Имелись несравненно более многочисленные ремесленники и крестьяне, разоряемые конкуренцией рабовладельческих предприятий и ростовщичеством богачей. Был также класс торговцев, одинаково ненавистный всем остальным, благодаря огромной торговой прибыли, которую он брал с них за посреднические услуги. Образовался с течением времени из разорившихся крестьян и ремесленников, а также вольноотпущенных рабов, паразитический пролетариат, переполнивший города. Каждый класс отстаивал свои интересы и потому должен был организоваться; а для этого городская жизнь, процветавшая в тогдашнем обществе, давала подходящие условия. Политическая организация и политическая борьба являлись формою, в которой происходило отстаиванье классовых или групповых интересов, как это наблюдается и в наше время.

Рабы не были классом, а были сословием, исключенным из общества и поставленным вне политической жизни. Если в ней они и принимались в расчет, то лишь в том смысле, что вызывали со стороны всякой общественной власти заботу об удержании их в полной покорности. Когда древние определяли человека, как „животное политическое“ (или „гражданское“), то при этом само собою подразумевалось, что раб — не человек.

— Каковы были формы политического устройства?

— Разнообразные, в зависимости от соотношения сил боровшихся классов, и значит — от организованности их

партий. Вначале преобладают аристократические республики: это—господство аристократии, оставшейся от феодального периода, сильной своим богатством и той ростовщической задолженностью, в которую она привела бедный класс населения. Это, по существу, авторитарная организация; но в ней исчезает цепь авторитетов (сюзеренов — вассалов), а властители об'единяются в „республиканский" союз, на основе, уравнивающей силы денег и общего классового интереса.

Затем организуются низшие слои населения, городская демократия. По своей численности они—главная военная сила общества, а тем самым, несмотря на свою бедность, и основа его экономического могущества; ибо и рабовладение черпало рабочую силу из победоносных войн. Поэтому, организовавшись, демократия становится властительницей государства, сначала под руководством „тиранов", как вождей в ее борьбе; а затем, так как они, захватили власть, неизбежно изменяли народу, демосу, он, политически воспитавшись и подготовившись, организовал демократические республики. Это была эпоха расцвета.

Упадок, начавшийся затем, привел мало-по-малу к вырождению высшего класса на почве паразитизма, к обессилению демократии путем разорения крестьянства и ремесленников конкуренцией рабского труда, ростовщичеством, войнами, налогами. Старые политические партии деморализовались, превратились в простые клики любителей наживы; для республики, аристократической или демократической, одинаково не было опоры. Сохранялась еще одна организованная сила: римская армия, при республике завоевавшая весь тогдашний „круг земель" и продолжавшая охранять государство от надвигавшихся варваров. Армия и дала обществу новую политическую форму, конечно, авторитарную, потому что сама армия организована авторитарно. Это была основанная полководцами империя, с ее бюрократией. Ей суждено было довершить и систематизировать огромную работу преды-

дущих веков по созданию стройной системы права,— но также довести античное общество до окончательного крушения.

— Что представляла система римского права, и в чем ее историческое значение?

— Риму пришлось организовать гигантское государство, привести к единству разнообразные, сложные и противоречивые социальные отношения множества стран и народов. В этой грандиозной работе он и создал ту систему норм, которая называется римским правом, и которая отличалась поразительной полнотой, внутренней последовательностью, точностью выражения.

Дух римского права или его организующее начало, это—неуклонно его проникающий принцип частной собственности. Экономическая связь античного общества в его целом была меновая, и каждое его хозяйство имело основой индивидуальную собственность на средства производства, была ли то собственность, например, крестьянина на его орудия и участок земли, или рабовладельца—не только на орудия и землю, но также на рабов, как одно из орудий. Даже семейные отношения приобрели тот же характер—полной или ограниченной собственности отца на детей, мужа на жену. Естественно, что римское право явилось законодательным отражением и закреплением такого порядка вещей; и во всех странах, где оно вслед за римским завоеванием вновь применялось, оно было орудием перестройки общественных отношений в том же смысле — в духе частной собственности.

Ту же роль, но в еще более широких размерах, сыграло оно впоследствии, на переходе от средневекового феодализма к новому меновому обществу, не рабовладельческому, а капиталистическому, но также, разумеется, основанному на частной собственности. Введение римского права в одной стране за другою служило средством разрушения старых, феодальных форм организации, замены их буржуазными. Этим был сильно ускорен ход развития.

f) *Христианство—мировая религия конца античной эпохи.*

Чем об'ясняется усиленное искание и созидание новых религий в периоде упадка классического мира?

— Дезорганизация жизни тогда сильно ощущалась всеми классами общества—одними, как тяжелое пресыщение паразитов, теряющих способность наслаждаться, другими—как мучительное истощение угнетенных, не видящих выхода из бедствий. Там, где идет и чувствуется дезорганизация, вполне естественно искать новых организующих форм; а таковы, мы знаем, именно формы идеологические. Искания в области науки были подорваны разрывом между наукой и производительным трудом, который есть ее действительная основа; искания философские развились значительно, но лишь в узких кругах образованных людей. В массах преобладало мировоззрение религиозное; и потому для религиозных исканий опора была несравненно более широкая. Об'единение множества религий под властью Римской империи давало богатейший материал для творчества. Народы заимствовали друг у друга богов, культы, догмы; секты росли, множились, изменялись, разрушались, и на их месте вырастали новые; столкновения и взаимодействия вер и суеверий порождали настоящий религиозный хаос. В конце-концов из него кристаллизовалась и выплыла, побеждая и вытесняя остальные религии, одна новая, которой суждено было сделаться мировою: христианство.

— Откуда произошло христианство?

— Оно возникло первоначально в виде маленькой секты среди евреев Палестины, именно среди пролетариев; их было немало в этой стране, экономически ослабленной и общими причинами тогдашнего мирового упадка, и хищническим владычеством римской бюрократии. Первые христиане жили тесно сплоченными, настоящими общи-

нами: в них все было общее. Коммунизм в древности, как и всегда позже, был свойствен, конечно, не классам собственников, хотя бы и мелких, но классам, лишенным собственности; таковы были тогда свободный пролетариат— не трудовой, а паразитический, в роде босяков,—и рабы. Выйдя из Палестины, новое учение со своей коммунистической организацией широко разлилось по древнему миру, привлекая массы пролетариев и еще больше—рабов. Коммунизм был потребительного характера: он заключался не в устройстве каких-либо производительных ассоциаций, а в общих трапезах, во всяческой жизненной поддержке членов организаций, в братском распределении притекавших пожертвований. Впоследствии, под влиянием трудовых элементов,—рабов и нарождавшегося класса колонов, т. е. земледельческих крепостных и полу-крепостных, а также вовлеченных в секту ремесленников, крестьян,—стали развиваться и производительные ассоциации, „монастыри". Мало-по-малу христианство охватило весь древний мир, и сделалось религией всех его угнетенных классов.

Римская империя сначала боролась против христианства жестокими гонениями, опасаясь могущества новой организации; но затем, убедившись в его силе и неистребимости, признала его и об'явила государственною религией, чтобы получить на него влияние и чтобы пользоваться его поддержкой. Это был правильный для государства образ действий, потому что в христианстве не было практической революционности: оно являлось идеологией безнадежно угнетенных, по преимуществу—рабов, и призывало не к активной борьбе против существовавшего строя, а к покорности и терпению. Оно, правда, ожидало переустройства жизни в пользу страдающих и обремененных—учение о втором пришествии,—но ожидало свыше, не предлагая бороться за него, не намечая путей к нему.

— Как сложилась самая доктрина христианства?

— При своем возникновении оно представляло секту еврейской религии, многие элементы которой и сохранило, большей частью, однако, в новом смысле и значении. Таково было особенно учение о Мессии, вожде-спасителе, воплощавшее для евреев мечту об освобождении от чужеземного, тяжелого ига, а для христиан—жажду спасения, очищения, новой организации всего тогдашнего мира, который разлагался и погибал. Затем, разливаясь по „кругу земель“, оно включало в себя массу разнообразнейшего идейного материала. Исследования ученых специалистов установили в нем наличность многих образов и понятий, существовавших раньше в греческой, и еще больше в восточных мифологиях, так же в античной философии, особенно школы Платона. Это богатство содержания было результатом распространения новой религии, но затем и одною из причин дальнейших ее побед, ее мирового захвата.

Идеи христианства были выражены и развиты по преимуществу свободными людьми—пролетариями, и отчасти представителями имущих классов, примкнувшими к новой вере. Рабы, слишком задавленные неволей и эксплоатацией, редко являлись идеологами-творцами. Однако, именно их жизненные условия всего сильнее отпечатлелись в христианстве. Представление об устройстве мира там выработалось глубоко авторитарное: беспредельная, руководящая вселенною власть, и люди—ее рабы, независимо от своих свойств и положения. О том же говорит и нравственное учение, проникнутое духом кротости, смирения, непротивления; оно далеко не настолько соответствует настроению тогдашних паразитических пролетариев, с их вовсе не мягкими, часто буйными нравами, с их пристрастием к жестоким зрелищам, в роде гладиаторских игр,—сколько настроению рабов, беззащитных жертв чужой жестокости, далеких даже от мысли о борьбе.— Влияние рабов, а не „пролетариев“, сказалось и в замечательной, по тем временам, организованности движения: пролетарии-босяки всегда к ней мало способны, рабы же воспитаны в строгой дисциплине.

— Каким же образом христианство могло стать общею религией разных угнетенных жизнью классов?

— В утешающем учении о другой жизни, о превращении последних в первых, равно как и во всем богатом идейном материале христианства было многое, удовлетворявшее равно все эти классы. Да и самые границы между ними в жизни стирались: среди пролетариев имелись и разоренные мелкие хозяева, и вольноотпущенные рабы. Никакой борьбы между низшими классами не было, униженное положение сближало их, и потому могла выработаться общая идеология.

— Почему эта идеология удержалась после крушения античного мира и осталась религией средневекового феодализма?

— Потому, что сохранилась организация церкви, как наиболее прочная из всего общества. А ее учение приспособилось к новому, феодальному строю: католицизм Средних веков во многом отличается от древнего христианства. Переход из религии рабов и пролетариев в феодальную облегчался тем, что мировоззрение и той и другой строго авторитарное.

III. Переходные формы: 1) Крепостная система. 2) Ремесленно-цеховой строй. 3) Торговый капитализм.

а) Техника и экономические отношения.

— Какие причины вызвали смену феодальной организации новыми формами на исходе Средних веков и в начале Нового времени?

— Прогресс техники и общественного разделения труда, выразившийся в развитии товарного обмена.

В сельском хозяйстве техника оставалась застойной, орудия и приемы земледелия почти или совсем не совер-

шенствовались. Но происходил рост и улучшение методов ремесленного производства; оно отрывалось от деревни и сосредоточивалось в городах. Вместе с тем города становились по преимуществу рынками, центрами торговли как ремесленными продуктами, так, разумеется, и земледельческими, доставляемыми из деревни и необходимыми для самого существования города. Следовательно, в общественное разделение труда вовлекалась, при всей своей отсталости, и деревня путем превращения ее продуктов в товары для городского рынка.

Этот процесс перехода феодального общества в меновое шел в течение нескольких веков, порождая на своем пути промежуточные общественные формы: ремесленно-цеховой строй в городах, крепостное хозяйство в деревне, а затем господство торгового капитала, преобразовавшее ту и другую организацию.

— Почему в городе и деревне, двух областях одной общественной системы, получилось разное общественное устройство?

— Деревня по своей экономической отсталости не могла сбросить или хотя бы ослабить владычества феодалов; город же, быстро развивавший свою промышленно-торговую жизнь, накопил силы, позволившие ему успешно бороться против феодального ига—откупаться от него или свергать его оружием. В деревне, поэтому, вторжение обмена вначале только усилило эксплоатацию: феодал, имея возможность превращать прибавочный продукт в деньги и покупкою разнообразных товаров расширять свои потребности, старался извлечь из крестьян наибольшую сумму прибавочного труда, увеличивал барщину и оброк. Крестьяне от новых тягот часто бежали из деревни, и потому были затем прикреплены к земле; так и возникло крепостное право. Города же, напротив, организуясь для самозащиты от феодалов, выработали более свободный строй: сначала аристократический, под руководством торговых гильдий—денежной знати, потом демократический, под управлением ремесленных цехов,—путь,

аналогичный тому, какой прошли города античного мира, но только на этот раз без рабства.—Естественно, что в торговле между городом и деревнею город, стоявший на более высокой ступени развития, эксплоатировал деревню, т.-е. продавал свои товары выше их стоимости.

— Какое место занимали авторитарные отношения в жизни деревенской и городской?

— В деревне они продолжали господствовать почти в полной мере, при чем утратили всякий остаток патриархальности, стали гораздо суровее, чем прежде: жажда денег направляла весь интерес помещика в сторону эксплоатации, забота о благосостоянии крестьян почти отпала. В городе же на первый план выступили меновые связи; однако и авторитарные сохраняли большое значение: организация каждого в отдельности ремесленного или купеческого хозяйства строилась на них попрежнему; власть хозяина над членами семьи и над другими, введенными в предприятие, сотрудниками—подмастерьями, учениками, приказчиками—была приблизительно в том же роде, как некогда власть патриарха над общиною, правда, и с тем же смягчающим родственным характером.

— В какой форме проявляется власть торгового капитала?

— Это—власть скупщика или кулака над мелкими производителями. Торговый капиталист—посредник между ними и рынком; он покупает на местах, для перепродажи, продукты у крестьян, кустарей, ремесленников, доставляет им материалы, орудия, при случае—в качестве ростовщика—деньги для поддержания хозяйства. Трудность добраться помимо него до рынка, а затем—задолженность ставят их во все более полную зависимость от торгового капиталиста, и он получает возможность диктовать им все условия производства, т.-е. на деле руководить их трудом, хотя по видимости они остаются самостоятельными хозяевами.

На более высокой ступени торгового капитализма предприниматель прямо раздает материал и работу на дом

подчиненным мелким производителям и платит им за продукт сдельно, по заранее им установленной цене. Это— так называемое „домашне - капиталистическое производство“.

Эксплоатацию торговый капитал доводит до крайней степени, потому что его силе—экономическому „закабалению“—мелкий производитель не может ничего противопоставить.

— Какие изменения в общественном строе порождаются торговым капитализмом?

— Собирая продукт мелких производителей для массовой продажи, заставляя их своей эксплоатацией увеличивать производство и усиленно специализироваться, он расширяет и углубляет общественное разделение труда; проникая повсюду, он всюду распространяет меновое, денежное хозяйство и вытесняет тем самым остатки феодального хозяйства и быта.

Раздробленная феодальная власть стесняет капитал в его движениях, в перемещениях товаров и торговых операциях. Поэтому он поддерживает крупных феодалов— королей, великих князей—в деле покорения мелких или „собирания земли“. Городская ремесленная демократия также, в интересах экономической безопасности и свободы обмена, поддержала собирателей земли. Феодалы были покорены, создалась абсолютная монархия или полицейско-бюрократическое государство.

Затем торговый капитализм стал подрывать крепостное право. Власть помещиков в деревне и необузданная эксплоатация ими крестьян мешали свободно развернуться торговому капиталу с его аппетитами. Так как крепостное право не было выгодно никому, кроме помещиков, да и те начинали искать новых способов эксплоатации, потому что старые слишком истощали деревню, к невыгоде самих же помещиков, то борьба общественных сил привела, наконец, к падению крепостного права в одной стране за другою.

b) Общий характер идеологического развития эпохи.

— Как вообще можно характеризовать идеологии эпохи?

В соответствии с экономическими отношениями, они—переходные. Они полны смешанных, и даже частью противоречивых форм. Авторитарное мышление с отвлеченным, религиозное, с научно-философским то сплетаются так, что нужен очень тщательный анализ, чтобы их разделить, то сталкиваются, как резко враждебные силы.

Тенденция развития такова, что с начала и до конца эпохи, лишь с некоторыми колебаниями, формы авторитарно-религиозные отступают перед отвлеченно-фетишистическими,—однако, и в последних ее стадиях сохраняют еще огромную роль в жизни.

— Какие главные моменты следует отметить в этом идеологическом развитии?

— Во-1-х, великие открытия и изобретения эпохи; во-2-х, воскрешение классической культуры; в-3-х, ереси и Реформацию. Все эти три момента трудно разграничить во времени, так как перевороты в разных областях культуры шли параллельно.

c) Великие открытия и изобретения.

— Чем была вызвана полоса открытий и изобретений изучаемого периода?

— Практическими исканиями, возникшими из новых экономических потребностей. Жажда денег и нужда в рынках были основными двигателями этих исканий.

Жажда денег вообще свойственна товаропроизводителю, а тем более—капиталисту. Деньги—орудие обмена товаров, и потому наиболее полное, наиболее чистое воплощение меновой ценности: на них можно купить что угодно, всякий товар стремится к обмену на деньги; но

при покупках они истрачиваются, а с ними—экономическая сила их владельца. Отсюда—желание иметь и приобретать как можно больше денег, переходящее у капиталиста, особенно торговца или ростовщика, в настоящую страсть накопления—своеобразный „меновой фетишизм чувства".

Но, помимо этого общего закона, жажду денег обострял еще в те времена действительный их недостаток в системе рынка. Количество золота и серебра в Европе сильно уменьшилось за период средневекового феодализма. Добывание их, которое не было значительным и в античную эпоху, пришло совсем в упадок, благодаря как бесчисленным грабительским войнам эпохи, так и просто истощению старых рудников. Раньше накопленные запасы денежных металлов сильно растаяли: часть исчезла в ряду веков путем стирания монет, часть затерялась в виде „кладов", зарытых в земле во время разных междоусобий, часть ушла к купцам восточных стран в уплату за предметы роскоши для европейских феодалов. Когда общественное хозяйство стало вновь принимать товарно-меновую форму, денег, как покупательного и платежного средства, оказалось мало для возросшей во много раз потребности в них. Это было большим стеснением для менового процесса. Ценность золота и серебра чрезвычайно возрасла, и началось усиленное искание новых источников их добывания или приобретения.

Отсюда и стремление найти новые рынки, особенно такие, которые были бы обильны золотом и серебром. Торговый капитал быстро развивал массовое производство для рынка; но покупательная сила этого рынка, пока он ограничивался Европою, не могла расти с такою скоростью.

— Каким же именно путем искание денег и рынков вело к изобретениям и открытиям?

— Вопрос о добывании золота и серебра послужил могучим толчком к исследованию природы вообще; вопрос о рынках—к дальним путешествиям, сухопутным и особенно океаническим, какие не предпринимались раньше,

По первому методу работали алхимики, по второму—авантюристы-открыватели земель. Те и другие были представителями одного исторического настроения, однородной психологии.

Именем „алхимии“ обозначались в те времена все знания о природе веществ и жизни, зачатки химии, минералогии, физиологии, патологии, не обособленные тогда друг от друга, и в наибольшей части заимствованные у арабов, которые в свою очередь взяли основы своих натуралистических знаний от греков. Целью занятий алхимией ставилось отыскание „философского камня“, превращающего неблагородные металлы в золото и дающего обладателю возможность неограниченно длить свою жизнь. Это был, в сущности, просто символ для выражения могущества науки; но мышление, воспитанное феодальным средневековьем, понимало еще символы не отвлеченно, а образно, принимало их за живые реальности; и жажда золота оживляла научную деятельность алхимиков.

Через алхимиков перешли в Европу с востока важные технически-научные приобретения, такие, как приготовление кислот, писчей бумаги, многие медицинские средства, и т. п. Со своей стороны, алхимики, стремясь путем опытов проникнуть в природу вещей, делали важные и полезные открытия; из них на первом плане надо поставить приготовление пороха, с его огромным влиянием на ход борьбы нового общества против силы военных феодалов. Подобные открытия, хотя не вели к основным целям алхимии, не затеривались, однако, в лабораториях алхимиков, а распространялись в обществе и находили широкое практическое применение; в этом сказывалась прогрессивная тенденция, вносимая в жизнь меновыми отношениями.

Индия в древности являлась для Европы главной поставщицей денежных металлов; но прямые, сухопутные связи с ней были разорваны мусульманским завоеванием промежуточных стран—Византии, Малой Азии, Сирии, Персии. Предания об Индии приобретали в средневековой

Европе полумифический характер, и в начале Нового времени отыскание морского пути в нее сделалось заветной мечтой смелых мореплавателей—купцов и авантюристов. Индия была для них таким же золотым идеалом, как философский камень для алхимиков; и здесь также, в поисках идеала, было найдено очень многое, чего не искали: целый ряд неизвестных раньше стран Америки, затем вся Африка и еще новые страны Азии, Океания. Была в том числе найдена и сама Индия—не мифическая, а реальная; но еще за шесть лет до того, как в нее проник Васко де-Гама, Колумб, открывая Америку, был уверен, что нашел ту же Индию.

— Какую роль сыграло искание новых рынков в развитии научных методов и знаний?

— Оно тоже послужило двигателем целого ряда исследований и открытий. Так, трудности океанического мореплавания требовали новых, более совершенных способов ориентировки на море, чем те, какими могло довольствоваться прежнее плаванье, направлявшееся, главным образом, вдоль берегов. Возникло применение компаса и затем, в связи с ним, изучение магнетизма вообще.—Далее старые астрономические таблицы, дошедшие от древних астрономов, уже стали негодны для определения места и направления в пути, потому что их первоначальные неточности, накопляясь в ряду веков, возросли до значительных размеров. Один испанский король в XIII веке организовал поэтому коллективные работы нескольких десятков ученых для составления новых таблиц. Из этих таблиц впоследствии произошел величайший научный переворот: изучая их с целью возможно точнее и проще установить их закономерности, Коперник в XУ веке пришел к своей теории вращения земли вокруг солнца.

Аналогичные побуждения привели к усовершенствованию угломерных инструментов, при помощи которых составляются и практически применяются звездные таблицы, а также важнейшего астрономического орудия—часов. При феодальном и даже еще при вольно ремеслен-

ном способе производства часы являлись излишней роскошью: достаточно было приблизительного расчета времени на-глаз по положению солнца и звезд. Но в дальних путешествиях и плаваньях точные часы—незаменимый инструмент для определения долготы, и вообще для операций ориентировки.

В связи с теми же условиями путешествий и потребностями практической астрономии выступили, далее, изобретения в области оптики: зрительные трубы, телескопы и т. п. орудия точного наблюдения и измерения.

Как видим, искание рынков само по себе вызвало огромный прогресс научных методов в различных отраслях. А затем открытие обширнейших стран, с иной, богатой природою, дало европейцам гигантское поле нового опыта, неиспытанных раньше впечатлений, а отсюда—новых знаний и мыслей.

— Какое техническое изобретение эпохи имело исключительно большое влияние на ход идеологического развития?

— Книгопечатание (середина XV века). Оно быстро сделалось могущественнейшим методом распространения новых идей, и в области культуры нанесло еще более сильный удар остаткам средневековья, чем применение пороха в области материальной борьбы общественных сил.

— Заключалась ли такая громадная идеологическая сила в книгопечатании самом по себе?

— Нет, разумеется. Изобретение это, технически простое, сводящееся к употреблению подвижных букв для печати, тогда как раньше пользовались только неподвижными знаками, гравированными на досках, получило свое значение от социально-исторической обстановки. Если бы оно было сделано двумя-тремя веками раньше, когда знания и даже грамотность являлись привилегией немногих избранных, оно осталось бы бесплодным: не для кого было печатать. Гуттенбергу и в голову не пришло бы

найти выгодным приготовление букв и процесс набора, если бы в его время не было огромного спроса на рукописные книги. Спрос же этот создался в результате начавшейся в ту эпоху **демократизации знаний**.

d) Первые шаги демократизации знаний.

— **Насколько были распространены в обществе знания к концу Средних веков?**

— Не только для крестьянской массы, но и для светских феодалов глубочайшее невежество было правилом, простая грамотность—редким исключением. Это и не составляло практического неудобства: тогдашнее хозяйство, с его однообразно повторявшимися отношениями людей, с его застойной техникой, легко обходилось обыденным, устно передававшимся опытом и почти не нуждалось в письменности. А если возникал необычный случай, когда требовалось ее применение, то дело брал на себя жрец, который заботливо сохранял от непосвященных монополию своих „высших знаний“.

— **Могло ли продолжаться такое положение при развитии обмена товаров?**

— Нет, условия тут изменились. Обращение товаров и кредит, по мере своего расширения, порождали потребность и в точном счете, и в применении письменных документов — расписок, долговых обязательств и т. п. Грамотность становилась необходима товаропроизводителю для сколько-нибудь успешного выполнения функций, связанных с рынком.

— **Значит ли это, что вместе с денежным хозяйством элементарное образование распространилось в массах народа и стало всеобщим?**

— Нет, до этого было еще далеко. Эпоха была переходною: меновые отношения завоевывали шаг за шагом господство, но еще во многом и многом жизнь опре-

делялась не ими. Напр., очевидно, что во времена крепостного права большинство крестьян, вовлеченное в товарообмен косвенно, через помещика, продававшего на рынке полученный с них прибавочный продукт, могло и должно было коснеть в прежнем невежестве; и помещики в своих интересах заботились об этом. Даже после освобождения крестьян повсюду требовалось еще долгое время, чтобы грамотность охватила всю их массу, и это вообще не было достигнуто в пределах периода торгового капитализма.

Но все же произошла очень большая перемена. Те знания, которые мы теперь называем „начальными", быстро перестали быть привилегией немногих и сделались довольно обычными, по крайней мере, среди горожан, а также захватили в крестьянстве верхние слои, специализировавшиеся на торговле и ростовщичестве, слои „кулаков", „богатеев".

При этом темнота и невежество остальной массы послужили для торгового капитала могучим орудием ее закабаления, а затем и разорения, подготовлявшего дорогу высшей форме—промышленному капиталу.

— Ограничивался ли процесс распространения знаний одной грамотностью?

— Нет, он касался и знаний более сложных. Мы уже видели, напр., насколько все торговое мореплавание нуждалось в астрономии, математике и т. п. Искание рынков и разраставшиеся связи с отдаленными странами, а также часто ощущавшаяся зависимость рыночной кон'юнктуры от политических условий—государственных мероприятий, войн, договоров о таможенных тарифах—толкали к ознакомлению с географией, иностранными языками, историей, к изучению законов и обычаев. Многочисленность и разнообразие обращавшихся товаров, необходимость разбираться в их качествах и способах производства делали практически необходимыми в торговле разные другие отрасли технических наук и связанных с ними естественных. Зависимость лю-

дей от рынка, изменчивость конъюнктуры заставляли общественную мысль работать над экономическими вопросами, и зарождавшиеся знания в этой области вызывали живой интерес в передовой публике.

Конечно, распространение более сложных научных знаний было уже, чем простой грамотности. Но все они не могли уже быть привилегией того или иного сословия, а равно не могли носить священно-традиционного, мистического характера „высших“, жреческих знаний феодальной эпохи.

Книгопечатание приобрело свою силу, как мы видели, от этой начавшейся демократизации знаний; но затем оно же явилось ее самым могущественным орудием.

— На какие рамки или препятствия наталкивался процесс демократизации знаний?

— С одной стороны, сопротивление феодальных классов, сеньоров светских и жрецов: для них невежество масс было социальной опорою, жизненной необходимостью. С другой стороны—превращение знаний в товар, который приходится покупать ценою денег; это еще долго преграждает путь к образованию самым многочисленным слоям общества, особенно же в эпоху систематического их разорения торговым капиталом.

Но все-таки, через все трудности, порой с колебаниями, демократизация науки шла уже тогда: жажда знаний, как силы, помогающей личности пролагать себе дорогу в социальной борьбе, разливалась в обществе.

е) Возрождение классических идеологий.

— Какой исторический смысл имело воскрешение остатков античной культуры?

— Античная культура была создана обществом если не вполне, то в значительной мере меновым, и притом теми его слоями, которые жили по преимуществу в сфере

денежно-товарных отношений. Феодальное общество Средних веков, пришедшее на смену античному, было не меновым, а натурально-хозяйственным, и потому лишь в малой степени могло воспользоваться культурным наследством Древнего мира. Когда на заре Нового времени вновь начала складываться товарно-меновая организация, то потребовалась вновь и меновая идеология; а она была высоко выработана классическим миром. Таким образом, нарождавшееся общество в остатках древности находило для себя массу готовых организующих форм, которые как нельзя легче могло частью прямо применить, частью приспособить к своим условиям, изменивши постольку, поскольку его формы отличались от форм античного общества.

Выработка всякой идеологии вообще достигается лишь ценою огромной и длительной работы; а особенно это относится к сложнейшей идеологии буржуазного общества, полного противоречий. Поэтому легко себе представить, насколько важное сбережение социальной энергии получалось благодаря воскрешению античной культуры, насколько облегчалось и ускорялось им социальное развитие. В этом заключалось тогда революционное значение возрожденного классицизма. Так и в наше время отсталые страны, выступающие на путь промышленного капитализма и классовой борьбы, не вырабатывают каждая заново свои классовые идеологии, а заимствуют их у стран более старой капиталистической культуры, лишь несколько изменяя сообразно своим особенным условиям, сберегая иногда целые столетия для своего развития.

— Что такое „схоластика“, и какую роль она играла в возрождении классической древности?

— Буквально это слово значит „школьная наука“. Она преподавалась в средневековых университетах, и первоначально была средством подготовки духовных пастырей. Тогда она сводилась к истолкованию священных книг, а также произведений Аристотеля, относящихся

к логике; эти произведения языческого философа сохранились в школьной науке потому, что давали правила точного истолкования, доказательства, дедукции на основе раз принятых истин; а это требовалось для широкого использования непреложных учений религии в церковной проповеди и вообще в жреческой деятельности. Схоластика была, как тогда выражались, служанкой богословия.

Веку к XII—XIII до схоластиков дошли через арабов и другие произведения Аристотеля, образующие своего рода научно-философскую энциклопедию древности. Феодализм уже разлагался, и католическое богословие было недостаточной идеологией для новых отношений. Наука и философия Аристотеля встретили горячий прием и вызвали переворот в схоластике, которая стала искать истины и на новом пути, что породило в ней немало прогрессивных для того времени, а следовательно, еретических идей. Схоластика тогда прокладывала путь для нового мировоззрения, а в частности—для гуманизма, стремившегося воскресить все великие идеологические творения древнего мира, о культурной силе которого можно было судить по гению Аристотеля.

Впоследствии, когда на сцену выступили течения более широкие и глубокие—гуманизм, реформация,—схоластика пришла в упадок и выродилась в то, что обыкновенно называют теперь этим именем: бессодержательное упражнение в логических тонкостях, стремящееся из каких-нибудь заранее принятых „истин“ выводить неограниченное количество новых,—на деле, разумеется, либо не новых, а уже заключающихся в том, что было признано, либо выведенных не научно, произвольно, с помощью чисто словесных ухищрений.

— Что представлял „гуманизм“?

— С внешней стороны гуманизм характеризуется интересом к произведениям античного искусства, науки, философии: разыскиванием того, что от них осталось, их изучением, подражанием их образцам. В действительности он представлял нечто гораздо большее,—иначе и не

сделался бы необыкновенно широким, по тем временам, и влиятельным культурным течением. Гуманизм был первой попыткой нового европейского общества систематизировать индивидуалистическое мировоззрение. Он сознательно ставил своей целью „humana“, „человеческое“ (отсюда и слово „гуманизм“), в противоположность „божественному“, „divina“, царившему до тех пор безраздельно над жизнью.

Другими словами, человеческая личность, с ее особыми интересами, с ее жаждой силы, знания, красоты, счастья, заявляла свои права, противопоставляя их правам авторитарной традиции, подавляющей опеке католицизма. Большей частью, вначале, это не был еще прямой, открытый бунт против самой феодальной религии: гуманисты хотели, главным образом, того, чтобы вне религиозной сферы обязанностей человек мог жить „человеческим“, чтобы свою „мирскую“ жизнь люди устраивали без вмешательства католической церкви. Но это значило—свести роль духовенства к делам культа и благотворительности, тогда как раньше оно было мирным организатором всей общественной жизни. Естественно, что в дальнейшем борьба разгоралась и обострялась: из рядов гуманизма вышли многие крупные деятели ересей и реформации, чаще умеренные, но иногда и такие решительные бойцы, как Ульрих фон-Гуттен.

— Если гуманисты искали в античной культуре всецело „человеческого“, то как относились оно к столь сильным еще в ней элементам „божественного“, т. е. к ее авторитарной и религиозной стороне?

— Частью они принимали и эти элементы, потому что сами еще являлись идеологами промежуточных форм; напр., древнее рабство для большинства из них казалось вещью естественной и понятной, как и крепостное право вокруг них. Что же касается собственно религиозно-языческой стороны древнего искусства и литературы, то для воспитанных в христианстве гуманистов она не могла

иметь того значения, как для самих греков и римлян, а воспринималась как своего рода художественное украшение. Это особенно заметно на подражательных произведениях самих гуманистов, где нередко языческие боги и католические святые перемешиваются и выводятся вместе причудливым образом.

— Ограничивался ли гуманизм только изучением древних образцов и подражанием им?

— Нет, он был таков разве лишь в самом начале. Гуманисты были людьми своего времени, жили его интересами, старались удовлетворять его потребностям. Многие являлись публицистами, обличителями недостатков общественной жизни, как знаменитые Эразм и У. фон-Гуттен; в Италии задолго до них Бокаччио в остроумно-сатирической форме осмеивал пороки католического духовенства и даже феодальных сеньеров. Тот же Бокаччио занимался один из первых научно-популяризаторской работой, мечтал об энциклопедии знаний, делал даже сам попытки в этом направлении. Другие гуманисты работали в разных областях науки, иные были политиками и социологами, как один из позднейших, Томас Мор, автор „Утопии". Из древней идеологии они черпали средства, чтобы выражать и оформливать новые практические тенденции, чтобы все решительнее критиковать отживающее с новой точки зрения. Подражательная форма их литературы не мешала исторической оригинальности ее содержания, и с развитием гуманизма уступала место формам все более самостоятельным, вырабатывавшимся заново.

Новое искусство, пройдя через школу античного, обучившись его художественным приемам, в свою очередь пошло дальше независимыми путями; выражая иную жизнь, иные настроения, оно по богатству содержания и красоте форм оказалось вполне достойно классических образцов, частью даже их превзошло. Гениальное творчество эпохи Возрождения и нынешним поколениям представляется недосягаемо высоким.

Все культурно-революционные течения развиваются аналогичным образом: они сначала пользуются старыми, готовыми формами, чтобы вкладывать в них свое новое содержание; но по мере его роста создают иные, оригинальные, более приспособленные к нему.

— Какое значение в жизни тогдашнего общества имела рецепция („принятие) римского права?

— Она также отнюдь не была делом простого подражания. Дело шло вовсе не о том, чтобы воссоздать античные формы гражданской жизни, а о том, чтобы поддержать и укрепить нарождавшуюся буржуазную организацию, во многом отличавшуюся от древней рабовладельческой. Римское право должно было, главным образом, кристаллизовать и упрочить частную собственность, являющуюся основой буржуазных отношений, как она являлась раньше основою рабовладельческих.

Феодализм и недостаточно развил частную собственность, и недостаточно ее ограждал. Собственность на землю оставалась еще во многих случаях общинной или неопределенной: значительная часть земли находилась в мирском владении крестьян, часть—в совместном пользовании у них с помещиками. Римское право послужило орудием уничтожения таких форм; в массе случаев это повело к экспроприации крестьян: занятые ими земли об'являлись собственностью их помещика, данною им лишь в пользование; помещик мог сгонять их, мог „огораживать“ для себя земли, находившиеся в совместном у него пользовании с ними, и т. п. Римское право помогало помещикам превратить вассальных крестьян в крепостных помещичьей земли, а затем, когда это стало выгоднее—заменять их вольными арендаторами или наемными батраками.

В то же время римское право должно было и ограждать индивидуальную собственность, положение которой при феодальном праве оказывалось на каждом шагу неустойчивым и ненадежным, уже в силу огромного разно-

образия норм, ее регулировавших: вопросы о спорном имуществе, о наследовании и т. п. в одних местах решались, по обычаям, так, в других—иначе; и для произвола судебной власти, находившейся чаще всего в руках феодалов, открывался неограниченный простор. Римское право внесло определенность и единство в имущественные отношения.

f) Ереси и Реформация.

— **Откуда происходили ереси в католической церкви?**

— Католицизм, как и наше восточное православие, был христианством, переработанным применительно к феодальному строю: он представлял организацию мира в образе цепи сюзеренно-вассальных отношений, высшие звенья которой были образованы иерархией святых; он проповедывал массам добродетели смирения и терпения, соответствующие условиям их жизни при феодализме; он давал духовенству неограниченные руководительские права в обыденной жизни, подкрепленные знанием всех отношений паствы, получавшимся через исповедь, и т. д. Когда развитие меновых связей начало расшатывать феодализм, тогда его религиозная идеология перестала удовлетворять не только передовых и образованных людей, которые могли найти путь к античной культуре, но и массы, поскольку они втягивались в обмен товаров, в новые экономические формы жизни. Мировоззрение масс было еще всецело религиозным; понятно, что и потребность в новых идеологиях вылилась там в религиозные искания. Отсюда и возникло огромное большинство ересей. Они зарождались чаще всего в экономически-передовых областях; так, одна из ранних, альбигойская ересь, затопленная потом в крови еретического населения, охватила юг Франции, где особенно по тогдашнему времени процветали ремесла, садоводство и связанная с ними тор-

говля. Ереси являлись зародышевой стадией меновой идеологии.

— В чем обнаруживался такой характер ересей?

— Они проповедывали христианскую нравственность, равную и обязательную для всех, а не различную по сословиям,—требовали, чтобы и высшие сословия проявляли любовь, кротость и смирение и не налагали на народ слишком тяжелое бремя терпения. Ереси восставали специально против организаторских привилегий духовенства и против колоссального обогащения его корпораций,—часто также и против безбрачия, облегчавшего это обогащение. Затем, ереси покушались и на католическое представление об организации мира,—отрицали значение святых, которые были, в сущности, для тогдашнего католического сознания низшими божествами в религиозно-феодальной их цепи. Борьба против духовенства, его власти и эксплоатации стояла на первом плане, хотя это не всегда ясно для позднейшего исследователя, благодаря символическим способам выражения. Напр., гуситы (последователи чешского проповедника Яна Гуса, в начале XV века) одним из главных требований выставляли причащение мирян „под обоими видами“ (тела и крови Христовых), тогда как у католиков под обоими видами причащается лишь духовенство, а миряне—под одним (тела Христова). В действительности это требование символизировало вообще уничтожение привилегий духовенства, и из него делался вывод о том, что пастыри должны выбираться мирянами.

— Какая разница между ересями и Реформацией?

— Такая же, как между бунтами и революцией. Католицизму долгое время удавалось силой подавлять еретические движения. Но развитие менового хозяйства привело, наконец, к тому, что против духовных феодалов выступили огромные, самые различные общественные силы. Короли и князья—собиратели земель, руководители поли-

цейско-бюрократического государства—не могли дольше переносить, чтобы рядом с ними существовала независимая от них организация, с такой экономической силой и властью над массами, и кроме того весьма желали присвоить себе колоссальные имущества духовного сословия; помещики, подчинившиеся королям и князьям и ставшие опять руководящим классом в государстве, также должны были получить от экспроприации духовенства большие выгоды, и кроме того, с уменьшением церковных поборов могли соответственно усилить эксплоатацию своих крестьян. Крестьяне видели в духовенстве не только присвоителей „десятины“ (церковного налога на продукты и доходы), но и проповедников покорности, защитников крепостного права. Горожане, ремесленно-торговое сословие, более образованное, чем другие, и вольнолюбивое, воспитанное на демократизме цеховой организации, не только находили излишними церковные поборы, но и не мирились с крайне-авторитарным духом католицизма, подавлявшим свободную мысль и личную инициативу.—Выступление всех этих сил против католической церкви образовало великую революцию эпохи торгового капитализма, носящую имя Реформации.

— Представляла ли Реформация единое религиозно-идейное течение?

— Нет, отдельные классы и даже социальные группы выдвинули свои особые доктрины, так что движение разбилось на исповедания или секты. Напр., княжеско-помещичий протестантизм принял форму лютеранства, умеренного, угодливого перед силой и властью, враждебного демократии. В буржуазных республиках Швейцарии и Голландии сложился кальвинизм, резче порвавший с религиозной обрядностью, патриархально-суровый, как нравы тогдашней мещанской семьи, глубоко проникнутый отвлеченным фетишизмом. По учению кальвинистов, бог заранее предопределил всю жизнь, всю судьбу людей, так что о каждом еще до его рождения решено, пойдет ли он в вечное спасение или в вечную гибель; этот бог есть

очевидная копия „отвлеченной необходимости“, отражающей, как мы знаем, непреложную в меновом обществе и часто жестокую власть экономических отношений над людьми. Ремесленный пролетариат городов—подмастерья, ученики—шел под знаменем анабаптизма, революционно-демократичного, частью даже склонявшегося к коммунистическим идеям, и т. д.

Вначале все протестантские течения довольно дружно боролись против общего врага, об'единившись на критике католицизма и на требовании свободы исповедания. Но после первых же побед над католицизмом, после уничтожения церковной десятины и захвата князьями церковных имуществ, эта армия неизбежно должна была распасться не столько в силу различия догм, сколько, разумеется, в силу противоречия скрывавшихся за ними интересов. Начались жестокие междоусобия; секты господствующие, как лютеранство в Германии, кальвинизм в Швейцарии, несмотря на только что провозглашенную ими свободу религиозной мысли, огнем и мечом, пытками и кострами преследовали крайние секты, представителей общественных низов. Здесь особенно ясна служебная, практически-организационная роль идей в социальной борьбе.

— Покончила ли Реформация с авторитарным мировоззрением Средних веков?

— Нет. Во-1), остались целые страны, где католицизм удержал свою позицию: Италия, которой он был экономически выгоден, потому что она при помощи папства эксплоатировала весь католический мир, Испания, где экономическое развитие задержалось и сменилось упадком. Во-2), самая революция произошла все-таки в религиозных, т.-е. еще авторитарных формах, хотя их содержание было уже в значительной части иное. Свобода личного исповедания являлась выражением индивидуализма, но только зародышевым; да и она на деле не удержалась.

Дело в том, что торговый капитализм сохранял массу жизненных связей с остатками феодальной системы. Свои первые шаги в накоплении капитала он сделал путем

торговой и ростовщической эксплоатации помещиков, эксплоатировавших крестьянство, и долго еще продолжал черпать силу из торгового присвоения крепостнической ренты. Помещичье полицейско-бюрократическое государство было необходимым покровителем торгового капитала, который не в силах был создать своей организации в государственном масштабе. Идеология эпохи не могла быть иной, как смешанной, переходной.

IV. Промышленный капитализм.

а) Технические и экономические условия.

— Какие черты техники промышленного капитализма особенно важны для изучения его идеологий?

— Во-1), ее стремительный прогресс;

во-2), ее колоссальное разветвление на специализированные отрасли;

в-3), возрастающая роль механических методов в производстве: сначала превращение ручного труда в механический путем его крайней детализации, дробления на простейшие элементы работы (техника мануфактур); затем переход к машине (новейшая научная техника).

— Какие экономические особенности промышленного капитализма существенно отражаются в характере его идеологий?

— Во-1), производство становится всецело товарным: остатки натурального хозяйства здесь быстро исчезают.

Во-2), приобретает основное значение один специальный товар—рабочая сила: организация труда происходит при посредстве покупки-продажи этого товара (договор найма).

В-3), неорганизованное сотрудничество (меновое разделение труда) расширяется на весь мир; организованное

(кооперация в отдельных предприятиях) вырастает до гигантских в сравнении с прежним размеров, охватывая в иных случаях уже теперь десятки, даже сотни тысяч работников.

В-4), рыночная конкуренция развивается до величайшей напряженности, обусловливая и ускоренную концентрацию капитала, и огромную неустойчивость производственных отношений: перепроизводство, кризисы и т. под.

В-5), усиливается и усложняется борьба социальных групп; а затем ее заслоняет и оттесняет борьба классов, все более определенно разбивающая общество на два лагеря—капиталистов и пролетариев.

— Какими чертами можно сжато характеризовать жизнь промышленного капитализма в отличие от предыдущих формаций?

— Сложностью, противоречивостью, неустойчивостью, но также богатством сил и содержания.

b) Масштаб и общий тип идеологического развития эпохи.

— Чем отличается духовная культура капитализма от предыдущих с количественной стороны?

— Невиданной грандиозностью, как и его техника. Это—необходимый результат выясненных нами особенностей его общественно-практической организации.

Во-1), неизмеримая сложность его технического и экономического механизма необходимо требует и порождает такую же сложность механизма мышления. Каждый элемент каждого из бесчисленных видов орудий, материалов труда, каждый необходимый момент каждого рода трудовых операций должны иметь свои обозначения в словах-понятиях; все их соотношения должны быть выражены в идеях. Всякая отрасль обладает своим специальным языком и своим, обыденным и научным, опытом. В общем

языке и общем познании связывается опыт десятков и сотен миллионов людей, накопляющийся в ряду поколений. Богатство форм далеко превосходит не только память отдельного человека, но и его воображение.

Затем мы знаем, что всякое меновое общество, в силу своей коренной неорганизованности, нуждается в особенном развитии норм, регулирующих его отношения, организующих его, по крайней мере, частично. При капитализме это условие обнаруживается в наибольшей степени, потому что он есть наиболее законченная меновая система. Его внутренние противоречия бесчисленны и многообразны. К противоречиям рынка он присоединяет классовые антагонизмы и столкновения групповых интересов; все они изменчиво переплетаются между собою. Борьба повсюду проникает процессы общественной жизни, и при беспрепятственном развитии должна была бы разрушить общество, раздробить его в пыль. Нормы ограничивают, вводят в рамки эту тенденцию. Но, как бы они ни были многочисленны и совершенны, они не могут заменить планомерного единства общественной организации; поэтому они неспособны и остановить возникновения новых противоречий, новых антагонизмов. Оно же, в свою очередь, ведет к усложнению прежних норм и выработке еще иных, и т. д. Сеть норм, моральных, и особенно правовых, разрастается, запутывается. Она быстро стареет в одних своих частях, оказывается недостаточной в других, и таким образом сама порождает добавочные противоречия; а это означает опять-таки необходимость дальнейшего созидания норм. Так, нередко введение нового закона, или даже простое сохранение старого среди изменяющихся условий, вынуждает множество дополнений, раз'яснений, истолкований, правил применения и пр.

Несмотря ни на какие усилия государства сокращать и упрощать узаконения, юридическое творчество при капитализме неизбежно развивается наподобие лавины. Отсюда вытекает следующая несообразность, как нельзя более характерная для современной правовой организации:

государство предполагает все свои законы известными всем гражданам и не позволяет отговариваться их незнанием; в действительности же масса законов так огромна, что отдельной личности вообще невозможно вместить ее в памяти.

— Какие способы мышления господствуют в идеологиях капитализма?

— Те, которые мы нашли, исследуя идеальное меновое общество: индивидуализм и отвлеченный фетишизм. В царстве капитала они развиваются до высшей ступени, какой вообще способны достигнуть, потому что только здесь меновое хозяйство вполне вытесняет — по крайней мере, к концу эпохи—хозяйство натуральное. Рыночная война всех против всех (источник индивидуализма) и власть общественных отношений над людьми (основа менового и вообще отвлеченного фетишизма) здесь развертываются до своих крайних пределов: бешеная конкуренция мирового рынка и его стихийные кризисы типичны для капиталистического общества.

— Вполне ли исчезают при капитализме авторитарные способы мышления?

— Нет; но они теряют самостоятельное, определяющее значение. Дело в том, что их экономический источник—авторитарное сотрудничество—не устраняется окончательно, а только сводится к ограниченным размерам и подчиненной роли в жизни. Неорганизованное, меновое сотрудничество неспособно по самой своей сущности охватить жизнь общества всецело: она не может быть построена анархически по всей линии, во всех своих частях; никакое широкое соединение человеческих усилий для той или иной общей цели не было бы тогда осуществимо; напр., не было бы крупного производства. Капитализм поэтому *должен* сохранять остатки авторитарных отношений; но он приспособляет их к себе, своеобразно переделывает их для себя.

Так, каждое предприятие в отдельности организовано авторитарно: капиталист в нем хозяин и господин; он

передает часть своей власти наемным агентам—директорам, инженерам и пр.; работники подчиняются ему и им в процессе производства. Но это не такое соотношение, как, положим, в патриархальной общине, где связь организатора с исполнителем имеет постоянный, безусловный и притом личный характер: в капиталистическом предприятии она не постоянна, а ограничена рабочим временем,—не безусловна, а обусловлена рыночным договором найма рабочей силы,—не об'единяет строго определенного, устойчивого состава лиц, а допускает неограниченное их замещение. Капиталист Иван всегда может продать предприятие капиталисту Петру или акционерному обществу, по миновании договорного срока переменить весь состав служащих и рабочих; патриарх же у себя в общине не может сделать ничего подобного. Между капиталистом и рабочим стоит рынок; власть капиталиста имеет источником продажу-покупку рабочей силы, т.-е. товарно-меновое отношение. Авторитет капиталиста, это—его деньги, меновая ценность, которою он располагает. Следовательно, авторитарное сотрудничество здесь пропитано меновой, рыночной связью: образуется нераздельное сочетание обеих форм.

Авторитарные элементы характерны и для государства, политически-правовой организации, воплощающей в жизнь общие интересы буржуазных классов. В самых демократичных республиках, как и в монархиях, бюрократический аппарат представляет иерархию, т.-е. цепь власти-подчинения. Но в то же время между государством и его чиновниками существует договор найма, который может быть прекращен отставкой, т.-е., по существу, та же рыночная связь, периодическая покупка-продажа трудовых способностей служащего, смешение в неразрывный комплекс форм авторитарной и меновой.

Более чистый авторитаризм свойствен военному аппарату государства—его армии: солдат обыкновенно не наемник, а принудительно вводится в эту организацию. Однако по истечении некоторого обязательного срока и

он остается дальше, лишь если пожелает, по специальному договору найма; офицерство же вообще является разновидностью бюрократии.

Наиболее чистые пережитки авторитарной связи удерживаются в семье: власть отца над женой и детьми— маленький остаток древнего патриархата.

В соответствии со смешанными видами практической связи между людьми складываются и сохраняются смешанные идеологические формы, в которых комбинируются разные способы мышления—авторитарный с индивидуалистическим.

— Как представлять себе подобные комбинации?

— Они бывают весьма разнообразны; самые типичные их примеры можно найти в философии, особенно в религиозной философии, которая вся является образцом этого рода.

Так, „душа“ есть фетиш авторитарный: человек-организатор, помещенный в человеке-исполнителе. Но в мышлении нашего времени душа—нечто гораздо менее содержательное и более отвлеченное; это „я“, которое думает, чувствует, желает, распоряжается телом, но само не есть ни та или другая мысль, ни то или другое чувство, желание, усилие: какая-то скрытая в человеке сила, которая делает его существом сознательным, „одушевленным“. Другими словами, душа есть то, что одушевляет тело, т.-е. она есть душа, и только,—а в то же время от нее зависит жизнь тела; это вполне аналогично тому, что стоимость есть стоимость, и от нее зависит обмен товара или истина есть истина, и ею определяется разумность идеи, и т. под. Фетиш авторитарный принял знакомые нам черты фетишизма отвлеченного.

Другой пример: в новейших религиях и религиозных философиях божество теряет свои живые формы человека—патриарха вселенной или ее царя. Что остается? В „деистических“ философиях (название от латинского „deus“—бог) только то, что оно—первопричина мира и

источник его закономерности, т.-е., что оно—божество; в „теистических“ (от греческого „θεός“—тоже бог) к этому прибавляется признание его „личности“, но не такой, как человеческие личности, с телом, потребностями, страстями; смысл понятия о „личности“ здесь сводится всецело к тому, что божество имеет свое „я“ того же типа, как человеческая душа; а мы видели, что это „я“ само—отвлеченный фетиш. В новейших религиях божеству приписываются, в разной мере, мысли, желания, чувства, напр., знание всех фактов, забота о мире, любовь, гнев; но все это в бестелесном, отвлеченном виде, в „символическом“ значении, как выражаются часто сами теологи.

Третий пример—власть. Это—авторитарное отношение между людьми; но, как мы видели, она необходимо сохраняется при капитализме. Для человека патриархальной или феодальной эпохи власть—нечто неотделимое от самого властителя; вернее, она и есть этот властитель в его деятельности. Для современного человека власть, это—право распоряжаться или приказывать, соединенное с обязанностью других людей подчиняться; другими словами, власть есть то, что свойственно властителю, или просто власть, и только. Мысль о *сотрудничестве* организатора и исполнителя при этом совершенно отпадает; да и не может быть иначе, потому что приказывающий и подчиняющийся, большей частью, люди друг для друга совершенно безразличные, очень часто даже друг другу внутренно враждебные. Социально-трудовое содержание власти исчезло из мышления современного человека; а в этом и заключается сущность отвлеченного фетишизма.

— *Насколько широко распространены при капитализме подобные смешанные формы, и вообще остатки авторитарной идеологии?*

Они сохраняются, а порой возобновляются или усиливаются в сознании разных групп и классов, соответ-

ственно тому, в каких размерах и степени практически авторитарные тенденции выступают в самой их жизни.

Так, характерна роль современной буржуазной семьи, как опоры религиозных представлений. Наблюдается на каждом шагу, что родители, равнодушные к религии с ее обрядами, или даже прямо неверующие, допускают, а часто и специально заботятся о том, чтобы их детям внушались религиозные понятия, выполнение обрядов и пр. В об'яснение этого приводят разные доводы и соображения о потребностях детской души, о том, что детей не надо лишать возможности самостоятельно выбрать впоследствии между религией и философией, и т. под. Но существо дела, конечно, не в этих отвлеченно-произвольных аргументах, а в том, что авторитарный строй семьи нуждается для своего равновесия и гармоничности в авторитарной идеологии; чтобы родительская власть принималась без колебаний и критики, без протеста юных индивидуальностей, для этого должен быть укреплен патриархальный принцип власти в детских душах; а это и делается религиозными идеями.

По той же самой причине классы, стремящиеся к более авторитарной организации государства и общества, к усилению бюрократии, права административного усмотрения и т. под., стараются по преимуществу поддерживать религию. Такова помещичья аристократия; такова и сама буржуазия в эпоху своего упадка, когда силы начинают изменять ей в классовой борьбе с пролетариатом: авторитет сильной и консервативной власти становится тогда для нее якорем спасения; и раньше враждебная религии, она тогда начинает всячески поддерживать ее, делается „клерикальной“.

Подобными же обстоятельствами об'ясняется то, что демократические перевороты в разных странах, подрывающие силу авторитетов на практике, сопровождаются ослаблением религиозных идеологий; а восстановление монархической власти—их немедленным укреплением.

Напр., Наполеон, устраивая империю на месте республики, немедленно возобновил государственную поддержку религии, при чем нашел опору во всех тех слоях французского общества, которые чувствовали потребность в твердой власти.

В наше время на каждом шагу обнаруживается теснейшая связь клерикализма и вообще религиозных тенденций с милитаризмом: сторонники первых являются обыкновенно и сторонниками второго. Связь эта могла бы казаться крайне загадочною, ибо трудно представить дело само по себе более анти-христианское, чем массовое истребление человеческих жизней; на деле же она вполне логична, потому что армия есть организация авторитарная и своим назначением имеет защиту власти.

В общем же, при капитализме авторитарные идеологии все-таки имеют характер лишь „пережитков". Даже самые религиозные люди нашего времени не могут жить всецело религиозным сознанием, неспособны ко всему в жизни относиться с религиозной точки зрения, как это было в авторитарные эпохи. Никому или почти никому из них не приходит в голову рассматривать тот обыденно-практический опыт, которым они руководятся в большинстве случаев жизни, а тем более научное знание, как нечто подчиненное, подлежащее контролю священной традиции; среди ученых и философов есть клерикалы, но и они не считают возможным обосновывать свои теории текстами писания. Они отстаивают права религиозного сознания, как особой, неприкосновенной *области* в человеческой душе; и нельзя сказать, чтобы даже у них эта область была особенно обширною. Притязания же на целое, на все мышление и чувство людей давно оставлены.

— *Сводятся ли все идеологии эпохи капитализма к элементам индивидуалистическим и авторитарным?*

— Нет. На основе машинного производства развивается в широких размерах среди пролетариата новый

тип сотрудничества, раньше существовавший лишь в зародыше: однородная или товарищеская кооперация. В соответствии с ним складываются новые идеологии—коллективистические. Но хотя эти формы сотрудничества и мышления принадлежат одному из классов, порождаемых капитализмом, тем не менее их нецелесообразно изучать вместе с другими, буржуазными его идеологиями. Это—зарождение новой социальной организации со своей особой культурою в рамках старого общества, с которыми они и сталкиваются, которые они стремятся разорвать в борьбе, все более обостряющейся. Изучить этот тип идеологий удобнее отдельно, в связи с тем общественным строем, который должен, придя на смену капитала, развить их в полной мере.

c) *Наука.*

— Какими чертами характеризуется при капитализме развитие познания?

— Во-1), научное, т.-е. систематизированное, планомерно вырабатываемое познание начинает играть в жизни огромную роль, которая с ходом капиталистического прогресса еще более и более возрастает. Техника машинного производства является всецело научной, т.-е. руководится точными вычислениями, теоретическими расчетами и предвидениями.

Во-2), рядом с науками техническими и естественными складываются науки социальные, раньше находившиеся в зародыше. Они—особенно политическая экономия—также приобретают весьма важное значение в жизни, а именно в области экономической и политической организационной практики.

В-3), научная специализация доходит до высшего предела; и в то же время в науке усиливается противоположная ей тенденция, сближающая методы и выводы разных отраслей.

— Нет ли противоречия между нашим пониманием социальной причинности и господством науки над техникой? Не стал ли технический прогресс при капитализме определяться научным, идеологическим, тогда как мы раньше повсюду принимали обратное?

Нет, никакого противоречия и никакой перемены в закономерности здесь нет. Если, напр., техническое изобретение сначала является в голове изобретателя в виде научной идеи, то сама эта идея зарождается отнюдь не из какого-нибудь чистого мышления, а из предыдущего трудового опыта, который дает материал для нее, и из технической или экономической потребности, которая направляет работу мысли; и затем судьба изобретения зависит от его соответствия или несоответствия техническим и экономическим условиям, среди которых его приходится осуществлять.

Напр., сила пара была известна уже в древности, благодаря многократным практическим наблюдениям над тем, как тяжелая, плотно прикрывающая какой-нибудь кухонный котел крышка приподнимается или даже отбрасывается при кипении воды. Александрийские ученые построили нечто в роде паровой машины, турбинного типа; но в технику их изобретение не вошло и в науке не удержалось: в тогдашней практике его не к чему оказалось применять; оно потонуло в общем упадке древнего мира.

Когда возникло крупное производство и с ним потребность в больших механических силах, которые можно было бы производить в любом месте, тогда технически-научное мышление обратилось вновь к изучению энергии пара. Основной принцип устройства паровых машин, поршневый был на этот раз взят с водяных насосов, применявшихся в гидравлической технике, и с воздушных насосов, повторяющих ту же модель. Первые машины применялись для грубых работ, главным образом,

в горном деле—для выкачивания воды из шахт, размельчения руды и т. п. На самой практике их применения одно за другим возникали усовершенствования, иногда по инициативе приставленных к ним рабочих. Джемс Уатт собрал воедино эти усовершенствования, прибавил некоторые новые, и машина получила технически-удобную форму, в которой она могла применяться для самых различных производственных целей. Потребность в такой машине сильно ощущалась в это время потому, что текстильная промышленность Англии от ручной работы переходила к применению прядильных и ткацких механических станков: для ручного пряденья и тканья паровая машина была бы, конечно, бесполезна, и не получила бы того огромного распространения в производстве, которое знаменовало английскую „промышленную революцию“.

Техническая роль паровых машин после этой революции вызвала стремление исследовать в общем виде законы их действия. Так была основана Леонаром Карно *термодинамика*, подводившая теоретические итоги практическому опыту в этой области. Из термодинамики Карно произошел закон *сохранения энергии в ее превращениях*, преобразовавший всю физику, а за ней и другие естественные науки. Закон превращений энергии выражает сущность не только действия паровых машин, но машинного производства вообще. Смысл его тот, что работа не создается, а лишь превращается в определенных пропорциях из одних форм в другие; чтобы получить ее, надо находить ее технические источники в природе и планомерно, как это делается в машинах, производить условия, при которых она переходила бы в желательные, заранее намеченные формы.

Закон сохранения энергии—основа всех научных расчетов, руководящих современной техникой; но сам он, как видим, продукт предыдущего развития производства. Такова роль науки: ее прогресс *определяется* прогрессом техники, потому что из него исходит, но в свою очередь служит затем его могущественным орудием.

— Однако, нередко ведь бывает теперь и так, что чисто научные исследования, предпринятые в химических или физических лабораториях, дают в результате новый технический метод, который и вводится уже затем в производство: пример, хотя бы гальванопластика, фотография, недавние открытия икс-лучей, радия и пр. Не предшествует ли здесь очевидным образом идеология технике?

— Не следует думать, что лабораторное исследование есть просто идеологический процесс. Прежде всего, это—процесс технический: он выполняется над определенными, взятыми из природы, материалами, при помощи орудий, часто тех же, как и применяемые в некоторых отраслях промышленности, напр., в химической индустрии, электротехнике и пр. Результат исследования также, прежде всего, материальный, технический. Разница с промышленным предприятием—та, что задача работы не коммерческая, а научная; но об‘ективного характера дела это нисколько не меняет. Нередко даже и эта разница исчезает: многие научные институты приготовляют и на продажу специальные продукты—сыворотки для лечения, фармацевтические, химические препараты и пр. Вся организация научных предприятий совершенно такая же, как и в индустриальных: наемный труд, разделение функций и т. д. Нередко научное предприятие представляет просто отдел индустриального; напр., на химических заводах, красильных фабриках устраиваются лаборатории для соответственных изысканий.

Таким образом, и в научных предприятиях идеология вырабатывается не сама из себя, как в кабинете какого-нибудь метафизика, а на технической основе. Но все же тут перед нами важная отличительная особенность промышленного капитализма: новые технические методы вырабатываются уже не только стихийным образом, как результат накопления случайно находимых усовершенствований,—но также и сознательным путем систематического

исследования; прогресс в этой области делается специальной целью труда. „Научность“ производственной техники есть в то же время ее планомерная прогрессивность.

— Чем об‘ясняется развитие при капитализме политической экономии, а также вообще социальных наук?

— Потребность в них была вызвана не чем иным, как тяжелою для людей властью общественных отношений. Промышленный капитализм, сделав хозяйство повсюду меновым, подчинив его всецело рынку, усилив до крайних пределов конкуренцию, чрезвычайно обострил проявления этой власти. Чувствуя себя игрушкою непонятных, капризных сил рыночной кон‘юнктуры, испытывая от них порою жестокие удары, человек, естественно, стремится выяснить, в чем же тут дело и как избегнуть неожиданностей таинственной власти. Отсюда — энергичное изучение экономической жизни. А за ним следует познание других социальных явлений, так как связь самых различных сторон общественного процесса ощущается на каждом шагу; напр., политические события влияют на кон‘юнктуру рынка, порождая повышение или понижение цены разных государственных бумаг, акций, затрудняя или облегчая торговые сношения, и пр.; а в политической борьбе сказывается сила разных идейных течений, и т. д.

— И что же, политическая экономия с другими социальными науками дали способы успешно бороться против власти стихийных общественных отношений?

— Нет, в общем и целом они таких способов дать не могли, потому что в основе этой власти лежит не просто какое-нибудь незнание, а коренная неорганизованность системы производства, т.-е. самое строение капиталистического общества; следовательно, только его коренное переустройство способно преодолеть эту власть; науки же, хотя бы самые совершенные, заменить такое переустройство, парализовать стихийность реальных сил,

разумеется, не могут: это было бы все равно, что словами и мыслями остановить разрушительные действия бури.

Кроме того, есть причина, еще более ограничивающая практическое значение этих наук. Они созданы буржуазными, индивидуалистическими классами (мы ведь пока говорим только об их науке, об их идеологиях); поэтому они необходимо проникнуты теми иллюзиями, тем извращением действительности, которые заключаются в индивидуализме и отвлеченном фетишизме.

Так для буржуазной политической экономии хозяйство товаропроизводителя представляется на самом деле индивидуальным; очень часто свое исследование она начинала, ради упрощения, с хозяйственной жизни Робинзона на необитаемом острове, и из этих нигде не встречающихся и ничего общего с капитализмом не имеющих условий пыталась выводить свои основные понятия. Меновую ценность эта политическая экономия считала вообще свойством продукта, в чем, как мы знаем, заключается товарный фетишизм; мысль о других способах производства, при которых продукт—не товар и никакой меновой ценностью не обладает, была ей чужда. Но для того, чтобы определить общие законы развития капитализма, необходимо понять его происхождение из иных общественных организаций, его связь и различие с ними, необходимо сравнивать его строение с их строением и т. д.,—словом, уметь становиться на другие, вне его лежащие точки зрения. К этому буржуазная наука, подчиненная меновому фетишизму, была неспособна, и потому вопроса о законах развития решить не могла.

— Но разве буржуазная политическая экономия не отрешалась иногда от фетишизма? Разве не она первоначально выработала теорию, по которой меновая ценность товаров сводится к труду? И не есть ли эта теория раскрытие истинного смысла меновой ценности и природы товара?

— Действительно, буржуазные экономисты — Петти, Смит, Рикардо—сумели уловить зависимость меновой ценности от количества труда, заключенного в товарах, и таким образом положили начало „теории трудовой стоимости“. Но было бы ошибочно думать, что тем самым они пришли к настоящему пониманию социально-трудовой природы менового хозяйства и капитализма, преодолели товарный фетишизм: до этого было еще весьма далеко.

В самом деле, какова сущность этого фетишизма? Меновая ценность признается свойством товара, тогда как об‘ективно она есть свойство общественной организации. Но Петти, Смит, Рикардо и считали ценность попрежнему свойством товара, хотя и зависящим от труда. По их мнению, раз продукт произведен, этого достаточно, чтобы он обладал меновой ценностью, соответствующей количеству затраченной на него работы. Между тем, во-1), для этого требуется еще определенная организация общества—индивидуалистическая, анархичная, меновая; иначе продукт никакой меновой ценности не получит; этого буржуазные экономисты не видели, потому что не представляли себе иного, высшего типа общественного устройства; во-2), самая величина меновой ценности определяется не просто суммою фактически употребленного на товар труда, но также уровнем общественно-технического развития, потому что ее создает только общественно-необходимый, а не всякий труд: товар может заключать в себе много труда и иметь малую ценность, напр., если он произведен ручным трудом, а в данном обществе уже существует его машинное производство; в других же случаях может быть наоборот. Но буржуазные экономисты в производстве товара видели труд отдельных работников, индивидуальный, а не сотрудничество в его социальном целом.

Оттого буржуазная политическая экономия и не удержалась на теории трудовой стоимости. Она выработала эту теорию, главным образом, за эпоху мануфактур, где труд был ручной, и его основное значение в производстве

ценности товаров являлось слишком очевидным. Когда же на сцену выступили машины, которые, с точки зрения капитала, вполне заменяют вытесняемых ими рабочих, тогда буржуазные экономисты нашли, что дело отнюдь не в одном труде работников, что он только отчасти влияет на ценность, вызывая издержки на заработную плату, и т. д.

— Надо ли из всего этого заключить, что буржуазная политическая экономия бесплодна и не имеет значения для организации хозяйства при капитализме?

— Нет, такой вывод был бы ошибочен. Эта наука играет большую роль в современной жизни капитализма, в устройстве предприятий, особенно таких сложных, как банковые, акционерные, синдикатные, в деятельности бирж, партий, государственного механизма и т. д. Она помогает буржуазным классам организовать общественные отношения сообразно своим потребностям и интересам. Но ее значение повсюду лишь *частичное*: она не в силах ничего сделать против *основных* противоречий и неуравновешенности современного общества, а должна ограничиваться частями.

Материал же, собранный буржуазной наукою, исторически важен еще тем, что он послужил во многом для выработки иной, более совершенной науки, высшего идеологического типа, пролетарской политической экономии, преодолевшей иллюзии как индивидуализма, так и менового фетишизма,—науки, на которой основывается и все наше исследование.

— В чем выражается при капитализме отрицательная сторона научной специализации?

— В подавляющем нагромождении материала отдельных научных отраслей. Оно так сильно, что вынуждает все большее и большее их раздробление. Напр., если полтораста-двести лет тому назад возможны были специалисты по биологии, т.-е. по изучению жизни вообще, то затем им пришлось разделиться на зоологов и ботаников.

Затем зоологам потребовалось разбить свои задачи и выбирать для изучения какой-нибудь определенный тип животных—позвоночных, моллюсков, простейших и т. под.; также и ботаникам. Затем и такие отрасли оказались чересчур обширны по материалу, чтобы ими могли успешно овладевать индивидуальные способности; последовало еще дальнейшее дробление. Теперь встречаются специалисты по инфузориям, по той или иной группе бактерий, по процессам образования крахмала в растениях и пр. Из массы таких отраслей каждая настолько сложна и богата данными, что обычно заполняет целую жизнь; лишь немногие, исключительно одаренные люди совмещают две-три специальности. С'уживается поле деятельности ученых, а вместе с тем и весь кругозор их мышления; уменьшается способность понимать то, что лежит вне специальности, и правильно оценивать действительное жизненное значение как всей ее в целом, так и отдельных ее вопросов: то и другое до крайности преувеличивается в глазах ученых. Словом, развивается так называемая „профессиональная ограниченность", которая вредит и прогрессу самой науки,—потому что узкое мышление проявляет мало творчества, сосредоточивается на собирании мелочей и частностей и тем самым еще усиливает перенакопление материала.

— Какие причины порождают эту отрицательную сторону специализации?

— Два основных условия: Во-1), расширение капиталистической организации на весь мир: поле труда-опыта, доставляющее материал для каждой научной отрасли, чрезвычайно увеличилось по сравнению с прежним; а усовершенствованная техника наблюдений, такие, напр., орудия, как микроскопы, телескопы, позволяют глубже проникать в явления и находить в них гораздо больше содержания: под микроскопом капля воды из лужи оказывается целым маленьким миром жизни и борьбы.

Но само по себе колоссальное возрастание материала вовсе не обязательно превращалось бы в его нагроможде-

ние, перенакопление, если бы настолько же прогрессировала степень его обработки. Тут выступает второе обстоятельство: каждая отрасль науки живет и работает отдельно от других, своими, неизбежно ограниченными силами. Несколько сотен, иногда десятков, в лучшем случае—тысяч специалистов отрасли должны переработать, привести в порядок, стройно организовать материал, собираемый в мировом масштабе. Понятно, что для успешности дела требуется большое совершенство методов, иначе получается непропорциональность. Но как оно может быть достигнуто? Для этого надо, чтобы запас приемов у специалиста был значительный, чтобы он применял их в большом разнообразии, сравнивая их, комбинируя, исправляя одни другими, и таким образом вырабатывал бы наилучшие. Между тем у специалистов такого богатого запаса обыкновенно нет, именно потому, что они—специалисты, не знают других отраслей, кроме своей, других методов, кроме тех, которые в ней уже практикуются. Естественно, что их методы на деле бывают односторонни, лишены гибкости и широты, часто весьма рутинны; и обработка научных данных от этого менее успешна, менее производительна, так что при огромной их массе она недостаточна: обнаруживается перенакопление материала; оно затем и возрастает по мере развития самой специализации, с ее узостью и ограниченностью, с ее бедностью приемов.

— Если так, то не должно ли положение ухудшаться с течением времени больше и больше? Не должна ли в конце концов отрицательная сторона специализации перевесить даже ее выгоды для познания?

— Неудобства крайней специализации действительно за последнее столетие ощущаются все сильнее, вызывая опасения передовых ученых. Но все же эта с‘уживающая тенденция не господствует всецело: за тот же самый период выступает, с возрастающей силою, другая, ей противоположная: тенденция к сближению научных отраслей и к об‘единению научных методов.

— **На чем основана эта вторая тенденция и в чем она проявляется?**

— Мы видели, что в различных отраслях производства, как бы ни были они далеки одна от другой, существуют общие условия, находят место одни приемы. Так, измерение и математический расчет применяются повсюду в производстве, особенно машинного типа, в торговле, банковом деле и т. д.; астрономические способы ориентироваться во времени и в пространстве существенны для земледелия, для мореплавания, для дорожно-строительного и военного дела, а равно и во всех областях человеческой деятельности, где только требуется точное распределение времени по часам. „Чистые“ науки, естественные, социальные представляют именно системы подобных общих методов.

Аналогичным образом и в науках, ставших обособленными специальностями, возможны об'единяющие методы; и они, в самом деле, постоянно, хотя медленно и незаметно, вырабатывались с самого начала наук. Несмотря на специализацию, общение между научными отраслями было, хотя и слабое; методы одних оказывали влияние на другие, иногда же и переносились из одних в другие. Во многих случаях этим путем совершались целые научные перевороты.

Так, напр., метод точного взвешивания создался первоначально даже не в той или иной науке, а в горной и ювелирной промышленности,—в добывании благородных металлов, их обработке и торговле ими. Оттуда он проник в физику, где его роль огромна. Одним из первых его применил в древности Архимед, открывший с его помощью основные законы гидростатики; сохранились сообщения о том, что толчок к исследованию дан был вопросом грубо-практическим, из ювелирного дела: сиракузский тиран Гиерон поручил Архимеду определить точное количество золота и лигатуры в короне, чтобы проверить добросовестность мастера, который ее сделал.— Из физики приемы точного взвешивания перешли в химию, которую и преобразовали радикально: этим путем

Лавуазье открыл „вечность материи“; и все химические реакции с тех пор стали выражаться уравнениями.

Ньютон произвел такой же переворот в астрономии, воспользовавшись для этого галилеевой механикой (законом движения падающих тел). Нынешняя физиология всей своей научной строгостью обязана методам физики и химии; экспериментальная психология основана на физиологических методах, и т. д.

То же самое, в малых размерах, происходит постоянно во всех областях знания. Параллельно с растущей специализацией идет и сближение отраслей посредством связи их методов; в эпоху машинного производства вторая тенденция все чаще перевешивает первую. В физике раньше такие отделы, как механика, оптика, теория теплоты, теория электричества, работали каждая своими особыми методами, формулировали каждая свои частные законы. Теперь же все они об'единены между собою, а также со всей химией и промежуточной наукой—теорией строения материи—общностью основных методов, специально же—законами превращений энергии. А начало этих законов лежит, как мы знаем, в машинном производстве: сущность его методов выражается в идее „энергии“.—Что касается биологии, там новейшая теория развития аналогичным образом связала ее далеко разошедшиеся отрасли; и то же происходит в других науках.

Специализация не остановилась, но ее отрицательное, с'уживающее мысль действие уже ослабляется. В настоящее время каждый специалист мелкой отрасли должен знать не только многое, относящееся к отраслям сопредельным, но и обладать большой суммою общих знаний из целого ряда наук.

d) Философия.

— Какую роль в борьбе и развитии двух тенденций мышления, специализирующей и об'единяющей, играла философия?

— Задачей философии, как нам известно, является **единство мышления.** Поэтому она должна была бы представлять наиболее полное выражение об'единяющей тенденции. В прежние времена отчасти так это и было: некоторые философские идеи оказывались как бы „предчувствием" научных методов и теорий, сближавших и связывавших разные отрасли познания; так, древняя философия материалистов предчувствовала закон „неуничтожаемости материи", Эмпедокл формулировал нечто подобное дарвиновскому учению об естественном подборе форм, с выживанием приспособленных, гибелью неприспособленных.

Но в эпоху капитализма философия сама успела резко специализироваться. Это сделало ее мало способной к выполнению об'единяющей задачи; больше чем когда-либо, она является областью спорного, царством разногласий. По мере того как наука вырабатывала новые широкие методы, новые точки зрения, воплощенные в законах, охватывающих разрозненные прежде отрасли, философия усваивала эти продукты науки и приспособлялась к ним, но почти всегда с опозданием. Последний случай, когда философия отчасти опередила науку на этом пути и дала известный толчок ее движению, была диалектика **Гегеля**, заключавшая в себе идею мирового развития, идущего путем борьбы сил (Гегель ошибочно представлял эти силы, как идеальные, „логические"). В дальнейшем философия лишь следовала за наукой, не всегда успешно.

— **Является ли новейшая философия простым отражением прогресса науки, или в ней есть и другие элементы?**

— Философия отражает и научное, и еще в большей мере—обыденное мышление эпохи. Такова и новейшая философия. По содержанию она очень разнообразна, в ней масса школ и оттенков.

Как все идеологии капитализма, она совмещает элементы индивидуализма и отвлеченного фетишизма, которым принадлежит преобладание, с остатками авторитар-

ных, более или менее значительными. Эти остатки в крайних „позитивных“ философиях, наиболее проникнутых влиянием науки, ничтожны, в крайних метафизических и в религиозных так сильны, что определяют собою, по крайней мере в смысле формы, их основные понятия: божественная субстанция, абсолютное творчество и т. п.

В раннем периоде промышленного капитализма, когда буржуазные классы вели борьбу против могущественных еще тогда пережитков феодального строя, подготовляя и выполняя буржуазные революции, в философии с особенной силой и резкостью выступали идеи индивидуализма, понятия отвлеченно-фетишистические: личность и свобода противополагались авторитетам прошлого, знание и чистая истина—вере и суевериям. Такая философия, освободительная и просветительная, была боевым знаменем передовых движений эпохи, вдохновляла их, культурно их организовала. Особенно большое историческое значение в этом смысле имела материалистическая и либеральная философия XVIII века, наложившая печать своих идей на Великую французскую и целый ряд последующих революций.

После завоевания буржуазными классами господства, когда, в свою очередь, им приходится это господство отстаивать против нового движения снизу, их философия, естественно, становится в общем более консервативной,—усиливаются ее авторитарные элементы.

— Возможны ли, следовательно, в буржуазной философии системы, построенные вполне целостно, без внутренних противоречий?

— Нет, невозможны; и притом противоречия неизбежно должны заключаться в самых основах систем, так как эти основы сводятся именно к общим способам мышления. Противоречие, конечно, всегда маскируется словесными формулами,—но рано или поздно вскрывается даже

буржуазною критикой. Для нашего же исследования оно обнаруживается немедленно, как только выяснены схемы мышления, составляющие основу системы.

Примером может служить учение Лейбница о монадах. Его „монады", живые элементы вселенной, это—существа абсолютно замкнутые в своем бытии, абсолютно изолированные друг от друга. Каждая из их бессчисленного множества развивается, развертывает свое содержание только в себе самой и только из себя. У монады нет сообщения с внешним для нее миром—другими монадами,—никаких „окон" наружу. И тем не менее все монады, от самых низших, соответствующих, приблизительно, атомам материи, до высших, каковы человеческие существа, отражают, каждая в своем внутреннем развитии, с большей или меньшей полнотой, с большей или меньшей ясностью, то, что совершается в окружающем мире. Так, человеческая монада, развертывая из себя ряды бесчисленных ощущений и представлений о внешнем мире, посредством них познает этот мир более или менее верно, более или менее соответственно тому, как он есть в действительности. Это зависит от того, что существует верховная монада—бог; она сотворила все остальные и „предустановила гармонию" их развития, так что во всех них внутренние процессы совершаются вполне параллельно, во взаимном соответствии. Подобное соотношение существовало бы между показаниями стрелок бесчисленных часов, идеально-точных, устроенных одним и тем же часовщиком и пущенных им в ход в одно и то же мгновение,—обычная аналогия, которою поясняется идея „предустановленной гармонии".

Очевидно, что понятие об абсолютно-изолированной монаде есть чистейшая схема индивидуалистического мышления; она с величайшей силой и глубиной выражает то состояние отчужденности индивидуума от всего остального мира, которое развивается в анархической системе производства.—Напротив, верховная монада, творец и изначальный организатор мира, автор предустановленной гар-

монии всех прочих монад, есть столь же чистая схема мышления авторитарного.

Очевидное противоречие заключается в том, что индивидуализм, доведенный в схеме до такого законченного и крайнего выражения, несовместим с принципом организации вообще, а следовательно и авторитарной. Если монада вполне замкнута и изолирована, то между нею и остальными монадами ни гармонии, ни дисгармонии нет и быть не может. То, что делается в других монадах, для нее не только абсолютно недоступно, но и не имеет абсолютно никакого значения. Ни знать, ни проверить о них она ничего не может, и если бы вся их жизнь извратилась, или даже они совсем бы, волею верховной монады, исчезли, а осталась бы только одна отдельная человеческая монада,—она попрежнему продолжала бы развертывать свое содержание, продолжала бы все ту же последовательность восприятий, представлений, идей, и ровно ничего не изменилось бы ни в ее миропонимании, ни в ее мирочувствовании. Где нет и не может быть взаимодействия, там нет и никакого взаимоотношения. И сама философская система, ставящая своей целью определить это взаимоотношение, теряет всякий смысл.

— Не является ли такая противоречивость специальной чертою метафизических систем, и не устранила ли ее философия, выступившая под знаменем критической школы?

— Не устранила и устранить не могла, потому что мышление буржуазного мира также господствует и в ней,—потому что задача остается все та же—совмещение двух принципиально несовместимых типов мышления, индивидуалистического с авторитарным. Яркий пример—учение Канта, родоначальника критической философии. Весь опыт, все познание он понимал вполне индивидуалистически: они у него всецело „суб‘ективны“, сводятся к „явлениям“ или к „видимостям“ (phaenomena—являющееся); все переживания, образующие личное сознание, представляют

нечто „кажущееся“. Но он принимает в то же время, что у них есть действительная основа, подлинная реальность, которая их порождает в суб‘екте; это—„вещь в себе“, которую познать нельзя, а можно только неопределенно мыслить (noumenon—мыслимое). „Чистый разум“, познающий, не может пойти дальше этой противоположности явлений и вещи в себе: но „разум практический“, нравственное сознание, необходимо, в силу своей потребности в обосновании, должен принять такие „ноумены“, как бог, бессмертная душа, свободная воля.

Сведение всего опыта к „видимостям“, явным образом отражает слабость и ограниченность *индивидуального* сознания, постоянную возможность для него ошибок, особенно же в жизненных столкновениях личности с другими личностями на поле анархической борьбы интересов: там на каждом шагу „видимость“ создается с целью скрыть или извратить действительность. Напротив, „практический разум“, с его фетишами бога и пр., выражает, очевидно, авторитарную сторону мышления, это—схема власти, вносящей организованность в анархию индивидуалистического мира. Но именно поэтому и здесь неизбежно коренное противоречие.

В индивидуалистической схеме об‘ективная действительность непознаваема; а схема авторитарная принимает в ней ряд фетишей и ставит их в определенное отношение к личному сознанию, как источник практически руководящих нравственных идей. Но принимать нечто как существующее, определять словами, ставить в соотношение с чем-либо известным; это, разумеется, и значит—познавать: противоречие двух типов мышления отражается коренным противоречием философской доктрины.

— *Какую же организующую роль могут играть доктрины, противоречивые в самой основе?*

— Они соответствуют основному характеру организации буржуазного мира, а потому и способны органи-

зовать его противоречивый опыт, насколько это вообще возможно,—организовать, следовательно, и духовную связь тех классов, которым он свойствен. Затем, коренные противоречия не мешают великим философским учениям заключать в отдельных своих частях и ценную критику, разрушающую отжившие идеологические формы, и широкие обобщения, организующие опыт целых областей человеческой жизни; то и другое становится материалом идеологического строительства для нового коллектива, зародившегося в виде рабочего класса. Так, „диалектика" Гегеля, т.-е., его учение о развитии в противоречиях, была обобщенным отражением прогрессивной стороны анархии буржуазного общества, идущего вперед благодаря борьбе его сил. Естественно, что диалектика эта послужила исходным пунктом первого научно-философского построения пролетарской культуры— „диалектического материализма".

е) Демократизация знаний.

— Какие условия в промышленном капитализме вызывают демократизацию знания?

— Потребности производства и товарного обращения. Особенно сильно тут влияет техника машинного производства. При машинах необходимы интеллигентные рабочие силы, работники толковые, сообразительные, сознательные, значит, даже не просто грамотные, а с некоторым умственным развитием: иначе при малейшем нарушении сложного и тонкого хода машин должна получаться порча материала и механизма, а то и гибель самих работников. Так, в России введение высшей техники долго замедлялось темнотой и невежественностью масс населения, из которых капиталу приходилось черпать рабочую силу. Это сказывалось и в промышленности, и еще резче в сельском хозяйстве. Случалось, что помещик

выпишет дорогую, хорошую машину, а через несколько дней она приведена в негодность, притом покалечив людей.

Что касается специально грамотности, то она требуется решительно повсюду. Всякое индивидуальное хозяйство, даже крестьянское или пролетарское, строится на все более сложных денежных счетах и расчетах, для которых требуются и арифметические знания, и уменье записывать или, по крайней мере, проверять записи в лавочных книжках, в расчетных книжках о работе по найму и т. под. Жизнь мастерских, деятельность государственных и публичных учреждений, движение железнодорожное и пароходное, часто и уличное, регулируются об'явлениями которые надо уметь читать. Чем отношения и связи людей становятся сложнее, изменчивее, запутаннее, тем сильнее потребность „фиксировать" их, закреплять при помощи письменных знаков.

— Простирается ли процесс демократизации на все научные знания?

— Нет, только на более элементарные. Народные школы устраиваются для всех, средние, высшие и специально-научные школы—только для детей господствующих классов. Современная наука, с ее множественностью методов и нагромождением материала, неспособна к сколько-нибудь широкой демократизации; да и поскольку способна к ней, наталкивается на препятствия в классовом строении общества. Высшее, специализированное знание представляет драгоценную организаторскую привилегию; оно поэтому принимает форму чрезвычайно дорогого товара, покупка которого доступна только немногим. Рядом с демократизацией низших знаний сохраняется аристократизм высшей науки.

— Но разве не выполняется также, и притом в возрастающем масштабе, популяризация самых разнообразных отраслей науки?

— Да, выполняется; но то, что она дает, отнюдь не есть научное знание на всей его достигнутой высоте.

Популяризация знакомит с некоторыми результатами и выводами наук, но не с самыми их методами; овладеть серьезно какой-нибудь наукою, а тем более— с пользою работать в ней, нельзя на основе даже самых лучших популярных ее изложений.

Ни по широте распространения, ни по своему характеру „научная популяризация“ не представляет, в полном смысле слова, демократизации знания, а только ее подготовительную ступень. „Демократизируются“, т.-е. усваиваются широкими массами, знания общие элементарные; „популяризуются“ специализированные, которые, в силу своего более частного интереса, и воспринимаются лишь более узкими кругами этих масс: астрономия находит одних любителей, физика—других, биология—третьих, и т. д. Иначе и быть не может, потому что время для чтения у трудовых элементов общества ограниченное, а специальных популяризаций, при дробности современной науки, очень много.

Надо заметить, что популярные изложения почти или вовсе не дают понятия о действительном, организационном значении соответственных наук в жизни: ведь и в изложениях специально-научных, по которым работают популяризаторы, такого понимания обыкновенно нет, а господствует идея „чистого“ знания. Астроном-специалист вовсе не думает о том, что его наука регулирует всю нынешнюю трудовую жизнь человечества, руководя ориентировкой в пространстве и распределением времени; понятно, что и популяризатор не может об‘яснить этого; а читатель, которому изображают астрономию, как науку о небесных вещах, станет знакомиться с нею лишь в том случае, если чувствует влечение к небесным вещам.

С развитием и усложнением жизни, те или иные из числа специальных наук приобретают новое, возрастающее значение для массы индивидуальных хозяйств; напр., знания государственно-правовые—по мере усиления политической борьбы в обществе, гигиена—по мере роста больших городов с их скученностью населения, угрожаю-

щей его здоровью многими опасностями, порождающей эпидемии, и т. под. Тогда эти знания из области собственно „популяризации“ начинают переходить в область настоящей демократизации, широко распространяются, иногда начинают преподаваться в народных школах.

— Как влияет на демократизацию знаний классовое строение общества?

— Двояким образом. Во-1), как мы уже видели, высшее научное знание, которое есть продукт трудового опыта всего общества, превращается в экономическую привилегию высших классов, тех же, которыми присваивается и материальный продукт общественного труда. В этом нет ничего удивительного: организация общества одна и та же в идейной и в практической области.—Во-2), сама демократизация знаний делается орудием закрепления, упрочения классового господства, потому что ею руководят те же высшие, имущие классы. При посредстве государственного механизма они определяют программу народной школы, понятно—в строгом соответствии с основами современного строя и вообще со своими классовыми потребностями. При посредстве своих ученых и писателей они ведут популяризацию знаний, разумеется, в том же смысле и направлении, при чем еще контролируют и регулируют ее через то же государство.

f) Развитие искусства.

— Чем характеризуется при капитализме жизнь искусства?

— Во-1), с количественной стороны—гигантской производительностью: ни одна из прежних эпох не создавала такой массы художественных продуктов.

Во-2), с организационной стороны,—сильной специализацией, в роде той, какая господствует в науках, хотя все-же меньшей.

В-3), со стороны содержания — тем, что искусство отражает классовое строение общества, приспособляясь к потребностям определенных классов, по преимуществу, конечно, тех, которые господствуют в жизни.

— Порождает ли специализация в искусстве те же результаты, что и в науке?

— В значительной мере—да; но не вполне. Профессиональная ограниченность развивается и у художников-специалистов,—однако не до такой степени, как у людей науки: искусство менее способно отрываться от реальной практики, прежде всего потому, что оперирует над живыми образами, а не над понятиями.

Художественная техника в большинстве отраслей требует долгого специального изучения, — поэтому, как и специализированная наука, доступна немногим, имеющим достаточные средства. Здесь, опять-таки, исключений сравнительно больше, особенно, напр., в области поэзии, беллетристики, где орудия несложны, а технические приемы могут быть усвоены самостоятельно, путем чтения и упражнения в работе. Все же и тут неравенство условий для представителей высших и низших классов остается огромное: первые, благодаря досугу и возможности работать со всеми удобствами, получая без труда все материалы, выбирая всюду лучшее, а также, если надо, находя и опытных руководителей, могут с успехом развивать свои, хотя бы крошечные, дарования; вторые во всей обстановке встречают препятствия и трудности, имеют мало свободного времени, тратят массу сил на борьбу за жизнь, и преодолевают все это лишь при особенной глубине призвания или силе таланта.

Таким образом, экономический аристократизм искусства, в общем, неизбежен, поскольку дело касается самого творчества. Но в том, что касается пользования продуктами этого творчества, демократизма на деле гораздо больше. В качестве товара, продукты эти тяготеют к массам, где сбыт и наиболее, в конце концов, крупный, и наиболее устойчивый. Успех романа, поэмы не-

посредственно может измеряться количеством проданных экземпляров, и понижение цен обычно в интересах как авторов, так и стоящих над ними капиталистов-издателей. Картина, статуя тем больше повышаются в цене, чем больше публики ими восхищается, и также нередко получают массовое распространение в дешевых копиях при помощи печати, фотографии, и т. под. Популяризация искусства, организуемая государством, местными самоуправлениями, частными лицами, в виде художественных музеев, картинных галлерей, выставок и т. д., гораздо более успешно и широко достигает своей цели, чем популяризация науки в научных музеях, публичных курсах и пр. Театр же и музыка считаются по преимуществу „популярными удовольствиями“.

— В чем проявляется классовый характер искусства при капитализме?

— Во-1), в том, что художник смотрит на жизнь глазами определенного класса и с этой точки зрения изображает ее; во-2), в том, что художник, сознательно или бессознательно, подчиняется интересам определенного класса, и они направляют его работу, в выборе предмета, в тех результатах и выводах, к которым он приходит.

Предположим, что художник, будучи членом менового общества и, следовательно, мысля по законам отвлеченного фетишизма, хочет выразить в своих произведениях „чистую красоту“, для чего и ищет ее в природе, в людях. Но „красота“ вовсе не одна и та же, напр., для не-трудовых и для трудовых классов. Все, что в человеке или во внешней среде напоминает о длительных физических усилиях, о напряженном труде, аристократу или капиталисту кажется грубым, непоэтичным, неизящным; для него красивы маленькие руки, маленькие ноги, тонкая женская талия,—все признаки праздной жизни целого ряда поколений; среди душевных свойств он находит поэтичными такие, как гордое сознание своего „благородного происхождения“ или своей власти над множеством

людей, над их судьбою, — как пренебрежение к массам, к простому народу, к его „мелким“ материальным интересам. Все это совершенно иначе для крестьянина, ремесленника, рабочего, если он не успел, как это часто бывает, пропитаться понятиями и чувствами, которые внушаются ему всей культурою высших классов. Для него понятие „красивого“ естественно связывается с признаками, говорящими о трудоспособности и выносливости; благородная гордость, презрение к черни кажутся ему грубым и неэстетичным высокомерием.

Но и у разных трудовых классов эстетика различная. Напр., для рабочего, живущего в городе с его сложными отношениями, с его напряженной борьбой общественных сил, чрезвычайно важным элементом красоты лица является выражение сознательности, боевого протеста; для крестьянина в деревне, с ее узкой и простой жизнью, оно было бы непонятным и вызывало бы смутное беспокойство,— тогда как рабочему наивное лицо крестьянской девушки часто может казаться недостаточно умным.—Так вообще каждый класс видит иными глазами, чем другой класс; а художник комбинирует и выражает то, что видит.

Сюда присоединяется влияние классовых интересов. Когда, напр., Шекспир изображает восставших крестьян XIV века глупыми дикарями, или римских граждан эпохи Цезаря—стадом, которое идет за всяким ловким демагогом, то, при несомненной искренности Шекспира, нельзя не заметить здесь влияния аристократической среды, в которой он вращался: в крестьянах и в их борьбе против зарождавшихся крепостных отношений, в римских демократах он находит именно то, что желательно найти для сторонника аристократических привилегий. Тем менее мог бы отвлечься от классовых пристрастий и симпатий художник менее глубокий и об‘ективный в своих наблюдениях жизни.

Следовательно, художник определенного класса смотрит на мир как бы через двойные очки: во-1), привычные классовые способы мышления; во-2), классовые интересы

и стремления. Те же очки он надевает и своей публике посредством своих произведений,—воспитывает ее в духе своей классовой культуры.

В современной общественной борьбе эта роль искусства огромна; и поскольку оно в руках господствующих классов, оно—очень важная консервативная сила.

g) *Право, нравственность.*

— Чем характеризуется развитие нравственных и правовых норм при капитализме?

— Помимо проникающего их отвлеченного фетишизма и гигантского количества, в котором порождает их усложнение жизни с ее противоречиями, здесь выступают, притом наиболее резко и очевидно, классовые их различия. Каждый класс вырабатывает, сообразно своим понятиям и интересам, такие нормы, которые наилучшим образом устраивали бы его существование, и считает их наиболее „справедливыми". Класс господствующий имеет возможность свои нормы сделать обязательными для общества и проводить их в жизнь через государство, с его судебными и другими учреждениями, а также через свое реально-влиятельное общественное мнение. Классы подчиненные лишены этой возможности; их нормы обладают силою только в их собственной среде, и то лишь отчасти, благодаря их общественному мнению; а вообще остаются не более, как „нравственными и правовыми представлениями" или учениями, теориями.

Так, во Франции XVIII века, когда там уже развивались мануфактуры, господствовала все еще помещичья аристократия, а буржуазия была классом ей подвластным. Законы устанавливались государством,—оно имело форму неограниченной монархии,—в соответствии с желаниями и выгодами дворянства. За ним закреплялись привилегии: из'ятия от налогов, власть над крестьянами, исключи-

тельные права в государственной службе, военной и всякой иной; за другими классами оставались главным образом повинности и обязанности; если же им давались и некоторые права, то именно постольку, поскольку правящее сословие находило это в своих интересах, потому ли, что интересы случайно совпадали, или потому, что казалось неудобным чрезмерно обременять и раздражать низшие классы, толкая их тем на борьбу.

Буржуазия вырабатывала тем временем не только свою науку, философию, искусство, но также свои социальные нормы,—свою мораль и право. Но осуществлять их в общественной практике она не могла, обязательности реальной они не имели: это были только „идеи" или „принципы". Они были теоретически выражены в системе „естественных прав человека", в учении о том, что человеческая личность по самой своей природе обладает известной суммой прав, образующих ее „индивидуальную свободу", и что всякое посягательство на эти права, откуда бы оно ни происходило, является беззаконным насилием. Такими прирожденными, неот'емлемыми правами признавалась свобода хозяйственной деятельности, свобода политических и философских или религиозных убеждений, возможность их беспрепятственно высказывать, равенство граждан перед законами без различия сословий, решение самими гражданами вопросов о налагаемых на них обязанностях, податях, и т. под. Всего этого требовала, по тогдашним буржуазным понятиям, абсолютная справедливость: отвлеченно-фетишистическая форма, в которой для буржуазии, а за нею и для ниже стоявших классов представлялись необходимые организационные условия жизни и развития.

Когда же буржуазия настолько организовала свои силы, что смогла выполнить революцию, тогда ее выработанная система права и морали из области классовых стремлений перешла в область широкой, обязательной для всего общества практики, воплотившись в новом законодательстве и государственном управлении, а также в новом „обще-

ственном мнении", где руководящую роль стали играть буржуазные слои. Напротив, старые права и привилегии дворянства превратились в простые пожелания и мечты реакционеров, а их феодальные нравы могли с тех пор сохраняться лишь в их собственных кругах, и то постольку, поскольку не сталкивались с новым правовым строем.

— Был ли новый правовой строй точным воплощением той системы „естественных" норм, которую буржуазия признавала идеалом в эпоху своего угнетенного положения, своей борьбы за господство?

— Далеко не вполне. Повсюду, где буржуазия, вместе с низшими классами, побеждала старый порядок, немедленно обнаруживались противоречия между ее и их интересами. Так, вместо „равенства всех перед законом", ведущего ко всеобщему избирательному праву, она стремилась установить разные правовые привилегии для капитала, и в частности—имущественный ценз избирателей. „Свободу" она истолковывала таким образом, что еще на первых этапах французской революции строго запретила, законом Шапелье, рабочие союзы и сообщества, как „стеснение индивидуальной свободы" договора между работником и работодателем. К женщинам идея „естественных прав человека", и в частности—равенства с мужчинами перед законом, почти нигде не применялась. Соед. Штаты, при своей борьбе за отделение от Англии впервые выработавшие политическую декларацию „естественных прав", сохранили у себя рабство негров, и т. под.

Правда, в дальнейшем принципы „естественных прав" шаг за шагом осуществлялись, но уже борьбою широких масс, демократических и рабочих, *против* буржуазии, прежней носительнице этих принципов. По мере того, как она отходит от производства, передавая организаторскую функцию в нем наемным служащим, ее *имущественная* сила оказывается все более недостаточной, чтобы противостоять политическим усилиям этих *произ-*

водительных классов, и государство демократизуется, система правовых норм и морального общественного мнения приближается к старым либеральным идеалам.

— Доходит ли на деле где-нибудь до конца их осуществление?

— Нет, нигде. Этому помешало развитие нового класса, создавшее новые, более прогрессивные идеологии: выступление пролетариата, с его коллективизмом, с борьбою против самых основ буржуазного строя и буржуазной культуры.

Пролетариат вначале, пока он культурно не отделялся от остальной демократической массы,—крестьянства, ремесленников, низшей интеллигенции,—был одною из тех сил, которые вынуждали буржуазию отказываться от правовых привилегий, довольствоваться экономическим способом господства, т.-е. властью капитала, и которые таким образом на деле проводили в жизнь идеалы настоящего либерализма. Но когда пролетариат обнаружил свои особые организованные стремления, стал вырабатывать свою собственную культуру, их выражающую, стал бороться за переустройство общества сообразно с нею,— то он вызвал тем самым двойное отклонение от прежнего пути развития общественных форм.

С одной стороны, поскольку ему удавалось добиться для себя уступок, они в значительной мере разрушали основной из принципов старого „естественного права", именно экономическую свободу. Экономическая свобода, равная для капиталиста и рабочего, при крайнем неравенстве их материального положения, означает свободу эксплоатации капиталистом рабочего; и когда рабочие борются, напр., за ограничение законом рабочего дня или за обязательное ограждение машин, они ставят своей целью ограничение этой свободы.

С другой стороны, буржуазия, по мере усиления организованности пролетариата и углубления его противоречий с буржуазным строем, ищет сама новых способов защиты своего господства, и сама старается

ограничить гражданскую, т.-е., политическую и идейную свободу. Для этого она заключает союз с остатками аристократии и сообща с ней борется за принцип „твердой власти“, за укрепление **авторитета** в обществе, т.-е. за организационные формы, противоположные „естественно-правовым“, или либеральным, в точном смысле этого слова. Это—**идеологический поворот** буржуазии от прогресса к реакции. В наше время он происходит во всех странах развитого капитализма, принимая разнообразные и сложные формы, не ограничиваясь областью политической жизни, а переходя и на другие идеологии.

Самые типичные из этих форм—**национализм** и **клерикализм** буржуазии.

Национализм состоит в том, что буржуазия старается вызвать в массах племенную и расовую вражду, чтобы борьбою национальностей заменить борьбу классов. Развивая в народе страх перед военною силою других государств и жажду захвата новых территорий, господствующие классы пользуются тем и другим, чтобы усиливать милитаризм. Это представляет для них, помимо того, что огромные армии нужны им для завоевания и удержания за собою внешних рынков, еще двойное преимущество: во-1), армия есть строго авторитарная организация, школа слепого подчинения; и через эту школу проводится большинство молодых людей низших классов; во-2), армия—гигантская механическая сила в руках буржуазии, с успехом применяемая в тех случаях, где экономическая и политическая классовая борьба принимает оборот, неблагоприятный для буржуазных интересов.

Развивая же, в пределах одного государства, враждебные чувства и столкновения между разными живущими в нем национальностями, буржуазия не только отвлекает силы и мышление масс от классовой борьбы, но кроме того получает поводы для усмирений, подавляющих, иногда надолго, политическую и идейную активность низов, и для разных правовых ограничений, систематически стесняющих эту активность.

Клерикализм, идущий обыкновенно рука об руку с национализмом, есть не что иное, как стремление поддержать или воскресить в массах авторитарное религиозное сознание вместе с его практическими выводами—покорностью и смирением, исключающими классовую борьбу. Клерикальные организации бывают, большей частью, не только идейными, но еще в большей мере практическими, и нередко экономическими: клерикальные партии разных стран, вероисповедные, профессиональные союзы, кооперативы, и т. под. В области правовых норм эти организации проводят разные стеснения идейной и вообще гражданской свободы, опираясь на освящение сословного и классового неравенства, нераздельное с авторитарной сущностью религий.

Культурный поворот буржуазных классов от индивидуализма к авторитету знаменует начало упадка индивидуалистических идеологий.

h) Кризис буржуазных идеологий в мировой войне.

— Что такое мировая война?

— Это по существу экономический, протекающий в форме войны кризис, порожденный развитием новейшего капитализма.

— Какими чертами новейшего капитализма обусловлено происхождение этого кризиса?

— Новейший капитализм характеризуется прежде всего развитием системы рыночных монополий. В этом основной смысл организации синдикатов, трестов, а затем финансовых концернов—гигантских срастаний кредитного и промышленного капитала. Каждая такая группировка предприятий подчиняет себе некоторую долю мирового или, по крайней мере, национального рынка и стремится расширить ее новыми захватами.

Колоссальная сила новых об'единений капитала определяет их особенную роль в капиталистическом государ-

стве. Оно есть вообще организация господства классов собственников над классами трудовыми. Руководящее положение в этой организации заняли повсюду группы финансистов, стоящие во главе синдикатов, трестов и концернов. Могущество многомиллиардного капитала, находящегося в распоряжении этого ничтожного меньшинства буржуазных классов, дало им возможность по своему желанию направлять политику государства, внутреннюю и внешнюю.

Далее, новейший капитализм в своем развитии привел к полному фактическому разделу мирового рынка между финансовыми гигантами.

Раз все захвачено монополистами, каждый из них может расширить свою сферу только за счет других; и тот, кто потерял хотя бы малую часть своих позиций, подвергается величайшей опасности погибнуть, потому что он стал еще слабее, а враги—сильнее. Отсюда—крайнее обострение борьбы между этими организациями, далеко превосходящее остроту прежней широкой конкуренции множества самостоятельных предприятий.

Наконец, на почве обострения борьбы за мировой рынок—чудовищное развитие милитаризма, миллионные армии, миллиардные военные бюджеты. Национальный капитал каждой страны, руководимый финансовыми об'единениями, ковал оружие против национальных капиталов других стран в невиданном масштабе; и этот процесс еще ускорялся благодаря тому, что сам милитаризм доставляет огромный дополнительный рынок свои спросом на разнообразнейшие продукты, особенно на продукты руководящих при новейшем капитализме „тяжелых индустрий"—горных, металлургических, металлообрабатывающих. В таких условиях и прогресс техники истребления шел еще быстрее, чем прогресс техники производства.

— Каким образом эти условия новейшего капитализма могли породить мировой военный кризис?

Кризисы социальной жизни, это—процессы ее реорганизации; они происходят при нарушенном равновесии общественных сил, от чего и зависит их стремительное течение. Так, Великая революция была глубокою перестройкой французского общества. Нарушение же равновесия, ее вызвавшее, состояло в том, что сила буржуазии, прогрессивно развиваясь, переросла силу феодальных сословий, которые до тех пор, господствуя, сдерживали и подавляли ее. В других революциях дело шло о соотношении сил иных классов и групп, но изменявшихся по такому же типу. Войны между народами, долго жившими в мирном экономическом обмене между собою, обусловливались нарушением равновесия между силами связи, вытекавшими из взаимности интересов в этом обмене, и силами давления, происходившими из противоречия интересов. Эти силы давления в феодальную эпоху сводились, главным образом, к земельной тесноте вследствие роста населения, так что тогдашние войны были борьбою за землю; при капитализме основа сил давления—рыночная теснота, создаваемая ростом конкуренции; и войны этой эпохи—борьба за рынки.

Мировая война вызвана подобным же нарушением равновесия, лишь в мировом масштабе. Силы экономической связи между государствами возрастали в ряду мирных десятилетий, вместе с развитием международного товарообмена, в котором поставщики-продавцы товаров так же нужны своим покупателям-клиентам, как и те им. Но при новейшем капитализме еще быстрее росли повсюду силы давления. Основные экономические силы давления заключались в конкуренции национальных капиталов из-за мирового рынка; но сюда присоединились еще силы производные, милитаристические. Миллионные армии, в изобилии снабженные самыми совершенными средствами истребления, постоянно обучавшиеся и подготовлявшиеся к этому делу, не могли не оказывать, в свою очередь, влияния на общество, их создавшее. Из этих организаций, из их жизненного стремления активно

себя проявлять, исходили новые, могущественные силы давления. Присоединяясь к основным, экономическим, и так же быстро возрастая, они вместе с ними перевесили, наконец, силы связи, и тогда наступил кризис,—разразилась война.

— Какие изменения в экономической организации капитализма вызвал этот кризис?

— Во-первых, почти весь капиталистический мир временно раскололся на два враждебные лагеря, являющиеся обособленными экономическими системами. Даже страны нейтральные вынуждены были примыкать экономически к той или другой стороне; и остатки меновых связей между обеими сторонами, сохранившиеся при посредстве нейтральных стран, свелись к относительно ничтожной величине.

Во-вторых, крайнее расточение производительных сил и продуктов труда обусловило во внутренней экономике воюющих стран, а за ними в разной мере и нейтральных, ряд приспособлений „государственного капитализма". Его основу составляет регулирование государством потребления, ведущее затем к регулированию цен, сбыта и наконец самого производства. В сущности это не что иное, как частичное, но возрастающее внедрение потребительного коммунизма в прежнюю организацию. Карточная система, нормирование цен и сбыта есть прямое ограничение частной собственности на предметы потребления, ее принципиальная, хотя и не полная замена общественной собственностью на них. Государство в мирное время содержит армию в условиях потребительного коммунизма; в условиях мировой войны оно милитаризовало огромную часть населения, и тот же тип организации не только непосредственно охватил гораздо более широкую сферу, чем прежде, но в разной мере и степени распространился на все остальные области жизни. Потребительный коммунизм, вместе с вытекающим из него регулированием производства, насколько оно еще ведется, неизбежно устанавливается всегда в длительно

осажденных городах; а при мировой войне в такое положение попали обширные страны.

Организация милитаризма является строго авторитарной; таким же авторитарным оказалось, конечно, и регулирование экономической жизни в государственном капитализме. Специально рабочий класс был повсюду закрепощен „принудительной трудовою повинностью“, представляющей несколько ослабленную форму закрепощения солдат в армии.

— Какие последствия вызвала мировая война в сфере духовной культуры?

— Всякий подобный кризис, поскольку он сопровождается общественной реорганизацией, требует, очевидно, и соответственных перемен в идеологических организующих формах: разрушения некоторой доли старых, преобразования другой их доли, созидания еще иных новых; все это в тем более широких размерах, чем значительнее, чем глубже самая перестройка. Отсюда та кипучая идеологическая жизнь, которая характеризует эпохи великих социальных кризисов.

Это относится и к мировой войне. Даже в сфере идеологии она развернулась в настоящую катастрофу.

Глубокий и сложный переворот испытали как идеологии буржуазные, так и новая, порожденная капитализмом, но ему враждебная идеология пролетарская. Сейчас нам следует рассмотреть кризис буржуазных идеологий.

— Каковы наиболее яркие проявления этого кризиса?

— Во-1), крушение международного права.

Во-2), расцвет двойственной морали.

В-3), огромное усиление элементов авторитарности.

— Что такое международное право, и какими силами определяется его развитие?

— Международное право есть безличная организационная форма для взаимных отношений между государствами, как об‘единениями буржуазных классов разных стран. Оно устанавливается их договорами и регулирует

их взаимные интересы. Естественно, что, по мере развития международного обмена, этих интересов становилось все больше, и связь их делалась сложнее. Отсюда развитие и усложнение международного права. Оно развивалось вплоть до войны, дополнялось новыми постановлениями и учреждениями; еще незадолго до войны был основан международный трибунал в Гааге для третейского разбирательства спорных вопросов.

— Почему прежние войны не вызывали, а мировая война вызвала крушение международного права?

— Пока происходили только частные войны, разрывавшие связи лишь отдельных государств, оно могло оставаться в силе и даже до некоторой степени регулировать самое ведение этих войн. Оно, разумеется, в них нарушалось, и при том очень нередко: история европейско-китайской, англо-бурской войны, американской на Филиппинах, обеих балканских и других полны фактами грубых и варварских его нарушений. Но эти частные нарушения, хотя и касавшиеся нередко тысяч человеческих жизней, не мешали общему признанию международного права воюющими сторонами. И это вполне понятно: общая масса междугосударственных связей и интересов оставалась; подрывать все свои договоры и соглашения с нейтральными странами никакому воюющему государству не было бы выгодно.

Но когда начался мировой военный кризис, и разрыв связей произошел в мировом масштабе, положение радикально изменилось. Исчезло то единство международного рынка, для которого организующей формою являлось международное право.

Так как организующее существует для организуемого и им жизненно определяется, то естественно, что международное право перестало тоже существовать. Конвенции, обязательства, даже союзные договоры обратились в „клочки бумаги“, по выражению авторитетных государственных деятелей,—т.-е. в символы без реального содержания.

— Можно ли рассматривать прежние нарушения и последнее крушение международного права, как „преступления“ воюющих государств?

— Идеологи-националисты всех стран и оттенков для своих боевых целей часто смешивают международное право с тем правом, которое действует внутри каждого государства, и, клеймя „преступления“ враждебных государств, настойчиво требуют суда и наказания за них, намечая, конечно, наиболее выгодные для своей стороны формы и меры этих кар. С научной точки зрения между тем и другим правом есть коренное различие: одно из них функционирует внутри организованной системы— отдельного государства, другое—среди анархистского комплекса независимых государств. Понятия „преступление“, „суд“, „наказание“ заключают в себе идею принудительной силы, регулирующей отношения; внутри государства такая сила имеется; в анархической мировой их совокупности такой силы нет. Поэтому такие понятия к ней логически не применимы. „Наказание“ на деле может последовать; но оно будет определяться не тем, кто „прав“ с точки зрения „закона и справедливости“, а тем, кто сильнее, при чем у виновного и невиновного шансы претерпеть наказание равны.

Международное право действует, нарушается, разрушается именно постольку, поскольку оно организует или перестает организовать реальные отношения и интересы.— Поскольку, мировые экономические связи капитализма восстановляются, постольку опять приобретают значение и силу соответственные формы: международное право воскресает, соглашения и договоры вновь становятся святы и нерушимы, с обычными практическими их нарушениями,— по крайней мере, до другого подобного кризиса.

— Что такое „двойственная мораль“, и как она проявляется в мировой войне?

— Сущность этой двойственной морали или „бимморализма“ заключается в том, что однородные действия

вызывают нравственное осуждение, когда они соверша-ются враждебною стороной, и одобрение, когда совер-шаются своими. Так, напр., вступление Италии и Румы-нии в войну германская печать и общественное мнение клеймили, как предательство, выступление же Болгарии восхваляли, как акт рыцарской доблести. Меры против германцев в Англии характеризовались, как гнусное на-силие; но самые энергичные меры против англичан в своей стране признавались делом высоко патриотическим. В России же и в союзных ей странах все это характе-ризовалось в таких же точно терминах, но применение их было прямо обратное. В военных корреспонденциях одновременно возводили с моральным негодованием на противников обвинение в добивании раненых, и в тех же корреспонденциях с полным сочувствием упоминали, что солдаты, в боевом порыве или справедливом гневе, не брали неприятелей в плен,—хотя под этим подразуме-вается и добивание раненых, и уничтожение бросивших оружие, т.-е. беззащитных людей. Разрушение неприя-телями городов и селений рассматривали, как варвар-ство, разгром же неприятельских городов и селений—как справедливое возмездие; между тем в обычной жизни понятие „справедливости" не считается подходящим там, где виновны одни лица, а возмездие несут другие. Та-ких примеров можно было бы приводить без конца.

Впрочем, этот „биморализм" существует, лишь не столь ярко проявляясь, и в мирное время, в национализме и дру-гих буржуазных и до-буржуазных идеологиях. Так, нацио-налисты, положим, Германии часто выражали негодование по поводу векового угнетения англичанами ирландцев, ин-дусов и порицали англо-бурскую завоевательную войну; но подобное же угнетение эльзасцев и поляков в Гер-мании одобряли, как высоко-нравственное дело приоб-щения низших народов к высшей культуре; английские националисты те же факты оценивали в противополож-ном смысле. Еще резче выступает биморализм в отноше-ниях между классами, когда одинаковые действия опре-

деляются смотря по тому, от кого исходят, то как преступный бунт или злоупотребление силою, то как законное отстаивание священных прав, и т. под.

Тот же тип морального сознания вызывает осуждение и насмешку буржуазных идеологов, когда наблюдается у отсталых племен и народов. Тогда он обозначается, как „готтентотская мораль“, на основании формулировки, приписываемой одному готтентоту; „добро есть, когда я краду чужую жену, зло—когда у меня крадут жену“.

— Как возможна такая нелогичность у цивилизованных народов?

— Эта нелогичность сразу отпадает, если с морали снять оболочку фетишизма и понять ее социально-организационную сущность. Вполне естественно, что для обособленного и замыкающегося на своих исключительных интересах коллектива известные действия, для него организационно-полезные, получают одобрительную моральную характеристику, а такие же действия со стороны другого коллектива, оказываясь для первого организационно-вредными, морально отрицаются.

— Чем было вызвано усиление элементов авторитарности в общественных идеологиях за время мировой войны?

— Тем, что благодаря этой войне главная общественная функция перешла, и надолго, к армии, организации, построенной по авторитарному типу; армия сама разраслась в несколько раз, поглощая массу лучших сил общества; жизненно подчиняла себе, приспособляла к своим потребностям все другие организации, производственные, политические, даже культурные. Она давала тон жизни общества, и, конечно, тон этот соответствовал ее авторитарному характеру.

— В чем выражается это усиление авторитарности?

— Оно выступает особенно наглядно в сфере политики и в области общего мировоззрения людей. Даже в наиболее передовых, наиболее демократичных из вою-

ющих стран их прежние индивидуалистические „свободы“ в наибольшей своей части перестали на практике действовать, уступая место административной диктатуре; не только обширные районы, связанные с фронтом, подчиняются дискреционной, т.-е. неограниченно-авторитарной военной власти, но ей же подпадают и наиболее важные функции общественной жизни всего тыла; а гражданская бюрократия тыла, разрывая прежние формальные рамки своей деятельности, усваивает приемы, навыки и точки зрения военных властей. Личность гражданина в передовых странах, подобно личности обывателя в отсталых, окружается патриархальною опекой во всех своих активных проявлениях, начиная с перемещения из города в город и кончая высказыванием мыслей в печати или даже в частной переписке.

Параллельно с этим наблюдается рост религиозности, ее распространение среди элементов общества, раньше к ней индиферентных или враждебных. Это специфически-авторитарное мироотношение получило местами новое, оригинальное развитие. Обострившееся националистическое настроение воскрешало идею национальных богов. Так, в некоторых приказах Вильгельма, выразителя тенденций весьма влиятельных среди новейшей Германии, в некоторых родственных этим приказам по духу рассуждениях шовинистов ученых с большой ясностью выступает мысль о германском национальном боге, вдохновляющем свой народ для борьбы с враждебными расами и дающем ему новые средства к этой борьбе, в виде цеппелинов, удушливых газов и т. под. Такая роль божества, как активного союзника одной стороны, очевидно, предполагает аналогичную позицию других национальных богов, без наличности каковых с этой точки зрения нельзя было бы понять самую возможность борьбы, а тем более затяжной и колеблющейся. Разумеется, германские идеологи в этом случае, как и во многих других, лишь более решительно оформили общую тенденцию, свойственную военным идеологиям.

Обыкновенно возврат к религиозности в эпохи бедствий приписывают жажде утешения. Разумеется, авторитарные мировоззрения, основанные на слепой вере, гораздо легче могут давать желаемое утешение, чем всякие иные. Но это—суб'ективная сторона дела. Об'ективная же организационная роль этих мировоззрений, в смысле поддержания авторитарной дисциплины во всех ее видах, как среди армии, так и среди народных масс вообще, еще более социально важна и не менее очевидна.

— Не противоречат ли этому указания компетентных наблюдателей на то, что в одной из воюющих стран—в Англии—религиозность в годы войны стала заметно понижаться в массах населения?

— Там имелись особые условия, из которых возникла другая тенденция, как бы замаскировавшая первую.

Как выяснялось, идеология вообще консервативнее других сторон жизни, и отстает от них в своем развитии. Этот консерватизм и отставание тем значительнее, чем сильнее и постояннее процветание общества, класса, группы: тогда нет потребности в перемене организующих форм на новые, нет ударов и толчков, которые разрушали бы старые. Такое процветание выпало на долю Англии в гораздо большей мере, чем на долю других стран Европы. Одним из результатов было то, что религиозные элементы мировоззрения сохранялись в ее буржуазных классах, и даже вообще в ее населении, особенно упорно, без соответствия с ее высоким развитием капитализма, а с ним—индивидуализма,—сохранялись в большем количестве, чем в некоторых экономически значительно менее развитых странах. Имелся очень большой излишек авторитарно-религиозных элементов мышления сравнительно с тем количеством, какое соответствовало бы экономическому и техническому уровню общества.

Мировая война явилась могучим потрясением, которое подорвало вместе с благосостоянием английских народных масс идеологический их консерватизм. Разру-

шительно действуя на все стороны жизни общества, оно в первую очередь разрушало, естественно, как раз то, что уже раньше отжило и держалось только механически, не коренясь в созданных развитием условиях и потребностях жизни. Таким образом и был разрушен значительный излишек авторитарно-религиозных пережитков, перевесивший созидание вновь подобных же элементов силами войны на основе ее организации. Получился видимый парадокс—понижение религиозности, благодаря войне, в английских народных массах, рядом со значительным повышением ее на той же почве хотя бы в союзной с Англией, мало религиозной до тех пор Франции. Но это—парадокс того же рода, как разрушение в России авторитарного политического строя—самодержавия—революцией, вышедшей из той же войны, которая и в России первоначально и повела к росту авторитарности: отжившая задолго еще до войны политическая система не выдержала сокрушительных ее толчков и распалась.

— Если война ведет вообще к росту авторитарных отношений и усилению авторитарных идеологий, то не должна ли она также развивать тот специфический консерватизм, который присущ, как мы знаем, всякой авторитарности?

— Да, такая тенденция неизбежно при этом возникает. Она ведь зависит от того, что организаторскую деятельность при авторитарном сотрудничестве выполняет личность, а масштаб деятельности общественный,—организовать приходится жизнь некоторого коллектива: всякое изменение в технике, в строении, в идеях такой организации, вызывая, благодаря ее связности, ряд перегруппировок и перемен в самых различных ее частях и функциях, до крайности усложняет и затрудняет работу организатора, требует от его психики часто непосильной затраты энергии. При гигантских размерах и сложности авторитарных организаций, выступающих в мировой

войне, стремление к консерватизму должно оказываться тем сильнее.

Но война, как жестокий организационный кризиз и как напряженная борьба коллективных сил, пред'являет требования, резко противоречащие этому консерватизму. Техническая прогрессивность и организационная гибкость тут являются вопросом жизни; сохранение устарелых методов и форм угрожает гибелью. Это противоречие внутренних „рутинных" тенденций военно-авторитарного устройства с внешней необходимостью быстрого и точного приспособления наблюдалось за время войны во всех странах, давало себя чувствовать в поражающих ошибках и самых тяжелых крушениях, служило предметом бесчисленных жалоб и обличений. Всего же сильнее оно сказывалось, понятным образом, в наиболее авторитарной до-революционной России.

Как жизнь выходит из этого противоречия? Так, как она выходила из подобных же противоречий во все авторитарные эпохи: ценою громадного расточения сил, ценою массы страданий консерватизм все-таки преодолевается давлением необходимости; оно пробивает техническому и организационному прогрессу путь сквозь инертность и сопротивление системы. Назревшая потребность удовлетворяется,—конечно, с запозданием. Это запоздание при прочих равных условиях тем значительнее, чем глубже и полнее система проникнута авторитаризмом, чем примитивнее, архаичнее его формы.

— Могут ли изменения в идеологиях, порождаемые войною, сохраниться и после нее? И насколько прочными они тогда могут оказаться?

— Идеологические формы закрепляют, фиксируют текучие жизненные отношения. Поэтому они устойчивее этих отношений, и сохраняются еще тогда, когда уже исчезла их непосредственная реальная основа. Специфическая идеология военного времени должна, следовательно, пережить войну. И как всякий такой пережиток, она

должна оказаться в противоречии с потребностями мирного времени, стать препятствием к их удовлетворению.

Особенно это относится к авторитарному консерватизму. Возрождение системы производства, восстановление разрушенных производительных сил и экономических связей, перераспределение общественной энергии с переходом от истребительных задач к созидательным,— все это требует огромных усилий в смысле технической прогрессивности и организационной пластичности социального целого. Господствующие классы, и без того отличавшиеся большой консервативностью по отношению к социальным формам, очевидно, при усилении авторитарной стороны их идеологии еще менее склонны и способны к инициативе в таком направлении. Они не обнаруживали ее даже настолько, чтобы закончить войну, давно уже ставшую явно невыгодной и опасной для них самих. Поэтому, как и предвиделось, эта инициатива путем ряда революций и усиленной классовой борьбы, переходила к трудовым классам, не только инициатива после-военного строительства, но и самого окончания войны, как это было сделано революцией в России. Путем революций и обостренной классовой борьбы, должно будет ликвидироваться идеологическое наследство войны заодно с экономическим.

i) Переходный характер капиталистической культуры.

— Можно ли считать капитализм определенной общественной системою, в полном смысле этого слова?

— Нет, капитализм правильнее считать длительным и сложным переходным процессом, ведущим от одной определенной и однородно-построенной общественной организации к другой. Этот переходный характер обнаруживается в неоднородности его строения, экономи-

ческого и культурного, и в постоянно изменяющихся соотношениях его элементов.

— В чем заключается неоднородность экономического строения капитализма?

— Во-1), его производство, как целое, построено иначе, чем его части: отдельные предприятия планомерно организованы, вся же система не организована планомерно, в целом она анархична.

— Во-2), его производство разнородно с его присвоением: первое в самой основе коллективно, второе неизменно остается индивидуальным.

— В-3), капиталистическое общество распадается на классы, которые не представляют простых органов единого социального тела, взаимно дополняющих друг друга, как феодальные сословия, но организуются самостоятельно и отдельно, во взаимной борьбе.

— Сглаживаются или усиливаются эти проявления неоднородности?

— По мере развития капитализма они усиливаются. Возрастающий размах техники машинного производства, с вытекающим из него расширением сотрудничества, и концентрация капитала непрерывно повышают степень организованности и ее размеры в отдельных предприятиях; но неорганизованность целого сохраняется в полной мере, и борьба предприятий-гигантов на мировом рынке еще обостряется; индивидуальное же присвоение ценностей доводит до того, что в распоряжении отдельных личностей оказывается коллективный труд сотен тысяч людей и коллективный продукт миллионов работников. Основные классы общества не только не приспособляются один к другому, но превращаются во все более враждебные лагери: каждый класс развивает свой тип организации, который он и стремится распространить на все общество путем окончательного подчинения, либо устранения другого класса.

— В чем состоит культурная неоднородность строения свойственная капитализму?

Во-1), будучи в основе **индивидуалистической** культура буржуазных классов неспособна, однако целостно и по всей линии провести принцип индивидуализма, а принуждена смешивать его с **авторитарными** способами мышления, потому что в самой практике эти классы не могут обойтись без авторитарного типа организаций.

Во-2), эта культура накопила гигантский, коллективно собранный или созданный материал научных знаний и произведений искусства. Но, как и само капиталистическое общество, эта масса идеологических продуктов организована лишь в отдельных своих частях и неорганизована в своем целом. Неорганизованность заключается, с одной стороны, в раз'единяющей специализации, благодаря которой разные отрасли науки, искусства живут обособленно и, независимо развивая свои методы, расходятся дальше и дальше. С другой стороны, став товаром, коллективный идеологический продукт присваивается каждым индивидуально, по мере его средств, и потому в своей наибольшей и наиболее совершенной части оказывается доступен лишь немногим; а этим с'уживается и стесняется самая возможность идеологического развития.

В-3), буржуазные идеологии, вначале охватывающие все капиталистическое общество, затем становятся все менее способными организовать жизнь растущего производительного класса—пролетариата, все более стеснительными и враждебными ее развитию; и затем на почве классовой борьбы они сами извращаются, поворачивают к прошлому, приходят в упадок.

Все эти условия неоднородности, анархичности и противоречий культуры капиталистической преодолеваются в идеологиях коллективизма.

Идеологии коллективизма.

а) Технические и экономические основы коллективизма.

— Где лежат технические условия, породившие коллективизм?

— В машинном производстве. Оно дало новый характер человеческому труду, развило новый тип сотрудничества между рабочими; а отсюда возникли и новые способы мышления.

— В чем заключается новый характер труда?

— При ручном труде инструмент приводится в действие прямым усилием работника, при машинном же— механизмом. В первом случае, если инструментом сделано, положим, 10.000 движений, то это значит, что работник выполнил такое же число соответственных усилий; во втором—совершенно иначе: работник только управляет машиною, т.-е. пускает ее в ход, контролирует и регулирует ее движение, исправляет нарушения хода, останавливает ее, когда надо. В первом случае вся механическая сторона труда лежит на работнике; при мануфактурном разделении операций часто только она на нем и остается: работник превращается в настоящую машину для определенных движений. Во втором случае именно эта сторона труда в значительной мере,—и чем дальше, тем больше,—снимается с работника; но взамен того вы-

ступает и получает преобладание другая—распорядительская сторона: человек распоряжается работою машины, сообразно целям производства.

Иным становится все содержание труда. В мануфактуре оно сводилось к ряду физических усилий, выполняемых на основе пассивного подчинения руководящей воле предпринимателя или его надсмотрщика. При машине функция работника отнюдь не ограничивается подчинением и физическим усилием; главное место в ней занимают другие моменты: наблюдение, внимание, соображение, даже инициатива,—когда расстраивается что-нибудь в механизме.

Но что представляют эти моменты труда? Раньше они были свойственны специально работе организаторской. Роль организаторов производства во все времена заключалась в том, чтобы распоряжаться действиями исполнителей, контролировать, регулировать, направлять их при помощи наблюдения, внимания, соображения, инициативы; и все это мы находим здесь, только в отношении работника не к другим, подчиненным работникам или рабам, а к машине—„железному рабу", лишенному жизни, но заменяющему многих живых. Следовательно, труд, оставаясь исполнительским, здесь получает содержание организаторского. И он приобретает такой характер тем в большей мере, чем выше тип устройства машины. При машинах несовершенных рабочий должен непосредственно дополнять грубые движения механизма своими, более сложными; при машинах автоматических он уже всецело „управляет" механизмом.

Итак, новая форма труда есть исполнительско-организаторская, сливающая воедино черты двух его видов, прежде резко разделенных.

— Можно ли считать развитие этой новой формы уже теперь завершившимся?

— Нет; даже в отраслях наиболее передовых по технике оно не доходит еще до конца; и не может дойти при капитализме. Оно, как мы видели, зависит от типа

машин, от их совершенства; но капиталистический строй не стремится, собственно, к совершенству машин, а считается только с их выгодностью для предпринимателей. Между тем далеко не всякое действительное усовершенствование выгодно для капиталиста.

Дело в том, что, нанимая рабочих, он оплачивает им только необходимое рабочее время, а прибавочное получает в свою пользу,—в этом и состоит сущность эксплоатации. Покупая же машину, которая заместит часть этих рабочих, он оплачивает другому капиталисту всю ее трудовую стоимость—и необходимое, и прибавочное рабочее время, которое на ее производство затрачено. Получается вот что.

Предположим, что сумма труда, идущая на производство машины,—10.000 раб. дней; и значит, если рабочий в день создает стоимость, выражаемую одним рублем, то денежная ценность машины—10.000 рублей. Пусть она до своего изнашиванья сберегает всего 18.000 трудовых дней. Ясно, что это—машина весьма полезная для производства, потому что сберегает чистых 8.000 дней работы. Но стоит ли капиталисту вводить ее? Если необходимое рабочее время—половина рабочего дня, то нормальная заработная плата—половина рубля. Капиталист нанимает рабочих на 18.000 дней труда и платит им по 50 коп., всего 9.000 рублей. За машину же, их заменяющую, надо платить 10.000: явная невыгода.

Поэтому часто наиболее совершенные механизмы не могут теперь находить себе применения. Пока наивысший их тип, достигнутый притом в немногих отраслях, автоматический, где машина производит весь продукт с начала до конца. В тех отраслях, где труд наиболее сложен, капитализм, очевидно, и до этого типа не дойдет, потому что машины тогда потребовались бы слишком „дорогие". Тип же еще более высокий, какой намечается наукою, останется вообще чуждым капитализму; это— механизмы автоматически регулирующиеся

— В чем сущность этого типа, и как он намечается?

— Главная роль работника при машине—надзор и контроль над ее действием. Уже теперь в иных случаях некоторые части этих функций переходят от работника к разным регулирующим и предохранительным аппаратам, при чем выполняются, конечно, гораздо точнее и быстрее. К приспособлениям такого рода относятся „регуляторы“, напр., силы пара в котлах, силы тока, скорости машин и т. под.; затем автоматические сигнальные приборы, извещающие работника о необходимости его вмешательства; далее такие, которые останавливают машину при определенных нарушениях ее хода, и проч.

Когда машины доведены до ступени простого автоматизма, или хотя бы близкой к нему, то работников при них остается уже немного, и дальнейшее введение целого ряда приспособлений контрольных, сигнальных, вообще „регуляторов“, может дать лишь небольшую, сравнительно, экономию на рабочей силе, а обойтись должно недешево; для капиталиста нет мотивов к этому. Поэтому в современной промышленности настоящих, целостных механизмов этого типа не найти; примеры их можно пока указать только среди машин для истребления. В военном деле предприниматель—государство, и экономия на цене машин не так важна, как быстрота, точность и совершенство их разрушительного действия; там—высшие образцы современной техники. Такова Уайтхедовская торпеда, самодвижущаяся пловучая мина для взрыва кораблей. Это машина не только автоматическая, но и сама регулирующая свой ход под водою: целый ряд гениально-тонких приборов заботливо следят за тем, чтобы она шла в точности по тому направлению и на той глубине, какие желательны для того, кто ее пустил; всякое случайное отклонение вверх или вниз, вправо или влево они тотчас же исправляют, до конца пути. Сложность аппарата огромна.

Автоматически-регулирующиеся механизмы для производства будут, разумеется, еще гораздо сложнее; и они

станут возможны только тогда, когда в экономике руководящей силою сделаются интересы производителей и производства, а не эксплоатации; другими словами — только при коллективистической организации.

— Какие изменения в характере труда должна вызвать эта высшая ступень научной техники?

— Дальнейшее сближение разных видов труда. При нынешнем машинном производстве сохраняется все же глубокое различие между работою „простого работника“ и инженера; первая только технически-сознательна, вторая же имеет научный характер; первая требует от человека общего понимания механизма, дисциплинированного внимания, толковости; вторая же—и оформленного, точного научно-технического знания.

При саморегулирующихся механизмах уровень „простой“ рабочей силы должен еще повыситься. Там работнику придется время от времени производить сопоставление данных, доставляемых разными регулирующими аппаратами, делать оценку совокупности этих данных, и с выводами, из нее вытекающими, сообразовать свое вмешательство в ход всего механизма. Очевидно, это будет настолько же инженер, насколько рабочий: слияние функций, теперь резко разделенных.

Если при этом и будет сохраняться роль инженера,—руководителя над группой работников,—то она не будет качественно отличаться от роли этих работников: „организатор“ тогда действует теми же методами, что „исполнители“, только над более широким матерьялом технических данных. Тип рабочей силы окажется один, различны лишь степени ее развития.

— Как изменяется форма сотрудничества в зависимости от всего развития рабочей силы, порождаемого разными ступенями машинной техники?

— Сотрудничество от разнородности шаг за шагом переходит к однородности.

В эпоху мануфактур капитализм довел специализацию до крайности. Работник превращался в машину для отдельной, часто мельчайшей, трудовой операции; все содержание труда сводилось для него к нескольким определенным движениям, в каждой специальности иным, особым. Что общего в булавочной мануфактуре между действиями работника, который тянет проволоку, и действиями другого, который ее перерезывает? Здесь разнородность труда полная, не меньше или даже больше, чем между разными ремесленниками. И рядом с этим—целая пропасть между работою таких машинообразных исполнителей и руководящих ими организаторов, функция которых всецело „духовная".

Машинное производство прогрессивно ослабляет эту разнородность по обеим линиям. Специализация, собственно, остается: отрасли производства не смешиваются между собой, и в каждой имеются разные технические операции, выполняемые с помощью разных машин. Но все возрастающая доля разнородности работ переносится с людей на машины. Содержание труда работников даже при весьма несходных машинах становится сходным в главной и наибольшей своей части: функциях надзора за машиною, контроля, регулирования, соображения. А движения рук составляют все менее важную и значительную сторону этой работы, хотя она и называется попрежнему „физической". Такая тенденция к однородности рабочей силы уже теперь весьма сильна, особенно в передовых отраслях производства.

Уменьшается затем, хотя и более медленно, степень другой разнородности—труда „умственного" и труда „простого", т.-е. научно-организаторского и исполнительского. Мы видели, что исполнительская роль при машине принимает черты организаторской; в ней выступают на первый план усилия характера „интеллектуального" или „духовного", и возрастающая степень технической сознательности и общей интеллигентности работника становится основным ее условием. Дальнейшие же стадии ма-

шинной техники,—стадия автоматизма и затем автоматического регулирования машин,—повышая дальше и дальше уровень „простой“ рабочей силы, ведут, и в конце концов должны привести ее к настоящей однородности с рабочею силой научно-организаторской, „инженерской“.

Однородное, на сознательности основанное сотрудничество обозначается, как „товарищеское“. Машинное производство широко развивает его в рабочей среде; но наряду с ним или, вернее, *над* ним остается и сотрудничество авторитарное, власть научно-организаторская. Благодаря этому, товарищеское сотрудничество в непосредственном рабочем процессе теперь еще не получает законченной формы, своего полного значения.

— *Как следует представлять эту законченную форму?*

— Она отличается тем, что в товарищеском коллективе все дела *решаются сообща* и *сообща*, насколько это надо, *выполняются*. На современной фабрике организаторы работ не принадлежат к товарищескому коллективу, и основные решения в делах производства принимаются без рабочих, роль которых тут сводится к подчинению; они образуют товарищеский коллектив *исполнителей*. Это — вынужденное ограничение, которое может быть устранено лишь изменением всего строя экономических отношений, и притом с поднятием рабочей силы на высший уровень, когда и организаторы войдут в товарищеский коллектив, как сотрудники, превосходящие других лишь по *степени*, а не по *типу* развития.

— *Всегда ли и всюду рабочий коллектив при капитализме остается только коллективом исполнителей?*

— Нет. В области классовой борьбы рабочие являются, конечно, самостоятельной стороною. Там у них складывается организация тоже товарищеская, потому что к этой форме сотрудничества их приучил процесс производства; и там им приходится не только исполнять, но и самим

решать, так что вырабатывается уже теперь более полная связь товарищества. Однако, надо иметь в виду, что вырабатывается она все-же не сразу. На первых ступенях классовой организации сильно сказываются привычки пассивного подчинения, в виде слабости инициативы массовых членов организации, недостаточного контроля над выборными товарищами-руководителями, слепого следования за отдельными выдвинувшимися вождями, и т. под. Самые условия классовой борьбы примешивают к дисциплине товарищеской элементы дисциплины авторитарной: необходимость централизованного единства действий и быстроты в решениях часто заставляют всех подчиняться указаниям немногих, без критики и обсуждения, по доверию к их компетентности.

Но по мере повышения сознательности рабочей силы эти остатки авторитарных отношений в рабочем классе частью отпадают, частью же, сохраняясь лишь в пределах необходимости, перестают определять собою духовный склад пролетариата, способы его мышления.

— Насколько широкие коллективы товарищеского сотрудничества создаются в современном обществе?

— Непосредственное об'единение—в одном предприятии—с ростом концентрации капитала доходит уже теперь часто до тысяч, иногда до десятков тысяч людей. Но рамки коллектива отнюдь не сводятся к отдельному предприятию.

Рабочая сила при капитализме становится подвижной, человеческий материал предприятий текучим. Рабочий рынок то с'уживается, выбрасывая из фабрик и заводов тысячи ненужных ему рук, то расширяется, поглощая те же и другие тысячи. Классовая борьба с ее стачками и локаутами порождает такие же перемещения. Человек работает сегодня с одними, завтра с другими товарищами, часто даже вчера в одной, завтра в другой трудовой специальности: однородность работ, развиваемая машинным производством, позволяет переходить от одного дела к дру-

гому после обучения, во много раз более короткого, чем это было раньше, когда ученичество в ремесле продолжалось по нескольку лет.

При такой подвижности труда каждый рабочий становится возможным сотрудником для каждого другого. Классовая борьба дополняет эту связь и закрепляет ее, на деле обнаруживая общность экономического положения всех работников, общность их интересов. Коллектив расширяется до пределов рабочего класса, разрывая не только границы технических специальностей и отраслей, но даже границы наций и государств: в пределах одного класса он стремится стать мировым.

Этот характер рабочего коллектива наметился уже давно. Но степень его организованности в различных частях весьма различна, и в его целом пока еще слаба. С прогрессом жизни она непрерывно возрастает; технические и экономические силы капитализма неуклонно формируют мировой товарищеский коллектив.

Мировая война могла лишь временно пошатнуть связь этого коллектива; его новое сплочение началось еще до ее конца, и есть все основания ожидать, что та подавляюще-дорогая цена, в которую обошлось рабочему классу его военное раз'единение, сделает это сплочение еще более прочным и глубоким, чем то, которое существовало до войны.

b) *Общие черты идеологий коллективизма.*

— Какие черты мышления необходимо вытекают из выясненных нами технических и экономических условий?

— Вытекает ряд тенденций мышления, из которых основными можно считать следующие:

1) Разрушение иллюзий индивидуализма: там, где буржуазное сознание ставило личность, как самостоятельный центр интересов, стремлений, познания,

действия; новое сознание приучается ставить группу, организацию, класс, вообще *коллектив*. Это—коренная перемена точки зрения.

2) *Разрушение отвлеченного фетишизма*, который, мы знаем, необходимо связан с индивидуализмом, как его дополнение. Отвлеченный фетишизм силы общественные принимает за независимые от людей, напр., ценность, которая есть социально-трудовое отношение,—за свойство товара, нравственный долг, который есть социально-организационная форма,—за абсолютный, надмировой закон, и т. п. Новое сознание раскрывает один за другим все подобные фетиши, находит их действительный, социальный смысл, а вместе с тем их только историческое, преходящее значение.

3) *Разрушение остатков фетишизма авторитарного*. Мы видели, что буржуазное сознание не может покончить с ними, потому что буржуазный мир не может, по своей коренной неорганизованности, обойтись без авторитарного способа организации. Товарищеское сотрудничество само имеет *организованный* характер; в нем организаторская и исполнительская функции *не раз'единяются*, воплощаясь в отдельных личностях, а *сближаются* и стремятся к слиянию в коллективе. Поэтому оно не только противоположно и враждебно авторитаризму, и в практике, и в мышлении, но также способно вполне без него обходиться в своем полном развитии.

4) *Разрушение остатков статики*. В буржуазном обществе она сохраняется по своей неразрывной связи с авторитарными элементами, особенно религиозными. В эпоху упадка буржуазных классов она усиливается, как усиливаются в них и авторитарные стремления. Задачей этих классов становится *удержание* старого строя, *остановка* движения, ведущего к новому. Понятно, что в их мышлении об обществе, о социальных вопросах, идея неподвижного, неизменного, т.-е. статика, находит вновь себе место. Их мышление перестраивается

сообразно желаниям; стараются доказать, что внутри общественная борьба, классы, подчинение и т. д.—вечны, неизменно необходимы, что без них невозможен прогресс жизни, и т. под. Для нового коллектива задачей является как раз наиболее глубокое и полное изменение общественных форм; понятно, что тут для представления о неизменном и вечном никакой почвы не оказывается.

— До конца ли идет развитие этих общих тенденций в классовой идеологии пролетариата при капитализме?

— Нет. В капитализме есть много условий, стесняющих и задерживающих идеологическое развитие рабочего класса. Поэтому в его мышлении должно сохраняться много элементов старых культур, индивидуалистической и авторитарной, и полного их исчезновения, при отсутствии материальной свободы культурного прогресса для пролетариата, ожидать нельзя. В пределах же капитализма материальная свобода неосуществима: ее исключают нужда, необеспеченность, принудительно-долгий рабочий день, невозможность выбора работы по призванию, и т. под.

Рабочий класс происходит из мелкой буржуазии, крестьянской и ремесленной, и на первых порах вносит весь ее прежний духовный склад в свою новую жизнь. Затем он подвергается сильному культурному влиянию крупной буржуазии и буржуазной интеллигенции, которые руководят им в производстве; подчиняясь их авторитету, рабочий класс невольно усваивает во многом их взгляды, их точку зрения. Особенно сильно сказалось это на пролетариате Англии, который всего дольше находился под воспитательным действием буржуазной культуры: Англия пережила мануфактурный период — больше двух веков, тогда как другие страны переживали его гораздо короче, либо совсем миновали, выступив много позже на путь капитализма, когда уже была выработана техника машинного производства; а в течение мануфактурного периода классовой организации пролетариата не существо-

вало. И несмотря на экономически-передовое положение Англии в мире, несмотря на высокий уровень общей интеллигентности английского рабочего и огромную энергию, обнаруженную им за последнее столетие в классовой борьбе, его культурная жизнь заключает в себе массу остатков индивидуализма и авторитаризма, которые теперь устраняются с огромным трудом и колебаниями. Там высоко стоит до сих пор религиозность, в правовом сознании сильны еще идеи буржуазного либерализма, в нравственном—мещанские идеалы, особенно по отношению к семье, к подчинению жены и детей, нерушимой святости брака, и т. под. В профессиональных организациях—трэд-юнионах—самое об'единение большей частью еще понимается, как союз личностей, совместными действиями осуществляющих свои личные интересы; это понимание—вполне индивидуалистическое, оно свойственно союзам мелко-буржуазным и буржуазным (старые цехи, крестьянско-мещанские потребительные, ссудо-сберегательные общества, акционерные компании, синдикаты, тресты). Для нового сознания цель организации—развитие жизни и сил целого, коллектива, а не личностей, как отдельных, независимых единиц.

Такая же своеобразная отсталость при высокой культурности характеризует и пролетариат американский, по своему происхождению—ветвь английского. Обычно отсталость эта приписывается сравнительному благосостоянию того и другого за прошлое столетие. Но благоприятные условия труда сами по себе не порождают идеологической отсталости,—они могут только способствовать ее поддержанию, когда она есть; иначе вся борьба пролетариата за заработную плату, рабочий день и пр. вела бы к замедлению и остановке его идеологического развития. Ухудшение условий труда в Англии и в Америке дало толчок движению в сторону коллективизма, но не потому, чтобы само в себе заключало коллективизм, а потому, что разрушительно подействовало на привычные индивидуалистические и религиозные иллюзии.

Пролетариат других стран, будучи по уровню жизни и по степени интеллигентности большей частью ниже английского и американского, должен больше их учиться, но в меньших размерах переучиваться. Во всяком случае, теперь во всех капиталистических странах процесс выработки форм нового сознания и разрушения старого идет среди рабочего класса быстро и интенсивно. Но переход от одной культуры к другой, иной по самому типу, есть гигантская перестройка; он вполне наметился и определился среди господствующего смешения их элементов, но завершится он лишь тогда, когда все необходимые для него силы будут экономически освобождены.

— Если основа индивидуализма есть рынок с его борьбою, то как может освобождаться от индивидуализма пролетарское сознание, когда пролетарий связан с рынком и как продавец рабочей силы, и как покупатель товаров? И если основа авторитаризма лежит во власти-подчинении, то не должен ли он нерушимо поддерживаться тем, что весь труд работника проходит в подчинении власти предпринимателя и его служащих?

— Рабочий и остается индивидуалистом, пока он на рынке выступает индивидуально, как всякий обыкновенный продавец-покупатель в меновом обществе. Но на почве трудового об'единения и классовой борьбы происходит превращение главного для рабочих менового акта—продажи рабочей силы—в новую форму: переход от индивидуального к коллективному договору с капиталистами, результат стачечного движения, и затем профессиональной организации рабочих. В коллективном договоре о найме рабочий в действительности не индивидуальный мелкий продавец своего товара—трудовой силы, а член борющегося коллектива, и рынок уже не может больше развивать в нем иллюзий индивидуализма.

Как покупатель жизненных средств, рабочий и тогда еще может подвергаться влиянию рынка. Но это частичное влияние, в свою очередь, подрывается организационным процессом; воспитываясь на единении, общей борьбе, коллективном договоре, пролетарий стремится и как покупатель действовать сообща: развивается организация „потребительных обществ“, так называемое кооперативное движение.

Таким образом, профессиональная и кооперативная организация не только экономически выгодны рабочему классу в отстаивании его материальных интересов: они имеют вместе с тем огромное идеологически-воспитательное значение, освобождая его от индивидуальной борьбы рынка, порождающей иллюзии буржуазного сознания.

Что касается связи подчинения между рабочим и теми, кому он подвластен в производстве, то она, конечно, воспитывала в нем авторитарное мышление, пока он просто принимал ее, как нечто естественное и необходимое, пока отношения на фабрике были, как принято говорить, „патриархальными“. Но когда рабочие борются против этих отношений, когда их подчинение практически выступает как вынужденное, и власть, над ним стоящая, как другой лагерь, тогда авторитарная связь теряет свою силу над их мышлением, потому что теряет характер живой связи, настоящего сотрудничества: то, против чего люди борются, воспитательного влияния уже иметь не может. Скорее даже напротив: вынужденность подчинения подрывает авторитарный дух. Так когда-то в буржуазии власть феодального сословия, против которой она боролась, только обостряла дух индивидуализма, жажду освобождения личности. Для пролетариата результат тот же, с той разницей, что вместо индивидуализма буржуазии против авторитарности поднимается коллективизм, жажда освобождения классового и с ним общечеловеческого.

c) *Трудовая причинность.*

— Что такое „трудовая причинность“?

— Это новое понимание причинной связи, развивающееся на основе машинного производства и порождаемой им высшей формы сотрудничества.

— Почему должно на этой основе возникнуть новое понимание причинности и не может удержаться старое, свойственное меновому обществу,—идея „причинности-необходимости?

— Потому что „причинность-необходимость“ произошла из „экономической необходимости“ менового общества, выражающей власть общественных отношений над людьми. А власть эта зависит от неорганизованности сотрудничества в его целом, от „анархии производства“. Коллективизм же означает развитие организованного сотрудничества в целом общественном классе, и борьбу этого класса против анархии производства. Таким образом, хотя рабочий практически отнюдь еще не освободился из-под господства экономической необходимости, но основы ее влияния на его мышление подрываются: против стихийных сил рынка и капитализма стоит уже не бессильный индивидуум, а организующийся классовый коллектив, который не только подчиняется им, но и реально борется с ними. Возникшая из их власти над человеком идея отвлеченной причинности с этого времени, естественно, неспособна удовлетворять нового сознания, и оно вырабатывает иной способ понимания всеобщей связи явлений.

— Откуда берется новый тип причинности, и в чем он заключается?

— Он берется из процесса производства. В своей основе это не что иное, как выражение самого общего метода машинной техники.

Машинное производство, по существу, сводится к систематическому и планомерному *превращению сил* или, выражаясь научнее, *превращению энергии*. Так, химическое сродство угля и кислорода воздуха в топке переходит в теплоту пламени; эта теплота в паровом котле—в давление пара; оно в цилиндрах становится движением поршня, затем махового колеса, ременных приводов, станков; движение станков превращается в различные изменения рабочего материала, дающие определенный продукт. Но такие же движения станков могут быть получены от работы электричества, получающего энергию из динамо-машины в свою очередь ее черпающей, напр., из силы течения запруженной реки, или отведенной воды водопада. И эта энергия может быть при случае заменена силой ветра, а в малых размерах—силой лошади, даже человека. Вместо такого-то движения станков можно из тех же источников, но при другом механизме, получать иное, приводящее к другим продуктам,—или производить свет, или химическую энергию, и т. д.

Что это значит? Что для трудового коллектива *всякий процесс природы может служить источником для получения всяких других процессов*. Усилие работника тоже входит сюда; оно иногда замещает другие источники энергии, еще чаще само замещается ими. Случается, что при порче машины работник принужден временно выполнять то, что делалось ею; несравненно чаще, на каждом шагу происходит и обратное,—машина заменяет и вытесняет работника. Опыт и наука показывают, что такие превращения и замещения при подходящих механизмах могут делаться неограниченно: всякое явление природы—возможный источник всякого другого явления.

Такова *практическая связь фактов* для трудового коллектива во всей его жизни, в каждую минуту, в каждую секунду его деятельности. Понятно, что она и становится моделью для его мышления, его способом

понимания причинности. Причина есть источник энергии, за счет которого получается следствие. Но сама она имеет другую причину, т.-е. ее энергия происходит, в свою очередь, из другого источника, и т. д., без конца: цепь причинности есть цепь превращений энергии.

Чтобы иметь технический источник энергии для своих целей, трудовой коллектив должен где-нибудь его взять, но не может просто создать: энергия, следовательно, не создается в трудовом опыте. Если труд наталкивается на враждебную, нежелательно для него направленную энергию, он может преобразовать ее в формы полезные или безвредные, но не может просто уничтожить ее: энергия не уничтожается в трудовом опыте. Но если так, то ее, очевидно, ровно столько же в причине, сколько в следствии: причина равна своему следствию. Вернее сказать: причина равна сумме своих прямых следствий, потому что на деле она переходит всегда не в одну, а в несколько разных форм. В машинном производстве труд эксплоатирует энергию природы; но ему никогда не удается использовать взятый источник до конца. Энергия пламени идет не вся на образование пара, но частью на бесполезное нагревание окружающих предметов; давление пара не все на полезное движение механизма, но частью на вредное трение его частей, и т. п. Энергия источника переходит во всю сумму полезных и вредных результатов.

Конечно, эти результаты одни полезны, другие вредны только в данном случае, а не сами по себе. Давление пара полезно при работе, вредно при взрыве котла; трение вредно в движениях поршня, но полезно в бесконечном ремне передачи. А с общей точки зрения, с точки зрения трудового коллектива в его целом, во всей его практике, они не полезны и не вредны, а просто — формы энергии, с которыми коллектив имеет дело. Поэтому в трудовой причинности причина просто равна сумме своих следствий, взятых вместе, без различия полезных и бесполезных или вредных.

— Не есть ли эта новая „трудовая причинность“ обыкновенный „закон сохранения и превращений энергии“, каким его выработала буржуазная наука?

— Закон сохранения энергии в том виде, как его дает нынешняя физика и философия, есть, действительно, начало, или зародыш нового понимания причинности. И это вполне естественно: как мы уже знаем, он и возник на основе машинного производства. Но все же это не есть сама новая, коллективистическая форма причинности. Дело в том, что господствующая теперь наука подчинена законам идеологии менового общества и сообразно им мыслит об „энергии“.

Нынешние ученые, в огромном большинстве, понимают „энергию“ вовсе не так, как мы изложили с точки зрения трудового коллектива: для них эта идея не зависит от человеческого труда. Они установили такую связь, что, напр., химическая энергия одного фунта угля при его сгорании переходит во столько-то единиц, которыми измеряется энергия тепловая. Но что именно есть эта энергия, явившаяся в двух разных воплощениях? Тут они думают разно. Одни полагают, что энергия — действительная вещь или „сущность“, которая заключается в явлениях, или из которой они состоят: помимо нас, „сама по себе“, всегда, „вечно“ она была и будет в них, в природе. Может ли новое сознание принять это? Отнюдь нет. Для него об „энергии“ не может быть и речи, если нет того, кто ее использует или стремится использовать, т.-е. трудового коллектива. Если даже мы наблюдаем, что одно явление постоянно переходит в другое, как, напр., день в ночь, или зимний холод в весеннее тепло, — но если при этом нет идеи о возможности технически-планомерно получать второе явление из первого, то не возникает даже вопроса об энергии, о том, что энергия дневного света переходит в энергию ночного мрака, и т. п.

Другие полагают, напротив, что в природе никакой энергии нет, а существует она только в мышлении:

что она—лишь „символ“ или „знак“, придуманный и условно применяемый людьми для обозначения связи фактов. И этого тоже новое сознание допустить не может. Для него это вовсе не символ, который придуман несколькими учеными, а действительные силы труда и действительные сопротивления, с которыми он уже имеет или может иметь дело. В „энергии“ подразумевается настоящая борьба с природою,—реальные столкновения,—которые были или будут,—с ее силами, а не простое придумывание „символов“ или знаков.

Оба старых понимания энергии,—а также и разные промежуточные между ними, существующие среди ученых,—неправильны, потому что оторваны от своей живой, общественно-трудовой основы, лишены своего истинного содержания, как это всегда делает отвлеченный фетишизм. „Энергия“ выражает практичское отношение общества к природе, и в этом ее смысл. Напр., пусть найдено, что морской прилив представляет такое-то количество механической энергии, фунт нефти—такое-то количество химической энергии. Об‘ективно это значит, что если бы производство полностью овладело тем или иным явлением и до конца могло его с‘эксплоатировать в своих целях, то за счет его преодолело бы такую-то, определенную сумму сопротивлений природы.

В новой причинности таким образом заключается идеал коллективно-трудового господства над природою. Проникая в мышление масс и укрепляясь в нем, она шаг за шагом преобразует его по всей линии, организует его в новый тип.

d) *Тенденции развития науки.*

— Какая область науки раньше всего подверглась преобразующему действию коллективизма?

— Науки общественные. Уже более чем полвека тому назад великий мыслитель Маркс, сознательно ставший на точку зрения пролетариата, дал методы и основы коллективистической переработки истории, политической экономии, частью также и науки о мышлении. С тех пор эта переработка продолжается.

— В чем состояла сущность переработки?

—Раньше история человечества понималась либо в духе авторитарного, либо в духе отвлеченного фетишизма. Одни видели в ней историю царей, героев, гениев, вообще авторитетов и властителей, их подвигов и деяний, определявших будто бы судьбу мира. Другие полагали, что сущность ее—в развитии идей, знаний или нравственных принципов, при чем думали, что развитие это идет само собою, по своим законам,—а идеи, управляя людьми, заставляют их действовать так или иначе, и от этого зависят исторические события.

Маркс показал, что все подобные взгляды наивны или поверхностны, не охватывают действительности. История человечества, это прежде всего — развитие производственного процесса, борьбы между обществом и природою. В процессе производства вырабатываются и складываются экономические отношения людей, а в зависимости от них и идеи. Люди—властители или подвластные, герои или массы—живут и действуют, подчиняясь силе тех способов производства и тех экономических связей, которые их окружают, в которых они воспитываются; идеи, руководящие людьми, только отражают эти же способы производства и экономические связи. Общественный труд, в его движении, в смене его форм,—основа истории.

В старой политической экономии Маркс разоблачил ее меновой фетишизм и ее буржуазно-классовый характер. Маркс показал, что меновая ценность, которую прежняя наука, следуя обыденному мышлению товаропроизводителей, считала свойством товара, есть на самом деле кристаллизованный общественный труд; капитал же, ко-

торый эта наука смешивала со средствами производства, есть общественное отношение, а именно—власть собственника средств производства над не имеющими их рабочими. Исходя из таких идей, удалось об'яснить многое, раньше непонятное в экономической жизни, и определить основное направление, по которому движется капиталистическая система, раскрыть ее тенденции, намечающие неизбежный переход в коллективизм.

Разоблачая меновой фетишизм, Маркс *об'яснил* его: установил его происхождение из меновой организации, его историческую необходимость, его *об'ективность*, т.-е. общественную пригодность и обязательность при товарном производстве,—но также его коренную ошибочность, „иллюзорность" с точки зрения иных, высших нарождающихся отношений—коллективизма. Тем самым было положено начало научному исследованию способов мышления, их об'яснению через способы производства,—той идеологической науке, которую мы здесь изучаем.

— *Почему общественные науки, наиболее молодые, наименее развитые изо всех, первыми подверглись переработке в духе коллективизма?*

— Потому что именно в них такая переработка была наиболее нужна. Предмет этих наук—*организация людей*; и понятно, что в том виде, как они были выработаны старыми классами, индивидуалистическими, они не могли служить для организации нового класса—коллективистического.

— *Следует ли ожидать, что и другие науки—естественные, математические—испытают подобное преобразование?*

— Несомненно, да. Весь материал этих наук при новых способах мышления должен выступить в ином свете и в иной связи. Устранение отвлеченного фетишизма неизбежно изменит многое, прежде всего в основном их понимании. Попутно мы уже видели это. Астрономия—чистая истина о небесных телах, и астрономия—учение

о способах точной ориентировки человеческого труда в пространстве и во времени—не одно и то же. Формулы законов могут остаться те же, пока не явится нового материала данных и наблюдений; но изложение, группировка содержания, об'яснение методов, разграничение более важного и менее важного изменятся, раз только астрономические факты будут рассматриваться не как „абсолютные", не оторванно от общественно-трудовой практики, а в живом соотношении с нею. То же относится и ко всякой другой науке.

— Но полезно ли такое преобразование? Разве не стремление к чистой истине привело к величайшим научным открытиям, имевшим и огромное практическое значение? И напротив, смешение вопроса об истине с практическими задачами не должно ли ослабить глубину и энергию познания, отнимая у него бескорыстный, идеальный характер?

— Стремление к истине не может стать ни слабее, ни менее бескорыстным от того, что человек будет знать, что такое в действительности она есть; оно только получает иную, высшую форму.

Каждая система культуры развивает свои особенные мотивы идеального стремления к истине. Пророк феодальной эпохи искал истины святой: в своих усилиях постигнуть ее, чтобы возвестить людям,—прислушиваясь к внутреннему голосу своей души и к стихийным голосам природы, он находил ее, как откровение божества, и этим она была дорога ему, священна для него, ему была бы непонятна жажда чистой, голой, отвлеченной истины, которая говорит только то, что есть, и не более, и говорит сама по себе, а не от высшего авторитета.—Напротив, при отвлеченном фетишизме меновых организаций и культур наибольший энтузиазм, самое пламенное влечение ученых и мыслителей вызывает идея истины абсолютной, „самой по себе"; для этих непонятна жажда авторитетного откровения свыше; но так же им

чуждо стремление к истине, как живому продукту коллективно-трудового опыта и орудию общества в борьбе с природой.—Для коллективиста же, который проникнут инстинктом сотрудничества, чувством своей связи с борющимся человечеством,—пустой и безжизненной, поэтому и неинтересной казалась бы истина „сама по себе", отрешенная от жизни; но ему близка и дорога истина, как выражение прежних усилий коллектива и орудие новых его побед.

Новый тип истины не есть ее „смешение" с практическими задачами, а ее возвращение к единству с практической жизнью, от которой она в эпоху индивидуализма и специализации оторвалась.

— Не будет ли новое познание много сложнее, чем прежнее?

— Всякая высшая форма сложнее низшей, потому что заключает в себе больше содержания; но она может быть и стройнее низшей, более совершенно организована. Без сомнения, проще полагать, что ценность есть ценность, а труд есть труд, чем понять, что ценность— кристаллизованный общественный труд; но в первом случае область обмена оторвана в познании от области труда и заключает массу непонятного, во втором—она связана с областью труда, и непонятное в ней об'ясняется.— Вернувшись к своему источнику, общественно-трудовой жизни, наука делает ее понятнее, и себя—вместе с нею.

Но здесь опять надо различать общественные типы людей. Какой-нибудь узкий специалист, далекий от социально-практической жизни в ее целом, не имеющий о ней понятия, конечно, ничего не выиграет, а только проиграет, если его специальное познание будет поставлено в связь и зависимость от этой незнакомой и чуждой ему области. Астроному, не выходящему почти из своей обсерватории, бесполезно и утомительно думать о том, как его наука организует все мировое производство, распределяя элементы труда по мерам времени и по положениям в пространстве. Но для человека труда и борьбы астрономия будет понятнее как наука организа-

ционно-трудовая, чем как „чистое“ знание о вещах почти бесконечно от нас далеких.

— Сохраняет ли коллективистическая наука прежнюю специализацию?

— Она не уничтожает специализации, но существенно изменяет ее характер, подобно тому как в производстве, мы видели, это делают высшие формы машинной техники. Уже в старой науке за последнее время происходит быстрое сближение научных методов разных областей, слияние раньше разрозненных наук в новые, обширные единства, как, напр., развитие общей физики на основе целого ряда прежде обособленных отраслей. Коллективизм должен, разумеется, чрезвычайно усилить эту тенденцию. Если теперь она действует без всякой планомерности, помимо всякого систематического искания об'единяющих разные отрасли методов, как бы стихийно пробиваясь через царящую специализацию, то в новом мышлении это окажется иначе. Когда все науки понимаются как организационные орудия единого социально-трудового процесса, который необходимо организовать стройно и целостно, тогда вполне сознательно ставится задача—свести эти орудия к стройному и целостному единству задача выработки общих методов и точек зрения, связывающих все научные специальности.

Трудно заранее судить о том, до каких пределов эта задача будет разрешена еще при капитализме, в какой мере ее должно будет завершать коллективистическое общество. Но тенденция вполне ясна. Наука должна стать „монистической“. В ней должна сложиться система общих приемов, выводов, законов, руководящих всеми ее областями. В каждой области они будут дополняться особыми, более частными приемами, выводами, законами; но общая их основа будет по мере развития все значительнее преобладать над этой специальной их стороной.

Тогда исчезнет замкнутость отдельных отраслей, и переход от одной из них к другой станет настолько же возможным и обычным делом, как переход от одной

специальности к другой в машинном производстве. Степень однородности труда в сфере теории будет возрастать, как теперь она быстро возрастает в практике.

Нельзя в настоящее время представить конкретно науку будущего, как нельзя конкретно представить и самый коллективистический строй сколько-нибудь достоверным образом. Но направление научного развития, а с ним основные черты строения монистической науки наметились уже теперь достаточно.

— Какова должна оказаться при этом роль философии?

— Философия, как мы знаем, есть область попыток свести к единству раздробленное познание. По мере того, как наука будет становиться монистической, философия, очевидно, должна терять значение,—частью просто отпадать как ненужная больше, частью переходить в содержание монистической науки. Последнее относится, конечно, по преимуществу к той философии, которая стоит на точке зрения коллективизма. Она развивается в настоящее время, следуя за коллективистическою наукой.

Старая философия, которая создавалась классами, оторванными от непосредственной, физической борьбы с природою, была по преимуществу миросозерцанием, т. е. стремилась дать удовлетворительную для познания картину мира. Новое миропонимание, активно-трудовое, имеющее в своей основе совокупность методов практики, изменяющей мир, и науки, руководящей этой практикою, будет уже целым мироотношением.

е) Тенденции развития искусства.

— Что нового вносит коллективизм в искусство?

— Прежде всего, разумеется, новое понимание искусства, освобожденное от всякого фетишизма,—сознание социальной сущности, социального смысла искусства.

Далее, как новая культурная сила, коллективизм естественно ведет к зарождению и развитию нового искусства; сначала классового,—в рамках капитализма, затем общечеловеческого,—по устранении классов. В этом новом искусстве центральной фигурой является уже не индивидуум, с его личными интересами, личной активностью, личной судьбой, а коллектив, сначала классовой, в его противопоставлении враждебным ему силам общества и стихий, потом общечеловеческий, в его противопоставлении природе.

— **При новом понимании искусства должно ли быть отброшено и отвергнуто все старое искусство?**

— Отнюдь нет. Оно только иначе воспринимается, иначе освещается коллективистическим сознанием. Каждая высшая культура получает художественное наследство от низшей, пользуется им, но по-своему.

Пусть художник феодальной эпохи изваял статую божества. Для него и его современников это произведение имет *религиозный* смысл, воплощает *авторитарные* чувства и мысли, есть образ высшей организующей силы. Но если эту статую найдут, напр., при раскопках, в эпоху культуры индивидуалистической, меновой, то она может и здесь сохранить огромную ценность, как прекрасное художественное произведение, но в совершенно ином, вовсе не религиозном значении: она будет для созерцающих ее образом *чистой индивидуальной красоты и мощи, или воплощением идей красоты и мощи*. А дойдя до эпохи коллективистического сознания, она получит опять новый смысл: в ней будут видеть и чувствовать идеал жизни того коллектива,—общины, племени, сословия,—который произвел ее через своего художника, выражение вековой общности усилий, настроений, верований этого коллектива.

Аналогичным образом, читая какой-нибудь роман, драму нашей эпохи, где изображаются личности в их внутренней борьбе и внешних столкновениях, сознательный

коллективист за этими личностями, за их мотивами найдет общественный строй эпохи, борьбу социальных сил, многообразно отражающихся и преломляющихся в личных характерах; напр., он увидит в каком-нибудь конфликте долга и чувства—гнет вековой традиции, отвлеченного фетишизма над ростом жизни, и т. п.

Создавая новое искусство, коллективизм преобразует старое и сделает его своим воспитательным средством, своим организационным орудием.

— Возможно ли создание нового искусства еще в капиталистическую эпоху при колективизме только одного класса? Не окажется ли непреодолимым препятствием угнетенное положение этого класса, недостаток досуга и материальных средств?

— Без сомнения, класс жизненно стесненный не может широко развернуть своего художественного творчества. Но, во-1), основа искусства не в досуге, а в особом строе чувств и мыслей, свойственном коллективу; строй же этот вырабатывается именно в его труде и борьбе, а не в досуге. Поэтому народное художественное творчество существовало и развивалось в классе еще более угнетенном, чем пролетариат,—в старом крестьянстве.

Во-2), многомиллионный класс, отвоевывая экономической борьбой полчаса, час досуга, получает в своей массе большее его количество, чем все свободное время какого-нибудь помещичьего класса; и из миллионов часов коллектива, себя сознающего, могут кристаллизоваться сотни и тысячи творческих часов живущих его жизнью единиц. Нет никакой необходимости, чтобы талантливый поэт или музыкант, выдвигающийся среди пролетариата, оставался в мастерской; гораздо выгоднее для коллектива, чтобы он отдался всецело своему делу, как секретари и администраторы пролетарских организаций, как их публицисты, политики, ученые. Когда коллективизм достаточно сложится в стройную систему мыслей и стремлений, тогда он, естественно, сможет овладеть творческими

талантами даже не одних пролетариев, но и людей из других классов,—как выходили же из аристократии буржуазные художники, как выходят пролетарские теоретики из буржуазной интеллигенции.

Теперь существуют только зародыши нового искусства: но они уже существуют. Их развитие должно могущественно содействовать сплочению коллектива, организации его сил. Это значение не может измеряться количеством произведений, которое, наверное, в классовую эпоху не будет особенно велико. Значение измеряется тем, насколько стройно и жизненно сумеет себя выразить коллектив через своих представителей в мире искусства. Чем полнее и глубже будет это выражение, тем больше будет сила нового художественного воспитания масс, которое позволит им овладеть для себя и сокровищами старого искусства, не подчиняясь его точке зрения, но открывая в нем свое.

f) Социальные нормы.

— Вырабатывает ли коллективизм свои социальные нормы, подобные нормам права и нравственности?

— Да, вырабатывает уже теперь: нормы товарищеской солидарности, подобные по значению, нравственным; уставы организаций, аналогичные праву, законам.

— В чем эти нормы отличаются от тех, которые свойственны прежним культурам?

Во-1), разумеется, их содержание иное, потому что они организуют совершенно иную жизнь. Это очевидно само собою: „душа“ новых норм, их принцип есть товарищеская связь, принцип чуждый старым культурам или знакомый им только в зародыше, в некоторых элементах морали организаций общинных, цеховых, дружинных и т. п.

— Во-2), новая форма понимания, свободная от фетишизма авторитарного и отвлеченного. Это—не веления верховных авторитетов, не заветы предков или богов, как древний обычай; это также и не выражение „чистой справедливости“ или „долга“, абсолютного веления индивидуальной совести. Это—просто нормы единения, сплочения, организации.

— Обладают ли они характером принудительности?

— В нынешней, классовой стадии коллективизма—обладают. Это—результат условий общественной борьбы, в которой рабочий класс живет. Нарушитель норм товарищеской солидарности выступает как представитель враждебной общественной силы; отсюда стремление активно бороться с ним; его выражением является чувство принудительности норм; а в самом нарушителе, напр., штрейкбрехере, оно вызывает соответственно чувство отвращения к себе, отражающее ту же принудительность внутренно, суб'ективно.

— Должна ли сохраниться эта принудительность при развитом, общественном коллективизме?

— Только до тех пор, пока, хотя отчасти и скрыто, будет продолжаться внутренняя общественная борьба, остатки и отголоски борьбы классовой,—пока новые поколения не перевоспитаются вполне в духе коллективизма. А тогда, можно предвидеть, она естественным путем исчезнет, потому что не будет для нее почвы. Социальные нормы будут понимать просто, как нормы организационной целесообразности, на подобие технических правил, которые суть правила технической целесообразности, или научных положений. Нарушители и тогда могут появляться; но они не будут представителями враждебных общественных сил, а лишь уклоняющимися, ненормальными организмами, как душевно-больные, которые неспособны усвоить правил техники или науки. Может потребоваться и насилие по отношению

к ним, но без враждебности, каково и в наше время насилие по отношению к пациентам в психиатрических больницах.

Тогда социальные нормы потеряют свое последнее сходство с правом и моралью.

д) Кризис пролетарской идеологии в мировой войне.

— Какую роль сыграла мировая война в развитии коллективистической идеологии?

— Война эта вызвала глубокий идеологический кризис в пролетарской среде. По своему историческому смыслу и значению, это — кризис перехода от частичной выработки новой идеологии в разных областях культуры к ее целостному оформлению, к ее об'единяющей организации.

— В чем выразился на деле этот кризис?

— Он проходит через две фазы. Первая представляла с внешней стороны катастрофическое крушение пролетарской идеологии, поворот широких пролетарских масс и большинства их идеологов к буржуазным формам сознания, в сторону национализма и милитаризма. Вторая развертывается в виде решительного разрыва с этой тенденцией и революционно-стремительного движения к интернационально-социалистическому классовому сознанию.

— Чем был вызван первоначальный поворот к милитаризму и национализму?

— Двумя моментами: во-1), тем, что пролетариат повсюду подчинился мобилизации, принял участие в войне, без всякой борьбы против нее; во-2), тем, что по слабости своего идеологического развития он не мог понять и охватить этот факт участия в войне со своей классовой точки зрения, не мог идеологически организовать этот новый опыт по-своему, и потому подчинился готовой чуждой идеологии.

— В силу каких исторических условий пролетариат в его массах без борьбы и протеста принял участие в войне?

— По своей производительной природе рабочий класс, без сомнения, должен быть враждебен массовому разрушению рабочих сил и продуктов труда. Но нигде во всем мире—даже в Германии, стране наибольшего развития его организации,—он не стоял на таком уровне сплоченности и силы, чтобы прямо противостать гигантскому, веками сформированному и выработанному механизму государства во всеоружии его сконцентрированных боевых средств и подготовки: подчиниться было практически неизбежно.

— Если пролетариат не мог на деле помешать войне или уклониться от участия в ней, то не является ли переход к военной, патриотической идеологии необходимым в силу этой уже одной причины, а не в силу слабости идеологического развития его масс? Раз идеология организует классовую жизнь, то какая иная, кроме военно-патриотической, была бы способна организовать отношение пролетариата к войне, в которой он участвовал?

— Нет, вынужденное участие в войне никоим образом само по себе не требует перехода к идеологии тех классов, которые добровольно ее начинают и насильно организуют участие в ней народных масс.

— Каким же являлось бы самостоятельное идеологическое отношение пролетариата к своему вынужденному участию в войне?

— Оно должно было бы основываться на последовательно проведенной классовой теории строения капиталистического общества. Теория эта говорит следующее. Рабочая сила каждого отдельного работника принадлежит отдельному капиталисту на то время, на какое она им

куплена. Но во всякое время вообще она принадлежит классу капиталистов, взятому в целом, потому что работник не может не продавать ее; и даже когда он без работы, то это значит только, что он находится в „резервной армии“ для потребностей капитала. Государство же есть организация господства капитала в его целом, воплощение власти всего класса капиталистов. Следовательно, государству принадлежит вся рабочая сила пролетариата во всякое время, когда только понадобится; а так как она неразрывно связана с жизнью и телом работников, так как в них она воплощается, то государству принадлежат жизнь и тело работников. Это— об'ективный социальный факт. И раз уровень организованности рабочего класса предписывает ему подчинение обстановке, вполне естественно и логично, что его рабочие силы вместе с жизнью и телом работников используются для военных целей государства.

Без сомнения, разрушительный характер военной работы противоречит жизненным стремлениям производительного класса. Но подобные противоречия обычны для каждого подчиненного класса. Напр., пролетарий считает своей задачей борьбу против эксплоатации труда капиталом; однако, сам производит прибавочную стоимость для капиталиста. Точно так же,—и в мирное время, а не только в военное,—он служит часто делу разрушения. И производство орудий, снарядов, защитных сооружений, военных судов и проведение стратегических путей, и изготовление амуниции, даже одежды, обуви, средств питания для солдат,—все это звенья одной цепи, конечный пункт которой представляют военные действия. Каждое звено цепи так же необходимо, как все другие; и было бы поистине детским самоутешением для какого-нибудь наборщика, участвующего в печатаньи военной газеты, или текстильщика, работающего в производстве тканей для солдатской одежды, думать, что его труд вполне мирный и что он не приложил руки к делу истребления. Такое самоутешение возможно и логично

для индивидуалиста, мыслящего раз‘единенными схемами, абсолютно отделяющего свое „я“, свою волю и свою деятельность от всех чужих; но для коллективиста, мыслящего людей в связи сотрудничества, представляющего явления в организационном целом, оно совершенно неприемлемо; оно подобно тому, как если бы наводчик орудия считал себя мирным работником на том основании, что сам он не стреляет, а орудие, направленное на цель, безвредно, пока из него не выстрелят. Вопрос о моральной ответственности в явлениях такого порядка, весьма важный для индивидуалиста, с точки зрения коллективиста отпадает, как неправильно поставленный, как мнимый вопрос.

Если рабочий класс не имел возможности помешать катастрофе, и об‘ективным соотношением сил был вынужден участвовать в разрушительной работе войны, то он должен был принять это положение как факт, и отнестись к нему, как и к другим отрицательным, но в данное время неустранимым фактам своего существования: подчиняясь печальной необходимости, он должен был извлекать из нее и развивать в ее пределах все положительные элементы, какие она в себе заключает. Напр., подчиняясь капиталистической эксплоатации, сознательный рабочий всегда стремился использовать, усилить и расширить то об‘ективное сплочение, которое она дает рабочим массам, организуя их в процессе производства, и то коллективное сознание, которое рождается на почве этого сплочения. Подчиняясь в мирное время милитаризму с его суровой казарменной дисциплиной, он пользовался отрицательными чертами милитаризма для уяснения отсталой массе истинного характера всей капиталистической системы, а элементы военной выучки старался утилизировать как материал или почву для развития своей коллективной дисциплины. В том же смысле и направлении рабочий класс должен был отнестись и к войне — катастрофическому проявлению милитаризма.

— Что же именно положительного рабочий класс мог найти для своего развития в разрушительном процессе войны?

— Мировая война, разумеется, еще более, чем милитаризм мирного времени, дает материала для характеристики капиталистического строя с его слепыми стихийными силами, игра которых порождает расточение живых и мертвых элементов производства; материал этот особенно нагляден и понятен даже для наименее развитого сознания; в этом смысле воспитательное значение войны, при планомерном отношении к ее опыту, должно оказаться огромным. Но еще гораздо больше положительных элементов заключает в себе чисто организационная сторона войны.

Война вызывает беспримерную организационную работу, беспримерное напряжение организационных способностей человеческих единиц и коллективов. В ней организация—вопрос жизни и смерти; организационная ошибка немедленно наказывается гибелью людей, иногда тысяч и тысяч, разрушением материальных средств, часто на миллионы и миллионы. Организационная работа, хозяйственная и строевая, здесь необыкновенно широка, сложна и основана на живой инициативе. Стоит представить себе сложность хозяйства любого военного коллектива, даже наименьшей его единицы—роты. Это хозяйство, коммунистическое по своей форме, ведущееся в необычных и постоянно меняющихся условиях, разумеется, не может сводиться всецело к распоряжениям нескольких, временных и нередко случайных, начальников и к механической дисциплине со стороны остальных: без инициативного участия всех индивидуумов, по мере их организационной сознательности, оно было бы совершенно нежизнеспособно. То же относится и к строевым функциям. А в процессе современного боя судьба каждого участника и каждой коллективной единицы зависит от быстрого и целесообразного координирования всех наличных элементов обстановки—природных условий, тех-

нических средств и человеческих усилий—работы организационной по существу, при чем она выполняется отнюдь не только начальниками за всех, но и каждым участником боя—за себя и, по мере его сознательности и умелости,—также за других. О сложности и широте технических функций в нынешней войне, о роли в них инициативы нет надобности и говорить особо. Все это организационное напряжение простирается не только на действующие армии: оно захватывает также весь тыл; если и с меньшей остротой, то не с меньшей глубиной, и в столь же гигантском масштабе.

Таким образом, война есть величайшая в своем роде организационная школа; и задача, с точки зрения коллективно-трудовой идеологии, должна состоять в том, чтобы из этой суровой, но уже неотвратимой школы вынести наибольшую сумму организационного опыта, навыков и сил для будущего. Решение задачи достигается строго-деловым отношением к войне и ко всем ее требованиям со стороны всех ее невольных участников, индивидуальных и коллективных.

Отношение иного рода, напр., частичный, персональный саботаж военных действий, не связанный с массовым восстанием против войны, имел бы отрицательные результаты: сумма истребления и разрушения не уменьшалась бы, а только перемещалась бы,—меньше с другой, зато больше с этой стороны; а организационного опыта не получалось бы, жизнь и усилия саботирующего пропадали бы бесплодно.

Разумеется, такое решение вопроса остается в силе только до тех пор, пока не подготовлены условия для классового восстания против войны.

— В чем ближайшим образом выразился переход большинства пролетариата на буржуазно-националистическую точку зрения по отношению к мировой войне?

— Во-первых, в ошибочном понимании причин и целей войны.

Во-вторых, в установлении „гражданского мира“ между классами для общенациональной борьбы.

— В чем состояло ошибочное понимание пролетариатом причин и целей войны, и в чем должно было заключаться правильное?

— С самого начала войны поднялся вопрос об ее виновнике. Прежняя коллективно-трудовая идеология могла предложить только одно об‘яснение вопроса, но тем более убедительное, что оно в существенных чертах было выработано заранее, в связи с предвидением катастрофы. Мировая война есть кризис, обусловленный стихийными силами капитализма, как ими был обусловлен и тот стремительный рост милитаризма, завершением которого она явилась. Государство представляет организацию капиталистических классов в национальном масштабе; но в отношениях между государствами господствует анархия, подобно тому, как она господствует в отношениях отдельных предприятий. Международная анархия выражается в борьбе за обладание рынками, как и конкуренция отдельных предприятий—в борьбе за данный рынок. Последствия тоже аналогичны: конкуренция частных предприятий побуждает их развивать свою производительную силу без ограничения и согласования с другими предприятиями, из чего и возникают мирные кризисы—перепроизводство товаров; конкуренция национальных капиталов побуждает государства развивать неограниченно их организованную силу—милитаризм, что неминуемо должно было повести к мировому военному кризису. Этот последний, таким образом, есть не что иное, как кризис перепроизводства организованной, в формах государства с его армией, человеческой силы. Виновник войны—безличная стихийность капитализма, которую бесполезно и ненаучно „винить“, но которой в данное время нельзя было фактически не подчиниться.

С точки зрения националистически буржуазной идеологии виновником войны всегда является враждебная сторона, которую за это и следует наказать путем ее экономиче-

ского и всякого иного ослабления в свою пользу. И пролетарские массы обеих воюющих сторон с самого начала приняли эту концепцию, противоречившую классовому коллективистическому мышлению в самых основах.

Отсюда вытекало и определенное понимание целей войны. Виновники ее—вражеские нации, они нападают с разбойничьими и угнетательскими целями; это — варвары; борьба против них является защитою культуры и свободы. Так и всегда раньше буржуазные идеологии одевали войну в моральные фетишистические оболочки.

— Что такое „гражданский мир"?

Это—сотрудничество классов, рабочего и буржуазных, уже не только материальное и вынужденное, какое всегда было, но духовное и свободное, во имя „высших нравственных целей" войны.

Самую яркую иллюстрацию смысла и значения гражданского мира представляет Германия. Там социал-демократия, раньше являвшаяся политическим авангардом международного пролетариата, самым решительным образом с первых дней войны приняла „Burgfrieden", гражданский мир под неограниченною опекою государства, прежде признававшегося юнкерско-буржуазным, а теперь ставшего „общенациональным".

Об'ективно работа социал-демократии по организации тыла неизбежно должна была итти на пользу государственного механизма, в рамках которого велась: там, где силы государства мобилизованы и действуют как одно целое, возрастание организованности в отдельных частях всегда увеличивает силу этого целого. Но для этого не требовалось опять-таки перемены идеологии, а требовалось только строго-деловое отношение к наличной обстановке. Наибольшие услуги по организации тыла социал-демократия оказала именно там, где она поступала сообразно своей прежней природе, и в сущности нарушала „Burgfrieden",—напр., когда боролась с аппетитами землевладельцев и завоевывала хлебные, мясные карточки, понижение цен и проч., а также когда боролась со злоупотреблениями военной

цензуры, и т. под. Напротив, такие действия в духе „Burgfrieden“, как, положим, голосование военных кредитов, ничего не меняя в материальном положении вещей, лишь радикально искажали его в глазах масс: дело представлялось таким образом, как будто для войны нужно было согласие германского рабочего класса, и он это согласие дал; между тем на данном уровне развития сил рабочего класса государство, разумеется, не спрашивало его мнения, чтобы вступить в войну, и в его согласии совершенно не нуждалось.

В других случаях позиция „Burgfrieden“ приносила даже материальный вред силе Германии,—именно там, где она стесняла борьбу против эгоистических интересов господствующих групп, или против деморализующего властолюбия бюрократии, против неспособных начальников, агитацию против затягивания войны и пред‘явления противникам неприемлемых хищнических условий мира, и т. д. Эта позиция порождала огромную запутанность благодаря тому, что невозможно точное определение границ „гражданского мира“, и что его истолкование до крайности различно; напр., аграрии считали грубым его нарушением протесты против чрезмерных цен на хлеб, но признавали не противоречащим ему крайнее усиление цензуры и преследование рабочей прессы, а также увеличение продолжительности рабочего дня, закрепощение сельско-хозяйственных работников и т. под.

В общем гражданский мир был ярким практическим выражением идейного порабощения рабочего класса. Кроме того, это—особенно наглядный пример социально-организующей роли идеологии. Здесь старая идеология сплотила самые разнородные, непримиримо враждовавшие классы в одну национальную массу, сорганизовала их в общем действии даже вопреки жизненным интересам одного из них. Но идеология все же есть не первичный, а производный момент жизни; поэтому такое сплочение могло быть только временным,—его неизбежно должна была разрушить глубже лежащая сила противоречия жизненных интересов.

— Как же могло, однако, произойти хотя временное идейное порабощение класса, до тех пор боровшегося за свою самостоятельность?

— Идеологические, как и всякие другие организационные формы, действуют лишь в тех рамках, до каких они выработаны, но не далее. К началу войны коллективно-трудовая идеология далеко еще не представляла из себя сложившейся, систематизированной культуры; она существовала только в зародышах и разрозненных элементах, она вырабатывалась в своих частях, но не была стройным жизненным целым. В ней не оформилась своя собственная, всюду применимая логика. Новые способы мышления применялись лишь частично, в таких кругах явлений, где опыт рабочего класса уже накопился, и где непосредственно ощутимые интересы и потребности не позволяли удерживаться на старых, выработанных другими классами точках зрения. Напр., из всей области наук переработке успели подвергнуться только политическая экономия и частью история; пролетарское искусство не только находилось в зачатке, но и самая постановка вопроса о нем строго осуждалась многими теоретиками, как отвлечение сил и внимания рабочего класса от насущно-важного; в философских попытках господствовал хаос; политическим методам учились, главным образом, у политиков буржуазной демократии, и даже либеральной буржуазии... Цельного, ясного мироотношения не было.

Что же должно было случиться, когда на сцену выступил вопрос всеобъемлющего жизненного размаха и значения и в то же время совершенно новый,—вопрос о мировом военном кризисе? Решить его с помощью зародышей новой логики и обрывков новой культуры было невозможно ни для самих масс, ни для подавляющего большинства их идеологов. Для решения необходима была законченная логика, сложившаяся культура. Своей не было,—приходилось прибегнуть к чужой, какая имелась налицо. То была буржуазная культура, логика экономической анархии, на-

ционализма, милитаризма. К подчинению практическому присоединилось рабство идеологическое. — В результате рабочий класс принял участие в войне не как подневольный работник государства, а как его преданный слуга: кроме своего тела, отдал ему свою идеологическую душу, „сознал“ свою солидарность с капиталом своей страны и противоречие своих интересов с рабочим классом других стран, и стал уже добровольно и охотно осуществлять то и другое.

Не надо, однако, думать, что рабочий класс в его целом принял националистскую идеологию в том ее грубом развитии, которое соответствует стремлениям финансового капитала и которое называется империализмом. Рабочий класс вышел из среды крестьянства и городских ремесленников; не вполне сложившееся коллективистическое сознание как-бы прикрыло своим слоем остатки прежней мелко-буржуазной идеологии; а когда оно было парализовано неожиданной обстановкой и тяжелым потрясением — разразившейся мировою грозой, — тогда это мелко-буржуазное подсознание сменило его, оказалось руководящей культурной силою. А его отношение к отечеству выражается в непосредственном, наивном патриотизме — стихийной любви-привычке к окружающему „своему“ мирку, соединенной со страхом и недоверием к „чужому“, а тем более иноземному. В этот строй мышления и чувства легко вошла та, внушавшаяся буржуазией и государством, идея, что другие народы нападают на отечество как разбойники, и что надо защититься от них, а также вытребовать вознаграждение за несправедливо причиненный вред. Настоящий империализм проявляла, главным образом, часть прежней социалистической интеллигенции, менее воспитанная на товарищеском сотрудничестве и сохранившая больше соприкосновений с крупной буржуазией.

— **Когда началась вторая фаза кризиса пролетарской идеологии?**

— Интернационально-социалистические тенденции, имевшие за собою с начала войны лишь ничтожное мень-

шинство пролетариата воюющих стран, постепенно усиливались по мере того, как, с одной стороны, развертывалась картина войны и производимого ею разрушения, а, с другой, буржуазные классы все более открыто выражали свои стремления к захватам за счет неприятельских наций и вместе с тем—к непомерным военным прибылям за счет соотечественников. Поворотным же пунктом, с которого возвращение пролетариата к международной связи пошло революционно-ускоренным темпом, явилась российская революция, авангардом которой выступил русский рабочий класс, выставивший сразу лозунги мира, интернационализма и социализма.

— Чем об'ясняется такая инициативная роль сравнительно отсталой страны?

— Именно в силу своей отсталости Россия в войне истощилась раньше других участников, и для народа заключение мира сделалось вопросом жизни, так что национализм угас не только в рабочем классе, но и в крестьянских массах и, следовательно, в армии. Благодаря этому стала возможна политическая революция. Пролетариат стал ее руководящей силою, несмотря на свою малочисленность, потому что был все же гораздо выше по культуре и способности к организации, чем крестьянство с армией: крупная промышленность сама по себе и в России стояла довольно высоко. Лозунги пролетариата стали лозунгами всего народа, так как соответствовали интересам его масс.

По мере истощения других стран эти лозунги стали находить все более широкие и решительные отклики в их пролетариате, а затем и вообще в их народе.

— Какое значение имеет этот поворот для общего развития коллективистической идеологии?

— Во-первых, он означает освобождение рабочего класса—уже окончательное—от влияния буржуазных идеологий с их фетишами моральными и национальными, дольше всего способными подавлять классовое сознание.

Во-вторых, на практике испытанная недостаточность разрозненных и частичных форм пролетарской идеологии вынуждает пролетариат сознательно стать на путь создания своей особой целостной культуры, которая, конечно, и есть коллективистическая. Раньше ее элементы формировались по мере конкретных потребностей пролетарской жизни и борьбы, т.-е. без всякой общей планомерности: это было стихийное творчество культурных форм. Переход от него к сознательному их творчеству есть огромная культурная революция в пролетариате; это — его внутренняя социалистическая революция, которая необходимо должна предшествовать внешней социалистической революции общества.

Русский рабочий класс и в этой культурной революции выступил инициатором, несмотря на свою отсталость, — благодаря об'ективно создавшемуся для него положению. Ему пришлось в условиях распада народного хозяйства взять на себя экономически-организаторскую роль и тяжело испытывать на себе отсутствие выработанной системы организационных методов, форм и навыков, т.-е. своей сложившейся культуры. Это вынудило его поставить культурную задачу во всей революционной полноте и глубине. К такой постановке задачи неизбежно должен приходить и пролетариат других стран по мере своего разрыва с остатками идеологического рабства и по мере развития своей революционной борьбы в ее новых условиях, созданных мировою войной и после-военными революциями.

Общими усилиями международного пролетариата задача будет получать шаг за шагом действительное решение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Мы обрисовали идеологические тенденции коллективизма, насколько они, с одной стороны, ясно наблюдаются в самой жизни, и насколько, с другой стороны, может мысленно продолжить их путь предвидение, пока еще слабое, нашей науки.

Наша наука сама—результат одной из этих тенденций, научно-монистической. Она должна служить общей связью, организующим звеном для целого ряда частных, доныне разрозненных отраслей: филологии, логики, этики, теории права, теории искусства... И в то же время мы видели, как она тесно соединяется с наукой экономической.

Мы наметили только основные тенденции новой культуры, и те не все. Мы не говорили о тенденциях скованных, т.-е. таких, проявления которых слишком уже подавлены современными условиями и потому слишком слабы. Для иллюстрации сейчас укажем на одну — в развитии речи.

Вряд ли можно сомневаться, что в международном коллективизме скрыта тенденция к выработке единого языка человечества, как самой общей организующей формы для мирового сотрудничества. Но в наше время эта тенденция стеснена и замаскирована влиянием борьбы национальностей, которую усиленно поддержи-

вают и обостряют господствующие классы. К этому их побуждает частью конкуренция капитала разных стран, наций и рас, частью стремление направить растущую энергию низших классов в русло борьбы национальной, вместо классовой.

Тем не менее возможно уловить и теперь тенденцию к единству языка — в области техники и науки. Всякое новое изобретение порождает ряд терминов, обозначающих части машин, их функции, отношения к ним работника, и большинство этих терминов переходит во все языки с ничтожными изменениями. То же наблюдается и в терминологии точных наук, где новые обозначения принимаются большей частью без перевода с одного языка на другой. Да и в других областях возрастающая масса „иностранных слов“ указывает на взаимное проникновение различных языков.

На этой почве возникли попытки выдумать искусственный международный язык, — „волапюк“, „эсперанто“ и др. Это—интеллигентская утопия, основанная на полном непонимании того, что есть речь. Она—основная организующая форма для всего трудового процесса, для всего трудового опыта. Единство речи может поэтому развиться только на основе практического единства жизни человечества, а не путем условного соглашения среди борьбы народов и классов. И наивно полагать, что несколько ученых, обладающих вместе, может быть, миллионною долей общечеловеческого опыта, в силах выдумать организационную форму для всего этого опыта.

Лишь при господстве коллективизма может свободно развернуться тенденция к мировому единству речи.

Можно с уверенностью сказать, что существуют и другие важные тенденции новой культуры, частью еще более скованные, частью недостаточно бросающиеся в глаза, чтобы быть легко уловленными нашей наукою. Достаточно представить себе, как грандиозна, как подавляюще богата

современная культура: культура высшая необходимо должна явиться еще несравненно более богатою, более грандиозною.

Но во всех, известных и неизвестных нам, тенденциях коллективизма заключается один смысл, один всеобщий принцип:

С о з н а т е л ь н о о р г а н и з о в а н н о е о б ' е д и н е н и е в с е х с и л ч е л о в е ч е с т в а д л я б о р ь б ы с п р и р о д о ю, д л я б е с к о н е ч н о г о р а з в и т и я в л а с т и т р у д а н а д н е ю.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Предисловие к первому изданию 3
Предисловие ко второму изданию 8

Введение.

I. Определение идеологической науки . 9

II. Методы идеологической науки:

a) Индукция 13
b) Дедукция 26
c) Принцип причинности 28
d) Принцип приспособления 31
e) Социальная причинность 33
f) Организационная роль идеологии 40

III. Разделение, порядок изложения идеологической науки 45

Период первобытных идеологий.

I. Начало идеологий:

a) Техническая и экономическая характеристика эпохи 53
b) Происхождение слова 54
c) Происхождение понятий 59
d) Значение первичных слов-понятий в производстве 62

II. Развитие идеологий за первобытную эпоху:

a) Неопределенность значений первичных слов-понятий 63
b) Происхождение названий для вещей 66
c) Первичные идеи 67
d) Зародыши искусства 69
e) Первобытное мировоззрение 75

Стр.

Период авторитарных идеологий.

I. Эпоха патриархального быта:

a) Техническая и экономическая характеристика эпохи 78
b) Развитие речи 81
c) Развитие мышления 82
d) Авторитарная причинность 84
e) Анимизм 91
f) Начало религий 99
g) Обычай 105
h) Общая характеристика идеологий патриархального периода 107

II. Эпоха феодального быта:

a) Техническая и экономическая характеристика эпохи 110
b) Развитие речи и мышления вообще 114
c) Авторитарная причинность и анимизм 116
d) Феодальные религии 122
e) Отношение феодальных религий к знаниям и искусству 162
f) Письменность 131
g) Развитие обычая 133
h) Общая характеристика феодальных идеологий. 136

Период индивидуалистических идеологий.

I. Идеально-индивидуалистическое общество:

a) Техника и экономика идеально-индивидуалистического общества 139
b) Формы речи 142
c) Мышление вообще 143
d) Отвлеченная причинность—„необходимость“ . . 145
e) Товарный фетишизм 151
f) Индивидуальное хозяйство и частная собственность 154
g) Отвлеченное знание 156
h) Отвлеченный фетишизм в искусстве 165
i) Отвлеченный фетишизм норм 168
j) Характеристика чистой меновой идеологии в ее целом 174

II. Переходные формы: рабовладельческий строй классического мира:

a) Техника и экономика античного рабовладельческого общества 176
b) Основные черты идеологии классического мира. 177

Стр.
c) Греческая философия и наука 179
d) Античное искусство 183
e) Политически-правовая жизнь классического мира 185
f) Христианство—мировая религия конца античной эпохи 188

III. Переходные формы: 1) крепостная система; 2) ремесленно-цеховой строй; 3) торговый капитализм:

a) Техника и экономические отношения 191
b) Общий характер идеологического развития эпохи 195
c) Великие открытия и изобретения . . . . —
d) Первые шаги демократизации знаний 200
e) Возрождение классических идеологий 202
f) Ереси и Реформация 208

IV. Промышленный капитализм:

a) Технические и экономические условия 212
b) Масштаб и общий тип идеологического развития эпохи 213
c) Наука 221
d) Философия 232
e) Демократизация знаний 238
f) Развитие искусства 241
g) Право, нравственность 245
h) Кризис буржуазных идеологий в мировой войне. 250
i) Переходный характер капиталистической культуры 263

Идеологии коллективизма.

a) Технические и экономические основы коллективизма 266
b) Общие черты идеологий коллективизма 274
c) Трудовая причинность 280
d) Тенденции развития науки 284
e) Тенденции развития искусства 290
f) Социальные нормы 293
g) Кризис пролетарской идеологии в мировой войне 295

Заключение 308

ИЗ КАТАЛОГА ИЗДАНИЙ.

(Август 1923 г.).

Адлер, М. Марксизм, как пролетарское учение о жизни. С предисловием И. А. Давыдова. Ц. 40 к.

Его же. Маркс, как мыслитель. (Печатается).

Андреев, Н. Древнейшие времена человеческой культуры. (2-е перераб. изд.). Ц. 70 к.

Его же. Средневековье. (2-е перераб. изд.). Ц. 75 к.

Его же. Век пара и электричества. Из истории труда и капитала. (2-е перераб. изд.). Ц. 85 к.

Его же. Очерки по истории культуры России. Ч. 1. (Печатается).

Бекнен, А. проф. Первое знакомство детей с природой (2-е изд.). Ц. 85 к.

Его же. Биологические экскурсии летом. Ц. 75 к.

Его же. Жизнь, как источник знания (экскурсионное руководство). Печатается 2-е издание.

Берлин, П. Очерки по истории немецкой интеллигенции. (Печатается).

Его же. Русская буржуазия в старое и новое время. Ц. 1 р. 25 к. (Печатается 2-е издание).

Богданов, А. А. Философия живого опыта. Ц. 2 р.

Его же. Наука об общественном сознании. Ц. 2 р. 20 к.

Биншток, Г. Очерки германской революции. Ц. 45 к.

Борхард, Ю. Экономическая история Германии. (Печатается).

Василевские, А. М. и Л. М. Книга о голоде. Ц. 40 к.

Вейлэ, К. Первобытное общество и его хозяйство. 2-е изд. Ц. 1 р.

Вендель, Г. Август Бебель. (Печатается).

Витгерс. Денежный рынок. Ц. 1 р. 10 к.

Гармс, Б. Кризис мирового хозяйства. Ц. 40 к.

Геддон, А. Переселение народов. Ц. 90 к.

Гумбель. Четыре года политических убийств в Германии. Ц. 1 р.

Дживилегов, А. А., Армия великой французской революции и ее вожди. Ц. 1 р.

Жорес, Ж. История конвента. (2-е изд.). Ц. 1 р.

Кабо, Р. и Рубин, И. Народное хозяйство в очерках и картинах. Ц. 2 р. 80 к.

